

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

С Е Д Ь М А Я

И Ю Л Ь

М О С К В А

1 . 9 . 2 . 8

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. МАКСИМ ГОРЬКИЙ.—Жизнь Клина Самгина, <i>роман</i> , про- должение	5
2. СЕРГЕЙ АЛЫМОВ.—Москва, <i>стихотворение</i>	58
3. БОР. ГУБЕР.—Управдел, <i>рассказ</i>	61
4. ДМ. ПЕТРОВСКИЙ.—Прощанье казака, <i>стихотворение</i>	88
5. С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ.—Поэт и чернь, <i>повест</i>	90
6. НИКОЛАЙ ДЕМЕНТЬЕВ.—Арбат, <i>стихотворение</i>	127
7. СЕРГЕЙ СПАССКИЙ.—Гроза, <i>стихотворение</i>	128
8. МИХАИЛ ПРИШВИН.—Живая ночь, <i>десятое звено «Кашеевой цепи»</i>	129
9. Д. БРОДСКИЙ.—Поэзия, <i>стихотворение</i>	145
10. ВИКТОР ГУСЕВ.—Поход вещей, <i>стихотворение</i>	147
11. АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ.—Хождение по мукам, <i>роман</i> , окончание.	149
12. МИХ. ГОЛОДНЫЙ.—Общежитие на Покровке, <i>стихотворение</i> .	180
—————	
13. П. Е. ЩЕГОЛЕВ.—Притчи А. А. Сырнева, из архива Н. Г. Чер- нышевского	182
14. В. ПОЛЯНСКИЙ.—Литература—орудие организации и строи- тельства.	195
15. Г. СМОЛЯНСКИЙ.—«Стабилизированная» Европа на выборах.	205

СОВЕТСКАЯ ЗЕМЛЯ

16. СЕРГЕЙ БУДАНЦЕВ.—Днепровское строительство.	213
17. БОР. ПИЛЬНЯК.—Красное Сормово.	223

НАУКА. ИСКУССТВО

18. Л. Я. БЛЯХЕР.—Причинный анализ развития признаков орга- низма.	231
19. Ф. РОГИНСКАЯ.—Художественная жизнь Москвы	239

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

	<i>Стр</i>
ВАЛ. ДЫННИК.—Сергей Клычков «Князь мира».	246
А. Е.—С. Мстиславский «На крови».	247
А. Р. ПАЛЕЙ.—Ник. Никитин «Преступление Кирика Руденко».	249
А. ДИВИЛЬКОВСКИЙ.—Мих. Кольцов «Сотворение мира».	249
А. Р. ПАЛЕЙ.—Ив. Соколов-Микитов «Голубые дни»	251
АННА ШАФИР.—Феоктист Березовский «К вершинам».	252
БОР. АНИБАЛ.—Иван Евдокимов «Собр. соч. т. I».	253
Ю. ДАНИЛИН.—Эптон Синклер «Нефть», тт. I и II.	254
Н. ЗАМОШКИН.—Дональд Огден Стюарт «История человечества в изложении тети Полли».	255

Жизнь Клима Самгина

Вторая часть трилогии „Сорок лет“

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

(Продолжение ¹).

Были часы, когда Климу казалось, что он нашел свое место, свою тропу. Он жил среди людей, как между зеркал, каждый человек отражал в себе его, Самгина, и в то же время хорошо показывал ему свои недостатки. Недостатки ближних очень укрепляли взгляд Клима на себя, как на человека умного, проницательного и своеобразного. Человека, более интересного и значительного, чем сам он, Клим еще не встречал.

Но наедине с самим собою Клим все-таки видел себя обреченным на участие в чем-то, чего он не хотел делать, что противоречило основным его чувствованиям. Тогда он вспоминал вид с крыши на Ходынское поле, на толстый, плотно спрессованный слой человеческой икры. Перед глазами его вставал подарок Нехаевой, репродукция с картины Рошгросса: «Погоня за счастьем», — густая толпа людей всех сословий, сбивая друг друга с ног, бежит с горы на край пропасти. Унизительно и страшно катиться темненькой, безличной икринкой по общей для всех дороге к неустрашимой гибели. Он еще не бежит с толпою, он в стороне от нее, но вот ему уже кажется, что люди всасывают его в свою гущу и влекут за собой. Затем вспоминалось, как падала стена казармы, сбрасывая с себя людей, а он, воображая, что бежит прочь от нее, как-то непонятно приблизился почти вплоть к ней. В такие часы Самгин ощущал, что его наполняет и раздувает ветер унылой злости на всех людей и даже немного на себя самого.

Как-то вечером, идя к Прейсу, Клим услышал за собою быстрые, твердые шаги; показалось, что кто-то преследует его. Он обернулся и встал лицом к лицу с Кутузовым.

— Примечательная походка у вас, — широко улыбаясь в бороду, снова отросшую, заговорил Кутузов негромко, но весело. — Как-будто вы идете к женщине, которую уже разлюбили, а? Ну, как живете?

¹) См. «Новый Мир», №№ 5, 6 с. г.

И слова его, и грубоватая благосклонность не понравились Климу. Оглянувшись, он сказал:

— Я слышал, что вас выпустили на поруки?

— Именно. Разумеется, — без права путешествовать. Но я боюсь растолстеть и путешествовать.

Обмениваясь незначительными фразами, быстро дошли до под'езда Прейса, Кутузов ткнул пальцем в кнопку звонка, а другую руку протянул Климу.

— Я тоже сюда, — сказал Самгин.

— Вот как? М-да... тем лучше!

Кутузов толкнул Клима плечом в дверь, открытую горничной, и, взглянув в ту сторону, откуда пришел, похлопал горничную по плечу:

— Цветешь, Казя? Оказия! О, Казя, я тебя люблю!

И я вас, — ответила горничная весело и пытаюсь взять пальто из рук Кутузова, но он сам повесил его на вешалку.

«Демократический жест,» — отметил Самгин.

Прейс встретил их с радостью и смущением.

— Ты свободен?

— Как видишь.

Войдя наверх в аскетическую комнату, Кутузов бросил тяжелое тело свое на койку и ухнул:

— Ух! Скажи-ко, чтоб дали чаю.

— А я не знал, что вы знакомы, — как бы извиняясь пред Климом, сказал Прейс, присел на койку и тотчас же начал выспрашивать Кутузова, откуда он явился, что видел.

Самгин чувствовал себя несколько неловко: Прейс, видимо, считал его посвященным в дела Кутузова, а Кутузов так же думал о Прейсе. Он хотел спросить, не мешает ли товарищам, но любопытство запретило ему сделать это.

Свесив с койки ноги в сапогах, давно нечищенных, ошарканных галошами, опираясь спиной о стену, Кутузов держал в одной руке блюдо, в другой стакан чая и говорил знакомое Климу.

— Марксята плодятся понемногу, но связями с рабочими не хватаются и все больше насчет теории рассуждают, к практике не очень прилежны. Некоторые молодые pistolеты жаловались: романтика, дескать, отсутствует в марксизме, а вот, у народников — герои, бомбы и всякий балаган.

— А в Казани? В Харькове? — спрашивал Прейс, щелкая пальцами.

Самгину казалось, это хотя Прейс говорит дружески, а все-таки вопросы его напоминали отношение Лютова к барышне на дачах Вавраки, — отношение к подчиненному.

Вынув из кармана пиджака папиросную коробку, Кутузов заглянул одним глазом в ее пустоту, швырнул коробку на стол.

— Вы, Самгин, не курите? Жаль. Некоторые вредные привычки весьма полезны для ближних.

Клим впервые видел его таким веселым. Полулежа на койке, Кутузов рассказывал:

— Из Брянска попал в Тулу. Там есть серьезные ребята. А, ну-ко, думаю, зайду к Толстому? Зашел. Поспорили об евангельских мечах. Толстой сражался тем тупым мечом, который Христос приказал сунуть в ножны. А я — тем, о котором было сказано: «не мир, но меч», но против этого меча Толстой оказался неуязвим, как воздух. По отношению к логике он весьма своенравен. Ну, не понравились мы друг другу.

Чтобы напомнить о себе, Самгин сказал:

— Удивительно русское явление, Толстой.

— Именно, — согласился Кутузов и прибавил: — А потому и вредное.

— Кому? — спросил Клим, Кутузов, позевнув, ответил:

— Истории, которой решительно надоели всякие сентименты.

Прейс тоже как-то вскользь и задумчиво процитировал:

— «Толстой — законченное выражение русской, деревенской стихии».

— Ну — и что же отсюда следует? — спросил Кутузов, спрыгнув с койки и расправляя плечи. Сунув в рот клоч борода, он помял его губами, потом сказал:

— Вы извините нас, Самгин! Борис, поди-ко сюда.

И, взяв Прейса за плечо, подтолкнул его к двери, а Клим, оставшись в комнате, глядя в окно на железную крышу, почувствовал, что ему приятен небрежный тон, с которым мужиковатый Кутузов говорил с маленьким изящным евреем. Ему не нравились демократические манеры, сапоги, неряшливо подстриженная борода Кутузова; его несколько возмутило отношение к Толстому, но он видел, что все это хотя и не украшает Кутузова, но делает его завидно цельным человеком. Это — так.

— Ну-с, я иду, — сказал Кутузов, входя в комнату. — А вы, Самгин?

— Тоже.

На улице под ветром и острыми уколами снежинок, Кутузов, застегивая пальто, проворчал:

— Тепло живет Прейсик...

— Не совсем понимаю, что его влечет к марксизму, — сказал Клим. Кутузов заглянул в лицо ему, спрашивая:

— Не понимаете? Гм...

А через несколько шагов спросил:

— Есть не хотите?

— Я бы выпил рюмку водки.

— Что ж, выпейте, — разрешил Кутузов, шагнул в лавчонку, явился оттуда с папиросой, воткнутой в бороду, и сказал благосклонно:

— Ну, айда, выпьем водки.

И снова усмешливо заглянул в лицо Клима.

— Пощупали вас жандармы и убедились в политической девственности вашей, да?

Самгин не успел обидеться на грубоватую шутку потому, что Кутузов заботливо и даже ласково продолжал:

— Волновались вы? Нет? Это — хорошо. А я вот очень кипятился, когда меня впервые щупали. И, признаться надо, потому кипятился, что немножко струсил.

В дешевом ресторане Кутузов прошел в угол, наполненный сизой мутью, заказал водки, мяса и, прищурясь, посмотрел на людей, сидевших под низким, закопченным потолком необширной комнаты; трое в однообразных позах, наклонясь над столиками, сосредоточенно ели, четвертый уже насытился и, действуя зубочисткой, пустыми глазами смотрел на женщину, сидевшую у окна; женщина читала письмо, на столе перед нею стоял кофейник, лежала пачка книг в ремнях. Клим тоже посмотрел на лицо ее, полузакрытое вуалью, на плотно сжатые губы, — вот они сжались еще плотней, рот сердито окружился морщинами; Клим нахмурился, признав в этой женщине знакомую Лютова.

«Очевидно, кабачок этот — место встреч», — подумал он и спросил Кутузова: — Вы здесь бывали?

— Первый раз, — ответил тот, не поднимая головы от тарелки, и спросил с набитым ртом: — Так не понимаете, почему некоторых суб'ектов тянет к марксизму?

— Не понимаю.

— Ключем, — сказал Кутузов, подвигая Климу налитую рюмку, и стал обильно смазывать ветчину горчицей настолько крепкой, что она щипала ноздри Самгина. — Обман зрения, — сказал он, вздохнув. — Многие видят в научном социализме только учение об экономической эволюции и ничем другим марксизм для них не пахнет. За ваше здоровье!

Выпив водку, он продолжал:

— А наш общий знакомый, Поярков, находит, что богатенькие юноши марксуют по силе интуитивной классовой предусмотрительности, чувствуя, что как не вертись, а социальная катастрофа — неизбежна. Однако инстинкт самосохранения понуждает вертеться.

Он с'ел все, посмотрел на тарелку с явным сожалением и спросил кофе.

— Так вот, значит: у одних — обман зрения, у других — классовая интуиция. Ежели рабочий воспринимает учение, ядовитое для хозяина, хозяин — буде он не дурак — обязан несколько ознакомиться с этим учением. Может быть, удастся подпортить его. В Европах весьма усердно стараются подпортить, а наши юные буржуйчики тоже не глухи и не слепы. Замечаются попыточки организовать классовое самосознание, сочиняют какое-то неославянофильство, Петра Великого опрокидывают и вообще... шевелятся.

Четверо молчаливых мужчин как-будто выросли, распухли. Дама, прочитав письмо, спрятала его в сумочку. Звучно щелкнул замок. Кутузов вполголоса рассказывал:

— Новое течение в литературе нашей весьма показательно. Говорят, среди этих символистов, декадентов есть талантливые люди. Литературный декаданс указывал бы на преждевременное вырождение класса, но я думаю, что у нас декадентство—явление подражательное, юнцы наши подражают творчеству жертв и выразителей психического распада буржуазной Европы. Но, разумеется, когда подрастут — выдумают что-нибудь свое.

— Вы знакомы со Стратоновым? — спросил Клим.

— Юрист, дылда такая? Встречал. А что? Головастик, наверное, разовьется в губернатора.

Кутузов вытер бороду салфеткой, закурил и, ласково глядя на папиросу, сказал, вздохнув:

— Пора итти. Нелепый город, точно его чорт палкой помешал. И все в нем рычит: я те не Европа! Однако дома строят по-европейски, все эдакие вольные и уродливые переводы с венского на московский. О бок с одним таким уродищем притулился, нагнулся в улицу серенький курятничек в три окна, а над воротами вывеска: кто-то «предсказывает будущее от пяти часов до восьми», — больше, видно, не может, фантазии не хватает. Будущее! — Кутузов широко усмехнулся:

— Быть тебе, Москва, Европой, вот — будущее!

И, вспомнив что-то, торопливо протянул Самгину рублевую бумажку:

— Иду, иду! Заплатите. Всех благ!

Клим спросил еще стакан чая, пить ему не хотелось, но он хотел знать, кого дожидается эта дама. Подняв вуаль на лоб, она писала что-то в маленькой книжке, Самгин наблюдал за нею и думал:

«Политика дает много шансов быть видимым, властвовать, это и увлекает людей подобных Кутузову. Но вот такая фигура, — что ее увлекает?»

Мысли его растекались по двум линиям: думая о женщине, он в то же время пытался дать себе отчет в своем отношении к Степану Кутузову. Третья встреча с этим человеком заставила Клима понять, что Кутузов возбуждает в нем чувства слишком противоречивые. «Кутузовщина», грубоватые шуточки, уверенность в неоспоримости исповедуемой истины и еще многое — антипатично, но прямодушие Кутузова, его сознание своей свободы приятно в нем и даже возбуждает зависть к нему, при том, не злую зависть.

Женщина встала и, закрыв лицо вуалью, ушла.

«Не дождалась. Вероятно, ждала любовника, а его, может быть, арестовали».

О женщинах невозможно было думать, не вспоминая Лидию, а воспоминание о ней всегда будило ноющую грусть, уколы обиды.

Недавно Варвара спросила:

— Вам часто пишет Лида?

— Не очень, — ответил он, хотя Лидия написала ему из Парижа только один раз. — Она не любит писать.

— И — говорить. Она загадочная, не правда ли?

Клим, строго взглянув на нее через очки, сказал:

— Загадочных людей нет, — их выдумывают писатели для того, чтоб позабавить вас. «Любовь и голод правят миром», и мы все выполняем повеления этих двух основных сил. Искусство пытается прикрасить зоологические требования инстинкта пола, наука помогает удовлетворять запросы желудка, вот и все.

Иногда ему казалось, что говоря так грубо, оголенно, он издевается не только над Варварой, но и над собою. Игра с этой девицей все более нравилась ему, эта игра была его единственным развлечением и оно позволяло ему отдыхать от бесплодных дум о себе. Он видел, что Маракуев красивее его, он думал, что такой пустой и глупенькой девице, как Варвара, веселый студент должен быть интереснее. И было забавно видеть, что Варвара относится к влюбленному Маракуеву с небрежностью все более явной, несмотря на то, что Маракуев усердно пополняет коллекцию портретов знаменитостей, даже вырезал гравюру Марии Стюарт из «Истории» Маколея, рассматривая у знакомых своих великолепное английское издание этой книги. Самгин моралистически заметил, что портить книги — непохвально, но Маракуев беззаботно отмахнулся от него.

— Маколеем дети играли.

Как-то, восхищаясь Дьяконом, Маракуев сказал:

— Это будет чудесный пропагандист для деревни. Вот такие черви и подточат трон Романовых.

Варвара усмехнулась, обнажив красивые зубы.

— Но — если черви, где же подвиг, где красота?

— Подожди, будут и красивые подвиги, — обещал Маракуев, но она сказала:

— А это верно: Дьякон похож на червяка.

Самгин поощрительно улыбнулся ей. Она раздражала его тем, что играла перед ним роль доверчивой простушки, и тем еще, что была недостаточно красива. И чем дальше, тем более овладевало Климом желание издеваться над нею, обижать ее. Глядя в зеленоватые глаза, он говорил:

— Женщину необходимо воображать красивее, чем она есть, это необходимо для того, чтоб примириться с печальной неизбежностью жить с нею. В каждом мужчине скрыто желание отомстить женщине за то, что она ему нужна.

Самгин знал, что повторяет Ницше и Макарова, но чувствовал себя умным, когда говорил такие афоризмы.

— Какой вы правдивый, — сказал Варвара, тихонько вздохнув и прикрыв глаза ресницами.

Да, с нею становилось все более забавно, а если притвориться немножко влюбленным в нее, она, конечно, тотчас пойдет навстречу. Пойдет.

Как-то в праздник, придя к Варваре обедать, Самгин увидел за столом Макарова. Странно было видеть, что в двухцветных вихрах медика уже проблескивают серебряные нити, особенно заметные на висках. Глаза Макарова глубоко запали в глазницы, однако, он не вызывал впечатления человека нездорового и преждевременно стареющего. Говорил он все о том же, о женщине и, очевидно, не мог уже говорить ни о чем другом.

— Все недоброе, все враждебное человеку носит женские имена: злоба, зависть, корысть, ложь, хитрость, жадность.

— А — любовь? А — радость? — обиженно и задорно кричала Варвара, — Клим, улыбаясь, подсказывал ей:

— Глупость, боль, грязь.

— Жизнь, борьба, победа, — вторил Маракуев.

Спокойно переждав, когда кончит кричать, Макаров сказал что-то странное:

— Исключения ничего не опровергают, потому что и в ненависти есть своя лирика.

И продолжал, остановив возражения взглядом из-под нахмуренных бровей:

— Моя мысль проста: все имена злему даны силою ненависти Адама к Еве, а источник ненависти — сознание, что подчиниться женщине — неизбежно.

— Это ваша мысль, — крикнула Варвара Самгину, а он, приглядываясь к товарищу, искал в нем признаков ненормальности.

Он видел, что Макаров уже не тот человек, который ночью на террасе дачи как бы упрашивал, умолял послушать его домыслы. Он держался спокойно, говорил уверенно. Курил меньше но, как всегда, дожигал спички до конца. Лицо его стало жестким, менее подвижным, и взгляд углубленных глаз приобрел выражение строгое, учительное. Маракуев, покраснев от возбуждения, подпрыгивая на стуле, спорил жестоко, грозил противнику пальцем, вскрикивал:

— Домостроевщина! Татарщина! Церковность!

И советовал противнику читать книгу «Русские женщины» давно забытого бесталанного писателя Шишкова.

Клим с удовольствием видел, что Маракуев проигрывает в глазах Варвары, которая поняла уже, что Макаров не порицает женщину, и смотрела на него сочувственно, а друга своего нетерпеливо уговаривала:

— Ах, не кричи так громко! Ты не понимаешь...

Дождаясь, когда Маракуев выкричится, Макаров встряхивал головою, точно отгоняя мух, и затем продолжал говорить свое убеждающим тоном: он принес оттиск статьи неизвестного Самгину философа Н. Ф. Федорова и прочитал написанные странно-тяжелым языком

несколько фраз, которые говорили, что вся жестокость капиталистического строя является следствием чрезмерного и болезненного напряжения полового инстинкта, результатом буйства плоти, ничем не сдерживаемой, не облагороженной. И, размахивая оттиском статьи, как стрелочник флагом — сигналом опасности, он говорил:

— Да, — тут многое от церкви; по вопросу об отношении полов все вообще мужчины мыслят более или менее церковно. Автор — умный враг и прав, когда он говорит о «не тяжелом, но губительном господстве женщины». Я думаю, у нас он первый так решительно и верно указал, что женщина бессознательно чувствует свое господство, свое центральное место в мире. Но сказать, что именно она является первопричиной и возбудителем культуры, он, конечно, не мог.

Варвара смотрела на феминиста уже благодарным, но и как бы измеряющим, взвешивающим взглядом. Это, раздражая Самгина, усиливало его желание открыть в Макарове черту ненормальности.

«Вероятно, — онанист», — подумал он, найдя ненормальным подчинение Макарова одной идее, его совершенную глухоту ко всему остальному и сжигание спичек до конца. Он слышал, что Макаров много работает в клиниках и что ему покровительствует известный гинеколог.

— Живешь у Лютова?

— Да, конечно.

— Пьете?

— Я стал воздерживаться, надоело, — ответил Макаров. — Да и Лютов после смерти отца меньше пьет. Из университета ушел, занялся своим делом, — пухом и пером, — раз'езжает по России.

Лютова Клим встретил ночью на улице, столкнулся с ним на углу какого-то темненького переулка.

— Извините.

— Ба! Это — ты? — крикнул Лютов так громко, что заставил прохожих обернуться на него, а двое даже приостановились, должно быть, ожидая скандала. Одет Лютов был в широкое расстегнутое пальто с меховым воротником, в мохнатую шапку, острая бородка делала его похожим на один из портретов Некрасова; Клим сказал ему это.

— Лестно, другие за сумасшедшего принимают. К Тестову идем? Извозчик!

И через четверть часа он, развалясь на диване в кабинете трактира, соединив разбегающиеся глаза на лице Самгина, болтал, взвизгивая, усмехаясь, прихлебывая дорогое вино.

— Так вот, — провел недель пять на лоне природы. «Лес, да поляны, безлюдье кругом» и так далее. Вышел на поляну, на пожог, а из ельника лезет, — Туробоев. Ружье под мышкой, как и у меня. Спрашивает: кажется, знакомы? Ух, говорю, еще как знакомы! Хотелось всадить в морду ему заряд дроби. Но — запнулся за какое-то но. Культурный человек все-таки, и знаю, что существует «Уложение о наказаниях уголовных». И знал, что с Алиной у него — не вышло. Ну, думаю, чорт с тобой.

Закрыв глаза, он помолчал несколько секунд, вскочил и налил вина в стакан Клима.

— Впрочем,—ничего я не думал, а просто обрадовался человеку. Лес, знаешь. Стоят обугленные сосны, буйно цветет иван-чай. Птички ликуют, чорт их побери. Самцы самочек опевают. Мы с ним, Туробоевым, тоже самцы, а петь нам — некому. Жил я у помещика-земца, антисемит, но, впрочем,— либерал и надоел он мне пуще овода. Жене его под сорок, Мопассанов читает и мучается какими-то спазмами в животе.

Он крепко потер пальцами неугомонные глаза свои, выпил вино и снова повалился на диван.

— Я и перебрался к Туробоеву. Люблю таких. «Яко смоковница бесплодная одиноко стояща и тени от нее несть» — переврал? Умиляет меня его сознание обреченности своей, готовность погибнуть. Не верит «ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай», не может верить! Поучительно. И — обезоруживает. А кругом мужики шевелятся, — продолжал он, тихонько смеясь.—Две деревни переселяться собрались, какие-то сектанты, в роде духоборов, крепкоголовые. Третья деревня чуть не вся под судом за поджог удельного леса, за убийство лесника.

Самгин спросил его: где Алина?

— Там, в Париже, — ответил Лютов, указав пальцем почему-то в потолок. Мне Лидия писала, — с ними еще одна подруга... забыл фамилию. Да, — мужичок шевелится, — продолжал он, потирая бугристый лоб. — Как думаешь: скоро взорвется мужик?

— Революция неизбежна, — сказал Самгин, думая о Лидии, которая находит время писать этому плохому актеру, а ему — не пишет. Невнимательно слушая усмешливые и сумбурные речи Лютова, он вспомнил, что раза два пытался сочинить Лидии длинные послания, но, прочитав их, уничтожил, находя в этих, хотя и очень обдуманных, письмах нечто, чего Лидия не должна знать и что унижало его в своих глазах. Лютов прихлебывал вино и говорил, как-будто обжигаясь:

— Ты, Самгин, держишь себя в кулаке, ты — молчальник и ты не пехота, не кавалерия, а инженерное войско, даже, может быть, генеральный штаб, чорт!

Клим взглянул на него, недоверчиво нахмурясь, но убедился, что Лютов изъясняется с той искренностью, о которой сказано: «Что у трезвого на уме, у пьяного — на языке». Он стал слушать внимательнее.

— А я — жертва. И Туробоев. Он — жертва остракизма истории, я — алкоголизма. Это нас и сближает. И это — не смешно, брат, нет!

Вскочив с дивана, он забежал по кабинету, топая так, что звенели стаканы и бутылки на столе.

— Час тому назад я был в собрании людей, которые тоже шевелятся, обнаруживают эдакое, знаешь, тараканье беспокойство перед пожаром. Там была носатая дамища с фигурой извозчика и при этом — тайная советница, генеральша, да! Была дочь богатого винодела, кажется, что ли. И много других, все отличные люди; т. е. дей-

ствующие от лица масс. Им — денег надобно, на журнал. Марксистский.

Исторически хохотнув, Лютов подскочил к столу, чокнул стаканом о стакан Клима и возгласил:

— За здоровье простейших русских баб! Знаешь, эдаких: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет».

Залпом выпив вино, он бросил стакан на поднос:

— Откровенно говоря,—я боюсь их. У них огромнейшие груди, и молоком своим они выкармливают идиотическое племя. Да, да, брат! Есть такая степень талантности, которая делает людей идиотами, невыносимо, ужасающе талантливыми. Именно такова наша Русь.

Он сел рядом с Климом, обнял его за шею.

— Ты хладнокровно, без сострадания ведешь какой-то подсчет страданиям людским, как математик, немец, бухгалтер актив — пассив, и чорт тебя возьми!

«Вот как он видит меня», — подумал Самгин с удивлением, которое было неприятно только потому, что Лютов крепко сжал его шею. Освободясь от его руки, он сказал:

— У нас много страданий искусственно раздутых.

— Это — про меня? — крикнул Лютов, откачнувшись от него и вскакивая. — Врешь! Я... впрочем — ладно!

Покачивая встрепанной головою, он шумно вздохнул:

— Я, брат, не люблю тебя, нет! Интересный ты, а не симпатичен. И, даже, может быть, ты больше выродок, чем я.

И, яростно размахивая руками, он спросил почему-то шопотом:

— С какой крыши смотришь ты на людей? Почему — с крыши?

Самгину пришлось потратить добрые полчаса, чтоб успокоить его, а когда Лютов размяк и снова заговорил истеро-лирическим тоном, Клим дружески простился, ушел и на улице снова подумал:

«Так вот каким он видит меня!».

Теперь ничто не мешало ему повторить это с удовольствием.

«Возможно, что так же смотрят на меня многие, только я не замечаю этого. Не симпатичен? В симпатиях я не нуждаюсь».

Да, приятно было узнать мнение Лютова, человека, в сущности, не глупого, хотя все-таки несколько обидно, что он отказал в симпатии. Самгин даже почувствовал, что мнение это выпрямляет его, усиливая в нем ощущение своей значительности, оригинальности.

Это было недели за две до того, как он, гонимый скукой, пришел к Варваре и удивленно остановился в дверях столовой; у стола пред самоваром, сидела с книгой в руках Сомова, толстенькая и серая, точно самка снегиря.

— Вот он! — вскричала она, взмахнув коротенькими руками, подбежала, подпрыгнув, обняла Клима за шею, поцеловала, завертела, выкрикивая радостно глупенькие слова. Искренность ее шумной радости очень смутила Самгина, он не мог ответить на нее ничем, кроме удивления, и пробормотал:

— Постой! Откуда? Почему ты здесь?

С незнакомой бойкостью Сомова отвечала, усаживая его к столу, как хозяйка.

— Из Парижа. Это Лида направила меня сюда. Я тут буду жить, уже договорилась с хозяйкой. Она — что такое? Лидия очень расхваливала ее.

Закрыв глаза, вскинув голову, она пропела:

— Ох, Клим, голубчик, как это удивительно — Париж!

И похлопала рукою по его колену.

— Ей-богу, — жизнь начинаешь понимать, только увидав Париж. — Но тотчас же, прикусив губу, вопросительно взглянула в очки Самгина:

— Марксист?

— Да.

— Фу! Это — эпидемия какая-то! А, знаешь, Лидия увлекается философией, религией и вообще... Где Иноков? — спросила она, но тотчас же, не ожидая ответа, затараторила:—Почему не пьешь чай? Я страшно обрадовалась самовару. Впрочем, у одного эмигранта в Швейцарии есть самовар...

Самгин все-таки прервал ее рассыпчатую речь и сказал, что Иноков влюблен в женщину старше его лет на десять, влюблен безнадежно и пишет плохие стихи.

— Плохие? — недоверчиво спросила она и, опустив глаза, играя косою, задумалась.

— Что, «старая любовь не ржавеет»?

Грея руки о стакан чая, она сказала, вздохнув:

— Ему надо бы хорошо писать, он — может.

Сомова уселась на стуле покрепче и снова начала беспорядочно спрашивать, рассказывать. В первые минуты Самгину показалось, что она стала милее и что поездка за границу сделала ее еще более русской; ее светлые голубые глаза, румяные щеки, толстая коса льняного цвета и гладко причесанная голова напоминали ему крестьянских девушек. Но скоро Самгин отметил, что она приобрела неприятную бойкость, жесты ее коротеньких рук смешны, и одета она смешно в какую-то уродливо-пышную кофточку, кофточка придавала ей, коротенькой и круглой, сходство с курицей. Да и говорила она комически кудахтающим голосом.

— Да, голубчик, я влюбчива, берегись,—сказала она, подвинувшись к нему вместе со стулом и торопливо, порывисто, как раздается очень уставший человек, начала рассказывать:— У меня уже был несчастный роман, — усмехнулась она мигая, глаза ее как-будто потемнели. — Была я в Крыму чтицей у одной дамы, ох, как это тяжело! Она — больная, несчастная... конечно, это ее оправдывает. И вот, приезжает к ней сын, некрасивый такой, худущий, с остреньким носиком, но — удивительный! Замечательные глаза и совершенно ничего не понимает.

Погрозив Климу пальцем, она вполголоса предупредила:

— Только ты, пожалуйста, не рассказывай никому об этом!

— О глазах? — шутливо спросил он.

— Обо всем, — серьезно сказала Сомова, перебросив косу за плечо. — Чаще всего он говорил: «Представьте, я не знал этого». Не знал же он ничего плохого, никаких безобразий, точно жил в шкафе, за стеклом. Удивительно такой бестолковый ребенок. Ну — влюбилась я в него. А он — астроном, геолог; целая толпа ученых и все опровергал какого-то Файэ, который, кажется, давно уже помер. В общем — милый такой, олух царя небесного. И — похож на Инокова.

Грубоватое словечко прозвучало смешно; Самгин подумал, что она прибавила это слово по созвучию, потому что она говорила: геолох. Она вообще говорила неправильно, отсекая или смягчая согласные в концах слов. «Ребено», — произносила она.

— И все считает, считает: три миллиона лет, семь миллионов километров, — всегда множество нулей. Мне, знаешь, хочется целовать милые глаза его, а он — о Канте и Лапласе, о граните, об амебах. Ну, вижу, что я для него тоже нуль, да еще и несуществующий какой-то нуль. А я уж так влюбилась, что хоть в море прыгать.

Сомова усмехнулась, но сейчас же закусила губу и на глазах ее блеснули слезы.

— Вот—дура! Почти готова плакать, — сказала она, всхлипнув. — Знаешь, я все-таки добилась, что и он влюбился, и было это так хорошо, такой он стал... необыкновенно удивленный. Как бы проснулся, вылез из мезозойской эры, выпутался из созвездий, ручки у него длинные, слабые, обнимает, смеется... родился второй раз и — в другой мир.

Плакала она смешно, слезы текли по щекам сквозь улыбку, как «грибной дождь сквозь солнце».

— Это он сам сказал: родился вторично и в другой мир, — говорила она, смахивая концом косы слезы со щек.

В том, что эта толстенная девушка обливалась слезами, Клим не видел ничего печального, это даже как-будто украшало ее.

— И вдруг—вообрази! — ночью является ко мне мамаша, всех презирающая, вошла так, знаешь, торжественно, устрашающе несчастная и, как воскресшая дочь Иaira. «Сейчас, — говорит, — сын сказал, что намерен жениться на вас, так, вот, я умоляю: откажите ему, потому что он в будущем великий ученый, жениться ему не надо, и я готова на колени встать пред вами». И ведь хотела встать... она, которая меня... как горничную... Ах, господи!..

Громко всхлипнув, Сомова заткнула рот платком и несколько секунд кусала его, надувая щеки, отчего слезы потекли по ним быстрее.

— Так это было тяжело, так несчастно... Ну, хорошо, говорю, хорошо, уходите! А утром — сама ушла. Он спал еще, оставила ему записку. Как в благонаправном английском романе. Очень глупо и трогательно.

Помахав в лицо свое мокрым платком, она облегченно вздохнула.
— Старалась, влюбляла...

Самгин наклонил голову, чтобы скрыть улыбку. Слушая рассказ девицы, он думал, что и по фигуре, и по характеру она была бы на своем месте в водевиле, а не в драме. Но тот факт, что на долю ее все-таки выпало участие в драме, несколько тронул его; он ведь был уверен, что тоже пережил драму. Однако он не сумел выразить чувство, взволновавшее его, а два последних слова ее погасли это чувство. Помолчав, он спросил вполголоса:

— Ты с ним жила?

Сомова отрицательно покачала головой. Она обмякла, осела, у нее опустились плечи; согнув шею, перебирая маленькими пальцами пряди косы, она сказала:

— Мать увезла его в Германию, женила там на немке, дочери какого-то профессора, а теперь он в санатории для нервно-больных. Отец у него был алкоголик.

Она вздохнула.

— Знаешь, — я с первых дней знакомства с ним чувствовала, что ничего хорошего для меня в этом не будет. Как все неудачно у меня, Клим, — сказала она вопросительно и с удивлением глядя на него. — Очень ушибло меня это. Спасибо Лиде, что вызвала меня к себе, а то бы я...

Ожидая, что она снова начнет плакать, Самгин спросил: что делает в Париже Алина?

— Развлекается! Ой, какая она стала... отчаянная! Ты ее не узнаешь. В роде солдатки-вдовы, есть такие в деревнях. Но красива — неописуемо! Мужчин около нее — толпа. Она и Лида скоро приедут, ты знаешь? — Она встала, посмотрела в зеркало. — Надо умыться. Где это?

Пока она умывалась, пришла Варвара, а вслед за нею явился Маракуев в рыжем пиджаке с чужого плеча, в серых брюках с пузырями на коленях, в высоких сапогах.

Варвара встретила его ироническим замечанием:

— Опять маскарад?

Через полчаса Самгин увидел Любовь Сомову совершенно другим человеком. Было ясно, что она давно уже знает Маракуева и между ними существуют отношения воинственные. Сомова встретила студента задорным восклицанием:

— Ох, апостол правды и добра, какой вы смешной!

Нахмурясь при виде ее, Маракуев немедленно усмехнулся и ответил по-французски:

— Хорошо смеется тот, кто смеется последний.

Вышло у него грубовато, неуместно, он, видимо, сам почувствовал это и снова нахмурился. Пока Варвара хлопотала, приготавливая чай, между Сомовой и студентом быстро завязалась колкая беседа. Сомова как-то подтянулась, бантики и ленточки ее кофты ощетини-

лись, и Климу смешно было слышать, как она, только-что омыв пухленькое лицо свое слезами, говорит Маракуеву небрежно и насмешливо:

— Ну, это, знаете, сентименты!

И спрашивает Самгина:

— Он все еще служит акафисты деревне?

— Не идет к вам марксизм, — проворчал Маракуев.

— Уж не знаю, марксистка ли я, но я человек, который не может говорить того, чего он не чувствует, и о любви к народу я не говорю.

Самгин присматривался к ней с великим удивлением и готов был думать, что все, что она говорит, только сейчас пришло ей в голову. Вспоминал ее кисленькой девчонкой, которая выдумывала скучные, странные игры и думал:

«Как неестественно и подозрительно изменяются люди».

Варвара присматривалась к неожиданной нахлебнице своей сквозь ресницы и хотя молчала, но Клим видел, что она нервничает. Маракуев сосредоточенно пил чай, возражал нехотя; его, видимо, смущал непривычный костюм, и вообще он был настроен необычно для него угрюмо. Никто не мешал Сомовой рассказывать задорным и упрямым голосом.

— В деревне я чувствовала, что хотя делаю работу объективно необходимую, но ненужную моему хозяину и он терпит меня только как ворону на огороде. Мой хозяин безграмотный, но по-своему умный мужик, очень хороший актер и человек, который чувствует себя первейшим, самым необходимым работником на земле. В то же время он догадывается, что поставлен в ложную, унижительную позицию слуги всех господ. Науке, которую я вколачиваю в головы его детей, он не верит: он вообще неверующий...

Маракуев проворчал что-то о сектантстве.

— Ах, оставьте! — воскликнула Сомова. — Прошли те времена, когда революции делались Христа ради. Да и еще вопрос: были ли такие революции?

— Ну-у, — протянул Макаров и безнадежно махнул рукою.

— Да, неверующий, — повторила Сомова, стукнув по столу кулачком, очень похожим на булку, которая почему-то именуется розан.

Все замолчали. Тогда Сомова, должно быть, поняв, что надоела, и обидясь этим, простилась и ушла к себе в комнату, где жила Лидия. Маракуев провел ладонью по волосам, говоря:

— Черствеют люди от марксизма.

— Вы давно знакомы с нею? — спросила Варвара Клима.

— С детства.

— Она очень умная?

— Как видите, — сказал Клим и тоже простился.

В конце концов, Сомова оставила в нем неприятное впечатление. И неприятно было, что она, свидетель детских его дней, будет жить у Варвары, будет, наверное, посещать его. Но он скоро убедился, что

Сомова не мешает ему, она усердно готовилась на курсы Герье, шариком каталась по Москве, а при встречах с ним восхищенно тараторила:

— Какой сказочный город! Идешь, идешь и вдруг почувствуешь себя, как во сне. И так легко заплутаться, Клим! Лев Тихомиров — москвич? Не знаешь? Наверное, москвич!

— Почему? — спросил Самгин, забавляясь ее болтовней.

— Заплутался.

— Ты не москвичка, а тоже заплуталась: читаешь «Историю материализма» и «Философию мистики» Дюпреля.

— Все надобно знать, голубчик.

— Мне кажется, что умные книги обесцвечивают женщину, — сухо заметила Варвара. Сомова, задумчиво глядя на нее, дернула свою косу.

— Это доказывал один профессор в Цюрихе, антифеминист... как его? Не помню. Очень сердитый дядя! Вообще, швейцарские немцы — сердитый народ, и язык у них тоже сердитый.

При каждой встрече она рассказывала Климу новости: в одном студенческом кружке оказался шпион, в другом — большинство членов «перешло в марксизм», появился новый пропагандист, кажется — нелегальный. Глаза ее счастливо блестели. Клим видел, что в ней кипит детская радость жить, и хотя эта радость казалась ему наивной, но все-таки завидно было уметь Сомовой любоваться людьми, домами, картинами Третьяковской галлерей, Кремлем, театрами и вообще всем этим миром, о котором Варвара тоже с наивностью, но лукавой, рассказывала иное.

Она говорила о студентах, влюбленных в актрис, о безумствах богатых кутил в «Стрельне» и у «Яра», о новых шансонетных певицах в капище Шарля Омона, о несчастных романах, запутанных драмах. Самгин находил, что говорит она не цветисто, неумело, содержание ее рассказов всегда было интереснее формы, а попытки философствовать — плоски. Вздыхая, она произносила стертые фразы:

— Страдания — неизбежная тень любви.

Рассказывая, Варвара напоминала Климу Ивана Дронова, но нередко ее бесконечные истории о слепом стремлении друг к другу разнополых тел, создавали Самгину настроение, которым он дорожил. Было поучительно и даже приятно слышать как безвольно, а порою унизительно барахтаются в стихийной суматохе чувственности знаменитые адвокаты и богатые промышленники, молодые поэты, актрисы, актеры, студенты и курсистки. Охотно верилось, что все это — настоящая правда ничем не прикрашенной жизни, которая хотя и допускает красиво выдуманнные мысли и слова, но вовсе не нуждается в них. И, наконец, приятно было убеждаться, что все это дано навсегда и непобедимо никакими дьяконами, ремесленниками и чиновниками революции, в роде Маракуева. Вспоминались слова Макарова о «не тяжелом, но губительном владычестве женщины» и вычитанная у

князя Щербатова в книге «О повреждении нравов» фраза: «Жены имеют более склонности к самовластию, нежели мужчины». Вспоминая эти слова, Клим смотрел в лицо Варвары и внутренне усмехался.

Он видел, что Варвара влюблена в него, ищет и ловко находит поводы прикоснуться к нему, а прикасаясь, краснеет, дышит носом, и розоватые ноздри ее вздрагивают. Ее игра была слишком груба, открыта, он даже говорил себе:

«Надо прекратить это».

Прекратить следовало еще и потому, что Маракуев все более мрачнел, а Клим не мог не думать, что это именно он омрачает веселого студента.

Но, подчиняясь темному любопытству, которое сгущалось до насилия над его волей, Клим не прекращал свиданий с Варварой, и ему все более нравилось говорить с нею небрежным тоном, смущать ее своей холодностью. Она уже явно ревновала его к Сомовой, и когда он приходил к ней, угощала его часто не в столовой, куда могла явиться нахлебница, а в своей уютенькой комнате, как бы нарочито приспособленной для рассказов в духе Мопассана. На стенах, среди темных квадратиков фотографий и гравюр, появились две мрачные репродукции: одна с картины Бёклина — пузырчатые морские чудовища преследуют светловолосую, несколько лысоватую девушку, запутавшуюся в морских волнах, окрашенных в цвет зеленого ликера; другая с картины Стука «Грех» — нагое тело дородной женщины обвивал толстый змей, положив на плечо ее свою тупую и глупую голову.

Наблюдая волнение Варвары, ее быстрые переходы от радости, вызванной его ласковой улыбкой, мягким словом, к озлобленной печали, которую он легко вызывал словом небрежным или насмешливым, Самгин все увереннее чувствовал, что в любую минуту он может взять девушку. Моментами эта возможность опьяняла его. Он не соблазнялся, но, любуясь своей сдержанностью, все-таки спрашивал себя: что мешает? Лидия? Маракуев?

Дошло до того, что Сомова спросила:

— Ты, что же, — не видишь, что по тебе девушка сохнет?

— Невозможно любить всех девушек, которые сохнут, — солидно, но не подумав, ответил он.

— Хвастун, — сказала Сомова, вздохнув.

Как-то утром хмурого дня Самгин, сидя дома, просматривал «Наш Край» — серый лист очень плохой бумаги, обрызганный черным шрифтом. Передовая статья начиналась словами: «В то время, как в Европе успехи гигиены и санитарии...», — дальше говорилось о плохом состоянии городских кладбищ и, кстати, о том, что козы обывателей портят древесные посадки, уничтожают цветы на могилах. Мрачный тон статьи позволял думать, что в ней глубоко скрыта от цензора какая-то аллегория, а по начальной фразе Самгин понял, что статья написана редактором, это он довольно часто начинал свои граждан-

ские жалобы фразой, осмеянной еще в 60-х годах: «В настоящее время, когда». Вообще газета Варавки была скучная, мелко-деловитая, и лишь изредка Самгина забавлял Робинзон. Один из его фельетонов был сплошь написан излюбленными редактором фразами, поговорками, цитатами: «Уж сколько раз твердили миру», — начинался фельетон стихом басни Крылова, и, перечислив избитыми словами все то, о чем твердили миру, Робинзон меланхолически заканчивал перечень: «А Васька слушает, да ест». Последняя фраза спрашивала редактора или цензора:

«Ты этого хотел, Жорж Дандэн?»

Самой интересной страницей газеты была четвертая: на ней Клим читал:

«Музыкальная школа В. П. Самгиной об'являет»... «Техническая контора Т. С. Варавки»... «Буксирное пароходство Т. С. Варавки»... «Управление дачами «Уют» Т. С. Варавки»... «Варавка»... «Варавки»... «Завоевание Плассана», — думал Клим, усмехаясь.

«Семейные бани» И. И. Домогаилова сообщают, что «в Дворянском отделении устроен для мужчин душ профессора Шарко, а для дам ароматические ванны» — читал он, когда в дверь постучали, и на его крик: «Войдите!», вошел курчавый ученик Маракуева — Дунаев. Он никогда не бывал у Клим, и Самгин встретил его, удивленно поправляя очки. Дунаев, как всегда, улыбался, мелкие колечки густейшей бороды его шевелились, а нос как-то странно углубился в усы, и шагал Дунаев так, точно он ожидал, что может провалиться сквозь пол.

— Никого нет? — спросил он, покосившись на ширму, скрывавшую кровать, и по его вопросу Самгин понял: случилось что-то неприятное.

— Никого. Садитесь.

Рабочий, дважды кивнув головою, сел, взглянул на грязные сапоги свои, спрятал ноги под стул и тихонько заговорил, не угашая улыбочку:

— Ну-с, товарищ Петр арестован и Дьякон с ним. Они в Серпухове схвачены, а Варакин и Фома — здесь. Насчет Одинцова не знаю, он в больнице лежит. Меня, наверное, тоже зацапают.

Самгин молчал, ощущая кожей спины холодок тревоги, думая о Диомидове и не решаясь спросить:

— Донес кто-то?

— Я к вам вот почему, — об'яснял Дунаев, скосив глаза на стол, загруженный книгами, щупая пальцами «Наш край». — Не знаете, — товарища Варвару не тревожили, цела она?

— Не знаю.

— Надо узнать. Предупредить надо, если цела, — говорил Дунаев. — Там у нее книжки есть, я думаю, а мне идти к ней — осторожность не велит.

— Хорошо, я сейчас, — сказал Самгин.

Рабочий встал, протянул ему руку, улыбаясь еще шире.

— Ежели вас не зацепят в эту историю, так вы насчет книжек позаботьтесь мне; в тюрьме, будто, читать не мешают.

— Что ж это — донос? — тихо и сердито спросил Клим.

— Похоже, — ответил Дунаев не сразу и приглядываясь прищуренными глазами к чему-то в углу. — Был у нас белобрысенский такой паренек, Сапожников, отшили мы его, глуповат и боязлив чересчур. Может быть, он обиделся...

— Что ж вы думаете сделать с ним? — спросил Самгин, понимая, что спрашивает и ненужно и неумно; Дунаев тоже спросил:

— А где я его возьму? Если меня не посадят, конечно, я поговорю с ним.

Он уже не улыбался; хотя под усами его блестили зубы, но лицо его окаменело, а глаза остановились на лице Клина с таким жестким выражением, что Клим невольно повернулся к нему боком, проормотав:

— Да... конечно.

— Прощайте. Так вы сейчас же...

Он снова улыбался своей улыбочкой, как-будто добродушной, но Самгин уже не верил в его добродушие. Когда рабочий ушел, он несколько минут стоял среди комнаты, сунув руки в карманы, решая: следует ли идти к Варваре? Решил, что идти все-таки надобно, но он пойдет к Сомовой, отнесет ей литографированные лекции Ключевского.

Сомова встретила его, размахивая синим бланком телеграммы.

— Лида приезжает, понимаешь? Ты что какой?

Торопливо рассказывая ей об арестах, он чувствовал новую тревогу, очень похожую на радость.

— Ну,—живо!—вполголоса сказала Сомова, толкая его в столовую; там сидела Варвара, непричесанная, в широком пестром балахоне. Вскричав: «ай»!, она хотела убежать, но Сомова строго прикрикнула:

— Глупости! Где у вас нелегальщина? Письма, записки Маракужева — есть? Давайте все мне.

Она увлекла побледневшую и как-то еще более растрепавшуюся Варвару в ее комнату, а Самгин, прислонясь к печке, облегченно вздохнул: здесь обыска не было. Тревога превратилась в радость настолько сильную, что потребовалось несколько сдержать ее.

«Прежние отношения с Лидой едва ли возможны. Да я и не хочу их. А что, если она беременная?»

Но тотчас же после этого он подумал:

«Если б меня арестовали, это, наверное, тронуло бы ее».

Выскочила Сомова с маленькой пачкой книжек в руке и крикнула в дверь комнаты Варвары:

— А письма в печку!

Она исчезла, заставив Самгина мельком подумать, что суматоха нравится ей. Варвара, высунув из двери улыбающееся, но сконфуженное лицо, сказала:

— Я сейчас, только оденусь.

— К сожалению, мне нужно идти в университет, — объявил Клим, ушел и до усталости шагал по каким-то тихим улицам, пытаюсь представить, как встретится он с Лидией, придумывая, как ему вести себя с нею.

Через день, прожитый беспокойно, как перед экзаменом, стоя на перроне вокзала, он увидел первой Алину: являсь в двери вагона, глядя на людей сердитым взглядом, она крикнула громко и властно:

— Носильщик! Вы ослепли?

В черном плаще, в широкой шляпе с загнутыми полями и огромным пепельного цвета пером, с тростью в руке, она имела вид победоносный, великолепное лицо ее было гневно нахмурено. Самгин несколько секунд смотрел на нее с почтительным изумлением, сняв фуражку.

Она поздоровалась с ним на французском языке и сунула в руки ему, как носильщику, тяжелый несессер. За ее спиной стояла Лидия, улыбаясь неопределенно, маленькая и тусклая рядом с Алиной, в неприятно рыжей шубке, в котиковой шапочке.

— Здравствуй, — сказала она тихо и безрадостно: в темных глазах ее Клим заметил только усталость. Целуя руку ее, он пытливо взглянул на живот, но фигура Лидии была девически тонка и стройна. В сани извозчика она села с Алиной, Самгин, несколько обиженный встречей и растерявшийся, поехал отдельно, нагруженный картонками, озабоченный тем, чтоб не растерять их.

В номере гостиницы, покрикивая так же громко, как на вокзале, Алина приказывала старику-лакею:

— Дедушка — самовар! И — закусить побольше, по-русски, по-купечески. Сообрази: почти два года прожила за границей!

— Понимаю-с, — сказал старик, отечески радостно улыбаясь ей.

Лидия заняла комнату, соседнюю с Алиной, и в щель неприкрытой двери Самгин видел, что она и уже прибежавшая Сомова торопливо открывают чемодан.

«Должно быть, привезла Любаше литературу эмигрантов», — сообразил он.

Алина в дорожном костюме стального цвета, с распущенными по спине и плечам волосами, стройная и пышная, стояла у стола, намазывая горячий колач икрой, и патетически говорила:

— О, родина! О, колачи! Икра! И — рыбная селянка с капорцами!

В ней не осталось почти ничего, что напоминало бы девушку, какой она была два года тому назад, девушку, которая так бережно и гордо несла по земле свою красоту. Красота стала пышнее, ослепительней, движения Алины приобрели ленивую грацию, и было сразу понятно — эта женщина знает: все, что бы она ни сделала, будет красиво. В сиреновом шелке подкладки рукавов блестела кожа ее холеных рук, и, несмотря на лень ее движений, чувствовалась в них размашистая дерзость. Карие глаза улыбались тоже дерзко.

— Люблю есть, — говорила она с набитым ртом. — Французье не едят, они — фокусничают. У них везде фокусы: в костюмах, стихах, в любви.

Ее сильный, мягкий голос казался Климу огрубевшим. И она как-будто очень торопилась показать себя такою, какой стала.

Вошла Сомова в шубке, весьма заметно потолстевшая; Лидия плотно закрыла за нею свою дверь.

— Аля, я через часок ворочусь, — сказала Сомова, исчезая.

Алина подмигнула вслед ей:

— Бежит революцию сеять! Люблю эту Матрёшку!

И, вздохнув, спросила:

— Ты — тоже сеешь? Бунтовал?

Через минуту она осведомилась:

— С Туробоевым встречался?

А еще через несколько минут рассказывала, не переставая есть:

— Уже в конце первого месяца он вошел ко мне в нижнем белье, с сигарой в зубах. Я сказала, что не терплю сигар. «Разве?» — удивился он, но сигару не бросил. С этого и началось.

Выпив рюмку рябиновой водки и вкусно облизав яркие губы, она продолжала, тщательно накладывая ломтики семги на кусок колача.

— Вообразить не могла, что среди вашего брата есть такие милые уроды. Он перелистывает людей, точно книги. Когда же мы венчаемся? — спросила я. Он так удивился, что я почувствовала себя калуцкой, дурой. Помилуй, — говорит, — какой же я муж, семьянин? И я сразу поняла: верно, какой он муж? А он — еще: да и ты, говорит, — разве ты для семейной жизни, с твоими данными? И это верно, думаю. Ну, конечно, поплакала. Выпьем. Какая это прелесть, рябиновая!

Выпив, она удивительным движением рук и головы перебросила обильные волосы свои на грудь и, отобрав половину их, стала заплетать косу.

Среди своих друзей, — продолжала она неторопливыми словами, — он поставил меня так, что один из них, нефтяник, богач, — предложил мне ехать с ним в Париж. Я тогда еще дурой ходила и не сразу обиделась на него, но потом жалуюсь Игорю. Пожал плечами. Ну, что ж? — говорит. Хам. Они тут все хамье. И — утешил: в Париж, говорит, ты со мной поедешь, когда я остаток земли продам. Я еще поплакала. А потом — глаза стало жалко. Нет, думаю, лучше уж пускай другие плачут!

Перестав жевать и говорить, она задумалась, глядя в окно через голову Клима. Ему красота Алины казалась уже подавляющей и наглой.

«Сомова метко сказала: солдатская вдова».

Вошла Лидия, одетая в необыкновенный халатик оранжевого цвета, подпоясанный зеленым кушаком. Волосы у нее были влажные,

но от этого шапка их не стала меньше. Смуглое лицо ярко разгорелось, в зубах дымилась папироса, она рядом с Алиной напоминала слишком яркую картинку не очень искусного художника. Морщась от дыма, она взяла чашку чая, вылила чай в полоскательницу и сказала:

— Налей крепкого.

— Но, все-таки, — порода! — вдруг и с удовольствием сказала Алина, наливая чай. — Все эти купчишки, миллионеришки боялись его. Он их учил прилично есть, пить, одеваться, говорить. Дрессировал, как собачат.

Самгин чувствовал себя неловко. Лидия села на диван, поджав под себя ноги, держа чашку в руках, и молча, вспоминаящими глазами, как-то бесцеремонно рассматривала его.

«Ни о чем не спрашивает, но, конечно, заряжена вопросами», — едко подумал он.

Заплетая другую косу, Алина сказала:

— Познакомилась я с француженкой, опереточная актриса, рыжая, злая, распутная, умная, — ох, Климчик, какие француженки умные! На нее тратят огромные деньги. Она мне сказала: «От нас, женщин, немного хотят, поэтому мы — нищие!» Помнишь, Лида?

— Что? — рассеянно спросила Лидия.

— Как ты спорила с нею и она сказала . . .

— Да, помню, как же! Она очень умная, очень!

Это она проговорила быстро и так, что Самгин понял: Лидия не хочет, чтоб он знал что-то.

«Вероятно, какое-то опереточное приключение русской провинциалки, страдающей ненормальным половым любопытством», — зло подумал он, сознавая, что спешит настроить себя против Лидии.

Она, не допив чай, бросила в чашку окурочок папиросы, встала, отошла к запотевшему окну, вытерла стекло платком и через плечо спросила:

— Чем ты так озабочен, Клим?

Ему хотелось ответить какими-то вескими словами, так, чтоб они остались в памяти ее надолго, но он был в мелких мыслях, мелких, как мухи, они кружились бестолково, бессвязно; вполголоса он сказал:

— Арестованы на-днях знакомые и, возможно, что мне придется . . .

Шумно влетела Варвара, бросилась к Лидии, долго обнимала, целовала ее, разглядывала, восклицая:

— Милуша! Цыганочка . . .

Потом кричала в лицо Алины:

— Боже, какая красота! По рассказам Лиды я знала, что вы красивая, но — так! До вас даже дотронуться страшно, — кричала она схватив и встряхивая руки Алины.

В ее возбуждении, в жестах, словах Самгин видел то наигранное и фальшивое, от чего он почти уже отучил ее своими насмешками. Было ясно, что Лидия рада встрече с подругой, тронута ее радостью;

Они, обнявшись, сели на диван. Варвара плакала, сжимая ладонями щеки Лидии, глядя в глаза ее.

— Милая ты, моя...

«Как же они видят друг друга?»—спрашивал себя Клим, наблюдая за ними. Алина мешала ему.

— Предлагают поступить в оперетку — говорила она. — Кажется, пойду. «Родилась, так — живи!» — как учила меня моя француженка.

Она перешла на диван, бесцеремонно втиснулась между подружками, и те сразу потускнели. По коридору бегали лакеи, дребезжала посуда, шаркала щетка, кто-то пронзительно крикнул:

— Тринадцатый — дур-рак!

На диване все оживленнее звучали голоса Алины и Варвары, казалось, что они говорят условным языком и не то, о чем думают. Алина внезапно и нелепо произнесла, передразнивая кого-то, шепелявя:

— Ой, милая, не верь социалистам, они тоже в серединку смотрят!

И стала рассказывать:

— В Крыму был один социалист, так он ходил босиком, в парусиновой рубашке, без пояса, с расстегнутым воротом; лицо у него детское, хотя с бородкой, детское и обезьянье. Он возил воду в бочке, одной старушке толстовке...

— Он сам толстовец, — вставила Лидия.

— Да? Ну все равно. Удивительно пел русские песни и смотрел на меня, как мальчишка на пряник.

Самгин, чувствуя себя лишним, взял фуражку:

— Вам следует отдохнуть.

— Да, милый, — сказал Алина, похлопывая его по руке мягкой своей ладонью. — Вечером придешь, да?

Лидия пожалала его руку молча. Было неприятно видеть, что глаза Варвары провожают его с явной радостью. Он ушел, оскорбленный равнодушием Лидии, подозревая в нем что-то искусственное и демонстративное. Ему уже казалось, что он ждал: Париж сделает Лидию более простой, нормальной, и если даже несколько развратит ее, — это пошло бы только в пользу ей. Но, видимо, ничего подобного не случилось, и она смотрит на него все теми же глазами ночной птицы, которая не умеет жить днем.

«Надо решительно об'ясниться с ней», — додумался он, и вечером, тоже демонстративно, не пошел в гостиницу, а явился утром, но Алина сказала ему, что Лидия уехала в Троице-Сергиевскую лавру. Пышно одетая в шелк, Алина сидела перед зеркалом, подпиливая ногти и небреженьким тоном говорила:

— У нее, как у ребенка, постоянно неожиданные решения. Но это не потому, что она бесхарактерна, — о! — характер у нее есть! Она говорила, что ты сделал ей предложение? Смотри, эта будет трудная жена. Она все ищет необыкновенных людей; люди, милый мой, как собаки: породы разные, а привычки у всех одни.

— Странно слышать такие афоризмы из твоих уст, — заметил Клим сердито и насмешливо.

— Почему странно? Я — не глупа.

Бросив пилку в несессер, она стала протирать ногти замшевой подушечкой. Самгин обратил внимание, что вещи у нее были дорогие, изящные, костюмы — тоже. Много чемоданов. Он усмехнулся.

— А что Лютов? — спросила она, углубленно занимаясь ногтями.

Не без злорадства Клим рассказал ей о том, как Лютов пьянствует, о его революционных знакомствах, о встрече с Туробоевым. Алина выслушала его, не перебивая, потом одобрительно сказала:

— Интересный человек, Владимир Васильевич!

— Не жалко тебе его?

— Что-о? — удивленно протянула она. — За что же его жалеть? У него — своя неудача, у меня — своя. Квит. Вот, Лида необыкновенного ищет, — выходила бы замуж за него! Нет, серьезно, Клим, — купцы хамоватый народ, это так, но — интересный.

И, повернувшись лицом к нему, улыбаясь, она оживленно, с восторгом передала рассказ какого-то волжского купчика: его дядя, старик, миллионер, семейный человек, сболтнул кому-то, что если бы красавица-губернаторша показала ему себя нагой, он не пожалел бы пятидесяти тысяч. Губернаторше донесли об этом его враги, но она согласилась показать себя, только он должен смотреть на нее из другой комнаты, в замочную скважину. Он посмотрел, стоя на коленях, а потом, встретив губернаторшу глаз на глаз, сказал, поклонясь ей в пояс: «Простите, Христа ради, ваше превосходительство, дерзость мою, а красота ваша воистину божеская, и благодарен я богу, что видел эдакое чудо».

— Может быть, это неправда, но — хорошо! — сказала Алина, встав, осматривая себя в зеркале, как чиновник, которому надо представляться начальству. Клим спросил:

— А деньги он заплатил?

— Старик? Да. Заплатил.

— Не верю.

— Вот какой ты... практический мужчина! — сказала она, посмотрев на него с нехорошей усмешкой, и эта усмешка разрешила ему спросить ее:

— А за какие деньги ты показала бы?

— У тебя таких нет, милейший! — ответила она и предложила: — Пойдем-ко, погуляем!

На улице она стала выше ростом и пошла на людей, гордо подняв голову, раскачивая бедрами. В этой ее воинственности было нечто внушающее почтение к ней и даже развеселившее Самгина. Он перестал думать о Лидии. Приятно было идти под руку с женщиной, на которую все мужчины смотрели с восхищением, а женщины — враждебно. Клим отметил во взглядах мужчин удивление, лишенное той игривости,

той чувственной жадности, с которой они рассматривают женщин только и просто красивых. В небе замерзли мелкие облака из страусовых перьев, похожих на перо шляпки Алины Телепневой.

— Хочу есть, — заявила она через полчаса.

Самгин повел ее в «Эрмитаж»; стол она выбрала среди зала, на самом видном месте, а когда лакей подал карту, сказала ему с обаятельной улыбкой, громко:

— Нет, вы, друг мой, угостите меня по вашему вкусу, по-московски.

И об'яснила Климу:

— Я и в Париже так, скажу человеку: ну-те-ко, покажите себя! Ему — лестно, он и постарается. Это — во всем!

— И в любви? — уже игриво спросил Самгин.

— И в любви, — серьезно ответила она, но затем, прищурясь, оскалив великолепные зубы, сказала потише: — Ты, разумеется, замечаеть во мне кое-что кокоточное, да? Так для ясности я тебе скажу: да, да, я вступаю на эту службу, вот! И — чорт вас всех поberi, милейшие мои, — шопотом добавила она, глаза ее гневно вспыхнули.

— Я... не моралист, — пробормотал Самгин. Он желал быть приятным и покорным ей, потому что и красота, и настроение ее подавляли, пугали его. Сказав ему о своей «службе», она определила его догадку и усилила его ощущение опасности: она посматривала на людей в зале, вызываяще прищурив глаза, и Самгин подумал, что ей, вероятно, знакомы скандалы и она не боится их. Очень стесняло и беспокоило внимание, возбужденное ею, казалось, что все смотрят только на нее и вслушиваются в ее слова. Когда принесли два подноса различной еды на тарелках, сковородках, в сотейниках, она, посмотрев на все глазами знатока, сказала лакею:

— Bravo! Вы скоро будете метр-д'отелем!

А лакей, очарованно улыбаясь, спрашивал, выгнув спину и тоном соучастника в тайном деле:

— Разрешите рекомендовать померанцевую водочку-с? Отличная! И красенькое бордо, очень тонкое, старенькое!

— Люблю лакеев, — сказала Алина неприлично громко. — В наше время только они умеют служить женщине рыцарски. Слушай, — где: Макаров?

Самгин усмехнулся:

— Согласись, что переход от лакеев к Макарову...

— Не от лакеев, а от рыцарей, — поправила она серьезно.

— Учится. Живет у Лютова. Я редко вижу его.

— Почему?

— Скучно с ним.

— И ему с тобой?

— Вероятно.

Когда она начала есть, Клим подумал, что он впервые видит человека, который умеет есть так изящно, с таким наслаждением, и ему по-

казалось, что и все только теперь дружно заработали вилками и ножами, а до этой минуты в зале было тихо.

Позавтракав, она оставила Самгина.

— Иду хлопотать о моем будущем, — сказала она.

К Самгину тотчас же откуда-то из угла подкатился кругленький, сильно раскрасневшийся Тагильский и крикливо, нетвердым голосом спросил:

— Что это за чудовище? Из Парижа? Ого-о! — воскликнул он и, причмокнув яркими губами, сказал убежденно: — Это сразу видно.

В углу, откуда он пришел, сидел за столом такой же кругленький, как Тагильский, но пожилой, плешивый и очень пьяный бородатый человек с большим животом, с длинными ногами. Самгин поторопился уйти, отказавшись от предложения Тагильского.

— Разделить компанию.

Несколько охмелев от вкусной пищи и вина, он пошел по бульвару к Страстной площади, думая:

«А ведь как она нянчилась со своей красотой! И вот...»

Он усмехнулся. Попробовал думать о Лидии, но помешала знакомая Лютова, женщина с этой странно памятной, насильственной улыбкой. Она сидела на скамье и как-будто именно так и улыбалась ему, но когда он вежливо приподнял фуражку, ее неинтересное лицо сморщилось гримасой удивления:

«Неужели я ошибся?» — спросил он себя; оглядываясь на траурно одетую фигуру под голыми деревьями. «Нет, это она. Конспирирует, дура».

Он пошел к Варваре, надеясь услышать от нее что-нибудь о Лидии, и почувствовал себя оскорбленным, войдя в столовую, увидав там за столом Лидию, против нее — Диомидова, а на диване — Варвару.

— Да, да! — не своим голосом покрикивал Диомидов. — Это — ваша вина, ваша!

Сидел он, навалясь на стол, простирая руки к Лидии, разводя ими по столу, сгребая, расшвыривая что-то, скатерть морщилась, образуя складки, Диомидов пришепывал их ладонью. Сунув Климу холодную, жесткую руку, он торопливо вырвал ее.

— Здравствуй, — сказала Лидия тем же тоном, как на вокзале, и обратилась к Диомидову: — Что же, продолжайте!

Диомидов снова заговорил, уже вполголоса, очень быстро, заглаывая слова, дополняя их взмахами правой руки, а пальцами левой крепко держась за край стола.

Клим сел рядом с Варварой. Она, сложив пальцы щипчиками, достала из коробки на коленях ее конфету, поднесла ее к губам Самгина, шепнула:

— Осторожнее, с ликером.

Клим спросил тоже шопотом:

— Как это она узнала?

Варвара молча пожала плечиком, а Диомидов говорил снова громко и ликующим тоном:

— Этот Макаров ваш, он — нечестный, он толкует правду наоборот, он потворствует вам, да! Старик-то Федоров-то вовсе не этому учит, я старика-то знаю!

Клим вспоминал: что еще, кроме дважды сказанного «здравствуй», сказала ему Лидия? Приятный, легкий хмель настраивал его иронически. Он сидел почти за спиною Лидии и пытался представить себе: с каким лицом она смотрит на Диомидова? Когда он, Самгин, пробовал внушить ей что-либо разумное, ее глаза недоверчиво суживались, лицо становилось упрямым и неумным.

— Людей, которые женщинам покорствуют, наказывать надо, — говорил Диомидов, — наказывать за то, что они в угоду вам захлამили, засорили всю жизнь фабриками для пустяков, для шпилек, булавок, духов, и всякие ленты делают, шляпки, колечки, сережки, — счету нет этой дряни! И никакой духовной жизни от вас нет, а только стишки, да картинки, да романы...

— Какая дичь! Слушать тошно, — сказала Варвара очень спокойно. Лидия, не двигаясь, попросила ее:

— Подожди, Варя!

А Диомидов сердито сказал:

— Вовсе не дичь! Это вот конфетки ваши — дичь....

— Но, Лида, как ты можешь не возражать? — не уступала Варвара. — Как это нет духовной жизни? А искусство?

— Ничего не знаете! — крикнул Диомидов. — Пророка Еноха почитали бы, у него сказано, что искусствам дочери человеческие от падших ангелов научились, а падшие-то ангелы — кто?

Теперь Клим видел лицо Диомидова, видел его синеватые глаза, они сверкали ожесточенно, желтые усы сердито шевелились, подбородок дрожал. Так возбужденным он видел Диомидова впервые. И наряден он необычно, смазал себе чем-то кудри и причесал, разделив их глубоким прямым пробором так, что голова его казалась расколотой. На нем новая рубаха из чесучи, и весь он вымыт, выглажен, точно собрался под венец или к причастию. Он все двигал руками, то сжимая пальцы бессильных рук в кулаки, то взвешивая что-то на ладонях.

— Вы для возбуждения плоти, для соблазна мужей трудной жизни пользуетесь искусствами этими, а они — ложь и фальшь. От вас, покорных рабынь гибельного Демона, все зло жизни и суета, и пыль словесная, и грязь, преступность, — все от вас! Всякое тление души и горестная смерть, и бунты людей, халдейство ученое и всяческое хамство, иезуитство, фармазонство и ереси, и все, что для угашения духа, потому что дух — враг дьявола, господина вашего!

Подскочив на стуле, Диомидов так сильно хлопнул по столу ладонью, что Лидия вздрогнула, узенькая спина ее выпрямилась, а плечи поддались вперед так, как будто она пыталась сложить плечо с плечом, закрыться, точно книга.

Варвара неутомимо кушала шоколад, прокусывая в конфете дырочку, высасывала ликер, затем, положив конфету в рот, облизвала губы и тщательно вытирала пальчики платком. Самгин подозревал, что наслаждается она не столько шоколадом, сколько тем, что он присутствует при свидании Лидии с Диомидовым и видит Лидию в глупой позиции: безмолвной, угнетенной болтовнею полуумного парня.

«Хитрая bestия», — думал он, искоса поглядывая на Варвару, вслушиваясь в задыхающийся голос уставшего проповедника, а тот, ловя пальцами воздух, встряхивая расколотой головою, говорил:

— От Евы начиная развращаете вы! Авель-то в раю был зачат, а Каин — на земле, чтоб райскому человеку дать земного врага...

— Первым сыном Евы был Каин, — тихо напомнила Лидия, поднялась и отошла к печке.

Диомидов, опираясь руками о стол, тоже медленно и тяжело встал, глаза его выкатились, лицо неестественно вытянулось, опало.

— Ну да, Каин, я забыл, — бормотал он, мигая. — Каин... Ну, что ж? Соблазнил-то Еву дьявол...

— Вам, Диомидов, хоть Библию надо почитать, — заговорил Клим, усмехаясь. Он хотел сказать мягко, снисходительно, а вышло злорадно, и Клим видел, что это не понравилось Лидии. Но он продолжал:

— Надо поучиться, а то вы компрометируете мысль, ту силу, которая отводит человека от животного, но которой вы еще не умеете владеть...

— Я человек простой, — тихо и обиженно вставил Диомидов.

— Именно, — согласился Клим. — И это вам следует помнить. Вы начитались Толстого, кажется..

— Ну так что?

— Но Толстой устал от бесконечного усложнения культурной жизни, которую он сам же мастерски усложняет как художник. Он имеет право критики потому, что много знает, а — вы? Что вы знаете?

— Жить нельзя, вот что, — сказал Диомидов под стол.

— Перестань, Клим, ты плохо говоришь.

Это произнесла Лидия очень твердо, почти резко. Она выпрямилась и смотрела на него укоризненно. На белом фоне изразцов печки ее фигура, окутанная дымчатой шалью, казалась плоской. Клим почувствовал, что в горле у него что-то зашипело, откашлялся и сказал:

— Плохо? Может быть. Но я не могу поощрять почтительным молчанием варварские искажения.

— Ну, что ж! Я уйду!

Диомидов поднялся со стула как бы против воли, но пошел очень быстро, сапоги его щеголевато скрипели.

— Подождите, Семен, — крикнула Лидия и тоже пошла в прихожую, размахивая шалью. Клим взглянул на Варвару, кивнув головою, она тихонько одобрила его:

— Прекрасно отчитали, так и надо!

В прихожей Диомидов топал ногами, надевая галоши, Варвара шептала:

— Конечно, это не отрезвит ее. Вы замечаете, какая она стала отчужденная? И это — после Парижа...

— Что же, Париж — купель Силоамская, что ли? — пробормотал Клим, прислушиваясь, готовясь к объяснению с Лидией. Громко хлопнула дверь, Варвара, заглянув в проходную, объявила:

— Она ушла с ним!

— Почему это радует вас? — спросил Самгин, строго осматривая ее. — Мне тоже надо итти. До свидания.

Но уйти он не торопился, стоял перед Варварой, держа ее руку в своей и думал, что дома его ждет скука, ждут беспокойные мысли о Лидии, о себе.

Дома его ждал толстый конверт с надписью почерком Лидии; он лежал на столе, на самом видном месте. Самгин несколько секунд рассматривал его, не решаясь взять в руки, стоя в двух шагах от стола. Потом, не сходя с места, протянул руку, но покачнулся и едва не упал, сильно ударив ладонью по конверту.

«Глупо я веду себя», — подумал он, косясь на зеркало, и сел у стола.

В конверте — пять листиков тесно исписанной толстой бумаги; некоторые строки и фразы густо зачеркнуты, некоторые написаны поперек линеек. Он нескоро нашел начало послания.

«Это — письма, которые я хотела послать тебе из Парижа, — читал он, придерживая зачем-то очки, точно боялся, что они соскочат с носа. — Но мне не удалось написать то, что я хотела, достаточно ясно для себя. Ты знаешь, писать я не умею и говорить тоже, могу только спрашивать. Посылаю тебе все эти начала писем, может быть, ты поймешь и так, что я хотела сказать. Собственно, я знаю, чего хочу, или, вернее, не хочу. Я не хочу никаких отношений с тобою, а вчера мне показалось, что ты этому не веришь и думаешь, что я снова буду заниматься с тобою гимнастикой, которая называется любовью. Но — нужно объяснить, почему не хочу. А объяснить так, чтобы мне самой было ясно, — не умею. Ужасно трудно объяснять, Клим».

На другом листке остались незачеркнутыми только две фразы.

«Ты был зеркалом, в котором я видела мои слова и мысли. Тем, что ты иногда не мешал мне спрашивать, ты очень помог мне понять, что спрашивать бесполезно».

Третий листок говорил:

«Должно быть, есть какие-то особенные люди, — ни хорошие, ни дурные, — но когда соприкасаешься с ними, то они возбуждают только дурные мысли. У меня с тобою были какие-то ни на что не похожие минуты. Я говорю не о «сладких судорогах любви», вероятно, это может быть испытано и со всяким другим, а у тебя — с другой».

Сверх этих строк было надписано мелкими буквами:

«Ты, наверное, из тех, кого называют «чувственными», которые забавляются, а не любят, хотя я не знаю, что значит любить».

А поперек крупно написано:

«У меня нет мысли, нет желания обидеть тебя».

Читать было трудно; Клим прижимал очки так, что было больно переносью, у него дрожала рука, а отнять руку от очков он не догадывался. Перечеркнутые, измазанные строки ползали по бумаге, волнообразно изгибались, разрывая связи слов.

«Я думаю, что ни с кем, кроме тебя, я не могла бы говорить так, как с тобой. Твоя самоуверенность очень раздражает. Я всегда чувствовала, что ты меня не понимаешь, даже и не хочешь понять, это делало меня особенно откровенной, потому что я упряма. Сама с собой я страшно откровенна и, вот, говорю тебе, что не понимаю, зачем произошло все это между нами? Наверное, я в чем-то виновата, хотя не чувствую этого. И не помню, чтоб я говорила тебе, что люблю. Кажется, мне было жалко тебя, ты так плохо вел себя тогда. И, конечно, любопытство девушки тоже».

Слово «конечно» было зачеркнуто.

«Не обижайся. Хотя все равно и даже лучше, если обидишься».

Самгин обиделся, сердито швырнул листки на стол, но один из них упал на пол. Клим поднял листок и снова начал читать стоя.

«Люди, которые говорят, что жить поможет революция, наивно говорят, я думаю. Что же даст революция? Не знаю. По-моему, нужно что-то другое, очень страшное, такое, чтоб все ужаснулись сами себя и всего, что они делают. Пусть даже половина людей погибнет, сойдет с ума, только бы другая вылезлась от пошлой бессмысленности жизни. Когда ты рассуждаешь о революции, это напрасно. Ты рассуждаешь, как чиновник из суда. У тебя нет такого чувства, которым делают революции, ведь революции делают из милосердия или как твой дядя Яков».

И еще на одном обрывке бумаги, сплошь зачеркнутом, Самгин разобрал:

«Может быть, я с тобой говорю, как собака с тенью, непонятной ей».

Самгин собрал все листки, смял их, зажал в кулаке и, закрыв уставшие глаза, снял очки. Эти бредовые письма возмутили его, лицо горело, как на морозе. Но, прислушиваясь к себе, он скоро почувствовал, что возмущение его неглубоко, оно какое-то физическое, кожное. Наверное, он испытал бы такое же, если б озорник мальчишка ударил его по лицу. Память услужливо показывала Лидию в минуты, нелестные для нее, в позах унижительных, голую, уставшую.

«В сущности, я ожидал от нее чего-то в этом роде. Негодовать—глупо. Она — невменяема. Дегенератка. Этим все сказано».

Он сел и начал разглаживать на столе измятые письма. Третий листок он прочитал еще раз и, спрятав его между страниц дневника, не спеша начал разрывать письма на мелкие клочки. Бумага была

крепкая, точно кожа. Хотел разорвать и конверт, но в нем оказался еще листок тоненькой бумаги, видимо, вырванный из какой-то книжки.

«Вот, Клим, я в городе, который считается самым удивительным и веселым во всем мире. Да, он — удивительный. Красивый, величественный, веселый, сказано о нем. Но мне тяжело. Когда весело жить, не делают пакостей. Только здесь понимаешь, до чего гнусно, когда из людей делают игрушки! Вчера мне показывали «Фоли-Бержер», это так же обязательно видеть, как могилу Наполеона. Это венец веселья. Множество удивительно одетых и совершенно раздетых женщин, которые играют, которыми играют и...»

Дальше все зачеркнуто и можно было разобрать только слова: «. . . убийственный, убивающий стыд».

Этот кусок бумаги легко было изорвать на особенно мелкие клочки. Клим отошел от стола, лег на кушетку.

«Ближе всего я был к правде в те дни, когда догадывался, что эта любовь выдумана мною», — сообразил он, закрыв глаза.

Горничная внесла самовар, заварила чай. Клим послушал успокаивающее пение самовара, встал, налил стакан чаю. Две чайники забегали в стакане, как живые, он попытался выловить их ложкой. Не давались. Бросив ложку, он взглянул на окно: к стеклам уже прильнула голубоватая муть вечера.

«Вот и у меня неудачный роман. Как это глупо. — Он вздохнул барабана пальцами по стеклу. — Ну, хорошо, что неопределенность кончилась, и я — свободен».

Однако чувства его были противоречивы, он не мог подавить сознания, что жестоко и, конечно, незаслуженно оскорблен, а в то же время думал:

«Если б я был более откровенен с нею...»

Все, что касалось Лидии, приятное и неприятное, теперь как-то отяжелело, стало ощутимее, всего этого было удивительно много и вспоминалось оно помимо воли. Вспомнилось, что пьяный Лютов сказал об Алине:

— Она — как тридцать третий зуб. У меня, знаешь, зуб мудрости растет, очень мешает языку.

Вечером на другой день его вызвала к телефону Сомова, спросила: здоров ли, почему не пришел на вокзал проводить Лидию?

— Простудился, не выхожу, — ответил он и зачем-то прибавил: — Я к Пасхе тоже поеду домой.

— Вместе едем, ладно?

Но ехать домой он не думал и не поехал, а всю весну, до экзаменов, прожил, аккуратно посещая университет, усердно занимаясь дома. Изредка, по субботам, заходил к Прейсу, но там было скучно, хотя явились новые люди: какой-то студент института гражданских инженеров, длинный, с деревянным лицом, драгун-офицер Сумского полка, очень франтоватый, но все-таки похожий на молодого купчика,

который оделся военным скуки ради. Там все считали; Тагильский лениво подавал цифры:

— 643 тысячи тонн... Позвольте: это неверно, обороты Крестьянского банка выразились...

Воинственно шагал Стратонов, поругивая немцев, англичан, японцев.

По вечерам, нечасто, Самгин шел к Варваре, чтоб отдохнуть часок в привычной игре с нею, поболтать с Любашей, которая, хотя несколько мешала игре, но становилась все более интересной своей осведомленностью о жизни различных кружков, о росте «освободительного», — говорила она, — движения.

Она хорошо жила с Варварой, говорила с нею тоном ласковой старшей сестры, Варвара, будучи весьма скупой, делала ей маленькие подарки. Как-то при Сомовой Клим пошутил с Варварой слишком насмешливо, — Любаша тотчас же вознегодовала:

— За такие турецкие манеры я бы тебе уши надрала!

— Но. ведь это шутка, — быстро и миролюбиво воскликнула Варвара

Клим видел в Любаше непонятное ему, но высоко ценимое им желание и умение служить людям, качество, которое делало Таню Куликову в его глазах какой-то всеобщей и святой горничной. Веселая и бойкая Любаша обладала хлопотливостью воробьихи, которая бесстрашно прыгает по земле среди огромных сравнительно с нею людей, лошадей, домов, кошек. Она прыгала и бегала, воодушевленная неутомимой жадной как можно скорее узнать отношения и связи всех людей для того, чтоб всем помочь, распутать одни узлы, завязать другие, зашить и заштопать различные дырки. Она работала в политическом «Красном Кресте», ходила в тюрьму на свидания с Маракуевым, назвавшись его невестой:

— Это должна бы делать Варвара, — заметил Самгин.

— А делаю я, потому что Варя не могла бы наладить связь с тюрьмой.

Клим усмехнулся:

— И потому, что Маракуев надоел ей.

— Чему причина — ты, — сердито сказала Любаша и, перестав сматывать шерсть в клубок, взглянула в лицо Клима с укором:

— Скверно ты, Клим, относишься к ней, а она — очень хорошая!

Самгин снова усмехнулся иронически.

— Сваха, — сквозь зубы процедил он.

Нет, Любаша не совсем похожа на Куликову, та всю жизнь держалась так, как-будто считала себя виноватой в том, что она такова, какая есть, а не лучше. Любаше приниженность слуги для всех была совершенно чужда; поняв это, Самгин стал смотреть на нее, как на смешную «Ванскок» — Анну Скокову, одну из героинь романа Лескова «На ножах»; эту книгу и «Взбаламученное море» Писемского, по их «социальной педагогике», Клим ставил рядом с «Бесами» Достоевского.

Любаша всегда стремилась куда-то, боялась опоздать, утром смотрела на стенные часы со страхом, а около или после полуночи, уходя спать, приказывала себе:

— Встану в половине седьмого.

Она могла одновременно шить, читать, грызть любимые ею, толстые «филипповские» сухари с миндалем и задумчиво ставить Климу различные не очень затейливые вопросы:

— Классовая точка зрения совершенно вычеркивает гуманизм, — верно?

— Совершенно правильно, — отвечал он и, желая смутить, запугать ее, говорил тоном философа, привыкшего мыслить безжалостно. — Гуманизм и борьба — понятия, взаимно исключают друг друга. Вполне правильное представление о классовой борьбе имели только Разин и Пугачев — творцы «безжалостного и беспощадного русского бунта». Из наших интеллигентов только один Нечаев понимал, чего требует революция от человека.

Тут Самгин чувствовал, что говорит он не столько для Сомовой, сколько для себя.

— Требуется она, чтоб человек покорно признал себя слугою истории, жертвой ее, а не мечтал бы о возможности личной свободы, независимого творчества.

Удовлетворяя потребность сказать вслух то, о чем он думал враждебно, Самгин, чтоб не выдать свое подлинное чувство, говорил еще более равнодушным тоном:

— История относится к человеку суровее, жестче природы. Природа требует, чтоб человек удовлетворял только инстинкты, вложенные ею в него. История насилует интеллект человека.

— Это как-будто из Толстого? — вопросительно соображала Любаша.

Самгин видел, что Варвара сидит точно гимназистка, влюбленная в учителя и с трепетом ожидающая, что вот сейчас он спросит ее о чем-то, чего она не знает. Иногда, как бы для того, чтоб смягчить учителя, она, сочувственно вздыхая, вставляла тихонько что-нибудь лестное для него.

— Как трагически смотрите вы на жизнь!

— Пессимист, — сказала Любаша.

Слова вообще не смущали, не пугали ее.

— А я не могу думать без жалости, — говорила она.

Самгин почувствовал в ней мягкое, но неодолимое упрямство и стал относиться к Любаше осторожнее, подозревая, что она — хитрая, «себе на уме», хотя и казалась очень откровенной, даже болтливой. И если о себе самой она говорит усмешливо, а порою даже иронически, — это для того, чтоб труднее понять ее.

Что Любаша не такова, какой она себя показывала, Самгин убедился в этом, присутствуя при встрече ее с Диомидовым. Как всегда, Диомидов пришел внезапно и тихо, точно из стен вылез.

Волосы его были обриты и обнаружили острый череп со стесанным затылком, большие серые уши без мочек. У него опухло лицо, выкатились глаза, белки их пожелтели, а взгляд был тоскливый и невидящий.

— В больнице лежал двадцать три дня,—объяснил он и попросил Варвару дать ему денег в заем до поры, пока он оправится и начнет работать.

Сомова, перестав шить, начала бесцеремонно и вызывающе рассматривать его; он взглянул на нее раза два, сердито спросил:

— Что смотрите? Не хорош?

— Мне про вас Лидия Варавка много рассказывала. Ведь вы — анархист?

— Человек я, — ответил он угрюмо и отвернулся.

Самгин был чрезвычайно удивлен обилием и жестокостью злых насмешек, которыми Любаша начала истязать Диомидова. Ее глазки холодно посветлели; слушая тоже злые ответы Диомидова, она и перекусывала нитки, как-то особенно звучно щелкая зубами. Самгин не мог представить себе, чтоб эта кругленькая «Матрешка», будто бы неспособная думать без жалости, могла до такой степени жестко и ядовито говорить с человеком полубольным. Она заставила его затравленно с'ежиться и сказать:

— Шуточки все. Насмешечки. Погодите, посмеются и над вами.

— Улита едет, да когда-то будет, — ответила она и еще более удивила Самгина, тотчас же заговорив ласково, дружески:

— Хотите познакомиться с человеком почти ваших мыслей? Пчеловод, сектант, очень интересный, книг у него много. Поживете в деревне, наберетесь сил.

— Я секты не люблю, — пробормотал Диомидов, прощально пожимая руку хозяйки. С Климом он не простился, а Сомовой сердито сказал, не подав руки:

— В деревню не хочу.

Когда он ушел, Клим спросил Любашу:

— Зачем тебе нужно знакомить его с каким-то сектантом?

— Ну, а куда же его?

— Ты чувствуешь себя призванной размещать людей сообразно твоим... вкусам, что ли?

— Вот именно! Равняйся! — ответила она, не подняв головы от шитья.

Желая вышутить ее, Самгин не отставал и, наконец, заставил неохотно высказаться:

— Деревня так безграмотно и мало думает, что ей полезны всякие идеи, лишь бы они тревожили ум.

— Оригинальная мысль, — иронически сказал Самгин. Она, не взглянув на него, ответила:

— Ты не знаешь деревню.

Она мешала Самгину обдумывать будущее, видеть себя в нем значительным человеком, который живет устойчиво, пользуется

известностью, уважением, обладает хорошо вышколенной женою, умелой хозяйкой и скромной женщиной, которая, однако, способна говорить обо всем более или менее грамотно. Она обязана неплохо играть роль хозяйки маленького салона, где собирался бы кружок людей, серьезно занятых вопросами культуры, и где Клим Самгин дирижирует настроением, создает каноны, законодательствует.

Сомова говорила о будущем в тоне мальчишки, который любит кулачный бой и совершенно уверен, что в следующее воскресенье будут драться. С этим приходилось мириться, это настроение принимало характер эпидемии, и Клим иногда чувствовал, что постепенно помимо воли своей тоже заражается предчувствием неизбежности столкновения каких-то сил.

Благодаря своей наблюдательности, рассказам Любаши и Варвары он стал вместилищем всех ходовых идей, мнений, разногласий, афоризмов, анекдотов и эпиграмм. Он даже начал собирать «открытки» на политические темы; сначала их навязывала ему Сомова, затем он сам стал охотиться за ними и скоро у него образовалась коллекция картинок, изображавших Финляндию, которая защищает конституцию от нападения двуглавого орла, русского мужика, который пашет землю в сопровождении царя, генерала, попа, чиновника, купца, ученого и нищего, вооруженных ложками, — «Один с сошкой, семеро — с ложкой» подписано было под рисунком. Варвара достала где-то и подарила ему фотографию с другого рисунка: на фоне полуразрушенной деревни стоял царь нагой, в короне и держал себя руками за фаллос, — «Самодержец» — гласила подпись. Был портрет Щедрина, окруженного чудовищами, Победоносцева в виде нетопыря и еще много таких же редкостей. Самгин считал эту коллекцию опасной, но уже гордился ею и продолжал пополнять ее, как судебный следователь материал для обвинительного акта.

Университет, где настроение студентов становилось все более мятежным, он стал посещать нечасто после того, как на одной сходке студент, картинно жестикулируя, приглашал коллег требовать восстановления Устава 64-го года.

— Требуем! — неистово кричал сосед Клим, светловолосый, красивенький второкурсник. Толкнув Самгина локтем, он спросил:

— Вы что же, коллега? Требуйте!

— Я не знаю, какой это Устав, — сухо сказал Клим.

— Да ведь и я не знаю, — признался студент и снова закричал: — Согласны! Петицию министру!

«Варавка прав: эмоциональная оппозиция», — не впервые подумал Самгин.

Учился он автоматически, без увлечения, уже сознавая, что сделал ошибку, избрав юридический факультет. Он не представлял себя адвокатом, произносящим речи в защиту убийц, поджигателей, мошенников. У него вообще не было позыва к оправданию людей, которых он видел выдуманными, двуличными и так или иначе мешав-

шими жить ему, человеку своеобразного духовного строя, и даже, как бы другой расы.

Пять-шесть раз он посетил уголовное отделение Окружного суда. До этого он никогда еще не был в суде, и хотя редко бывал в церкви, но зал суда вызвал в нем впечатление отдаленного сходства именно с церковью; стол судей — алтарь, портрет царя — запрестольный образ, места присяжных и скамья подсудимых — клиросы.

Первый раз попал неудачно: судились воры, трое, рецидивисты, люди разного возраста, но почти одинаково равнодушные к своей судьбе. Они, видимо, хорошо знали технику процесса, знали, каков будет приговор, держались спокойно, как люди, принужденные выполнять неизбежную, скучную формальность, без которой можно бы обойтись; они отвечали на вопросы так же механически кратко и вежливо, как механически скучно допрашивали их председательствующий и обвинитель. Только один из воров, седовласый человек с бритым лицом актера, с дряблым носом и усталым взглядом темных глаз, неприлично похожий на одного из членов суда, настойчиво, но безнадежно пытался выгородить своих товарищей. Двое молодых адвокатов, очевидно, «казенные защитники», перешептывались, совсем как певчие на клиросе, и мало обращали внимания на своих подзащитных. Деревянно и сонно сидели присяжные, только один из них, совершенно лысый старичек, с голеньким, розовым лицом новорожденного, с орденом на шее, непрерывно двигал челюстью, смотрел на подсудимых остренькими глазками и ехидно улыбался каждый раз, когда седой вор спрашивал, вставая:

— Разрешите сказать? Позвольте напомнить?

От скуки Самгин сосчитал публику: мужчин оказалось двадцать три, женщин — девять. Толстая, большеглазая, в дорогой шубе и в шляпке, отделанной стеклярусом, была похожа на актрису в роли одной из бесчисленных купчих Островского. Затем сосчитав, что троих судят более двадцати человек, Самгин подумал, что это — очень дорогая процедура.

В другой раз он попал на дело, удивившее его своей анекдотической дикостью. На скамье подсудимых сидели четверо мужиков среднего возраста и носатая старуха с маленькими глазами, провалившимися глубоко в тряпичное лицо. Люди эти обвинялись в убийстве женщины, признанной ими ведьмой.

Солнце зимнего полудня двумя широкими лучами освещало по одну сторону зала гладко причесанную бронзовую голову прокурора и десять разнообразных профилей присяжных, — десятый обладал такой большой головой и пышной прической, что головы двух его товарищей не были видны. По другую сторону — подсудимые в арестантских халатах; бородатые, они были похожи друг на друга, как братья, и все смотрели на судей одинаково обиженно. Перед ними подскакивал и качался на тонких ножках защитник, небольшой человек с выпученным животом и седым коком на лысоватой голове; он был похож на

петуха и обладал раздражающе звонким голосом. Председательствовал бритый, удушенный золотым воротником до того, что оттопырились и посинели уши, а толстое лицо побавровело и туго надулось. Но говорил он мягким голосом женщины и даже нежно.

— Итак, вы сознаетесь, что первый признали убитую ведьмой?

Один из подсудимых, стоя, сложив руки на животе, оскорбленно ответил:

— Зачем — первый? Вся деревня знала. Мне только ветер помог хвост увидеть. Она бельишко полоскала в речке, а я лодку конопатил и было ветрено, ветер заголил ее со спины, я вижу — хвост!..

— Подождите! Вы знаете, что в промежности растут волосы?

— Чего это? — недоверчиво спросил подсудимый.

Председатель стал объяснять, люди, сидевшие на скамье по бокам Самгина подались вперед, как бы ожидая услышать нечто удивительное. Подсудимый, угрюмо выслушав объяснение, приподнял плечи и сказал ворчливо:

— Это мы знаем. У нее — не волосья, а хвост метелкой, как у коровы али у зайца, пучком, значит, вот что!

Присяжные ухмылялись, публика захихикала.

— Тише! Прикажу очистить зал, — погрозил председательствующий, расстегнул воротник мундира и, поставив мужику еще несколько уже менее рискованных вопросов, объявил перерыв.

Самгин ушел отупевшим, угнетенным, но через несколько дней, пересилив себя, снова сидел в зале суда. На это раз слушалось дело отцеубийцы — толстого, черноволосого парня; защищал его знаменитый адвокат, тоже толстый, обрюзгий. Говорил он гибким внушительным баском и было ясно, что он в совершенстве постиг секрет: сколько слов требует та или иная фраза для того, чтобы прозвучать уничтожающе в сторону обвинителя, человека с лицом блудного сына, только что прощенного отцом своим. В осанке, в жестах защитника было много актерского, но все-таки казалось, что он-то и есть главнейший судья. Публики было много, полон зал, и все смотрели только на адвоката, а подсудимый забыто сидел между двух деревянных солдат с обнаженными саблями в руках, сидел, зажав руки в коленях, и, косясь на публику глазами барана, мигал. Глаза его, в которых застыл тупой испуг, его низкий лоб, густые волосы, обмазавшие череп его, как смола, тяжелая челюсть, крепко сжатые губы, — все это крепко в'елось в память Самгина, и на следующих процессах он уже в каждом подсудимом замечал нечто сходное с отцеубийцей.

Очевидно, Ломброзо все-таки прав: преступный тип существует, а Дриль не хотел признать его из чувства человеколюбия, в криминальной области неуместного. Даже вредного.

Сделав этот вывод, Самгин вполне удовлетворился им, перестал ходить в суд и еще раз подумал, что ему следовало бы учиться в институте гражданских инженеров, как советовал Варавка.

Затем у него было еще одно очень неприятное впечатление. Поздно, лунной ночью возвращаясь от Варвары, он шел бульварами. За час перед этим землю обильно полил весенний дождь, теплый воздух был сыроват, но насыщен запахом свежей листвы, луна затейливо разрисовала землю тенями деревьев. Самгин был настроен благодушно и думал, что, пожалуй, ему следует переехать жить к Варваре: она очень хотела этого и это было бы удобно, — и она, и Анфимьевича так заботливо ухаживали за ним. В Варваре он открыл положительное качество: любовь к уюту, она неумоимо украшала свое гнездо. Самгин понимал: ждет хозяина.

— Это вы, Самгин? — окрикнул его человек, которого он только что обогнал. Его подхватил под руку Тагильский в сером пальто, в шляпе, сдвинутой на затылок, и нетрезвый; фарфоровое лицо его в красных пятнах, глаза широко открыты и смотрят напряженно, точно боясь мигнуть.

— За девочками охотитесь? Поздновато! И какие же тут девочки? — болтал он неприлично громко. — Ненавижу девочек, пользуюсь, но — ненавижу. И прямо говорю: ненавижу тебя за то, что принужден барахтаться с тобой. Смеется, идиотка. Все они — ровки.

Самгин вспомнил, что с месяц тому назад он читал в пошлом «Московском Листке» скандальную заметку о студенте с фамилией, скрытой под буквой Т. Студент обвинял горничную дома свиданий в краже у него денег, но свидетели обвиняемой показали, что она всю эту ночь до утра играла роль не горничной, а клиентки дома, была занята с другим гостем и потому истец ошибается, он даже не мог видеть ее. Заметка была озаглавлена: «Ошибка ученого».

— Кстати о девочках, — болтал Тагильский, сняв шляпу, обмахивая ею лицо свое. — На-днях я был в компании с товарищем прокурора — Кучиным, Кичиным? Помните керосиновый скандал с девицей Ветровой, — сожгла себя в тюрьме, — скандал, из которого пытались сделать историю? Этому Кичину приписывалось неосторожное обращение с Ветровой, но, кажется, это чепуха, он — не ветренник.

Тагильский засмеялся довольный своим каламбуром.

— Нет, он не Свидригайлов и, вообще, не свирепый человек, а — человек «с принципами» и, эдакий, знаете, прямых линий...

Он поскользнулся, Самгин поддержал его.

— Пойдите, — я забыл в ресторане интересную книгу и перчатки, — пробормотал Тагильский, щупая карманы и глядя на ноги, точно он перчатки носил на ногах. — Воротимтесь? — предложил он. — Это недалеко. Выпьем бутылку вина, побеседуем, а?

И, не ожидая согласия Клима, он повернул его вокруг себя с ловкостью и силой, неестественной в человеке полупьяном. Он очень интересовал Самгина своею позицией в кружке Прейса, позицией человека, который считает себя умнее всех и подает свои реплики, как богач милостыню. Интересовала набалованность его сдобного, кокет-

ливого тела, как бы нарочно созданного для изящных костюмов, удобных кресел.

— Давно не были у Прейса? — спросил Самгин.

— Я там немножко поссорился, чтоб рассеять скуку, — ответил Тагильский, небрежно толкнул ногою дверь ресторана и строго приказал лакею найти его перчатки, книгу. В ресторане он стал как-будто трезвее и за столиком, перед бутылкой удельного вина стал рассказывать вполголоса с явным удовольствием.

— Этот Кичин преинтересно рассуждал: хотя, говорит, марксизм — вероучение, солидно построенное, но для меня — неприемлемо, я — потомственный буржуа. Согласитесь, что надо иметь некоторое мужество, чтоб сказать так!

Его глаза с неподвижными зрачками взглянули в лицо Клима вызывающе, пухлые и яркие губы покривились задорной усмешкой, он облизал их языком, длинным и тонким, точно у собаки. Сидели они у двери в комнату, где гудела и барабанила музыкальная машина. Было очень шумно, дымно, недалеко, за столом возбужденный еврей с карикатурно преувеличенным носом непрерывно шевелил всеми десятью пальцами рук перед лицом бородатого русского, курившего сигару, еврей тихо, с ужасом на лице говорил что-то и качался на стуле, встряхивал кудрявой головою. За другим столом лениво кушала женщина с раскаленным лицом и зелеными камнями в ушах, против нее сидел человек, похожий на министра Витте и старательно расковыривал ножом череп поросенка. Тагильский, прихлебывая вино, рассказывал, очень понизив голос:

— Людей, говорит, моего класса, которые принимают эту философию истории, как истину обязательную и для них, я, говорит, считаю ду-ра-ка-ми, даже — предателями по неразумию их, потому что неоспоримый закон подлинной истории — эксплуатация сил природы и сил человека, и, чем беспощаднее насилие, тем выше культура. Каково, а? А там — закоренелые либералы были...

Машина замолчала, последние звуки труб прозвучали вразнобой и как сквозь вату, еврей не успел понизить голос, и по комнате раскатились отчаянные слова:

— Ну, кто же будет строить эту фабрику, где никого нет? Туда нужно ехать семь часов на паршивых лошадях!

Человек, похожий на Витте, разломил беленький смеющийся череп, показал половинку его даме и упрекающим голосом спросил лакея:

— Человек! Где же мозг, а? Что ж вы даете?

Еврей сконфуженно оглянулся и спрятал голову в плечи, заметив, что Тагильский смотрит на него с гримасой. Машина снова загудела, Тагильский хлебнул вина и наклонился через стол к Самгину:

— Нет, в самом деле, — храбрый малый, не правда ли? — спросил он.

— Может быть, обозлен, — заметил Клим.

— Может быть, но — все-таки! Между прочим, он сказал, что правительство, наверное, откажется от административных воздействий в пользу гласного суда над политическими. Тогда, говорит, оно получит возможность показать обществу, кто у нас играет роли мучеников за правду. А то, говорит, у нас слишком любят арестантов, униженных, оскорбленных и прочих, которые теперь обучаются, как надобно оскорбить и унижить культурный мир.

Подвинув Климу портсигар с тоненькими папиросками, он спросил:

— Вы замечаете, как марксизм обостряет отношения?

Самгин молча пожал плечами. Он, протирая очки, слушал очень внимательно и подозревал, что этот плотненький, уютный человек говорит не то, что слышал, а то, что он сам выдумал.

«Весьма похоже, что он хочет спровоцировать меня на откровенность», — соображал Клим.

Однако Тагильский как-будто стал трезвее, чем он был на улице, его кисленький голосок звучал твердо, слова соскакивали с длинного языка легко и ловко, а лицо сияло удовольствием.

— А ведь согласитесь, Самгин, что такие пр-ямолинейные люди, как наш общий знакомый Поярков, обучаются и обучают именно вражде к миру культурному, а? — спросил Тагильский, выливая в стакан Клима остатки вина и глядя в лицо его с улыбочкой вызывающей.

— Не знаю, чему и кого обучает Поярков, — очень сухо сказал Самгин, — но мне кажется, что в культурном мире слишком много... странных людей, существование которых свидетельствует, что мир этот, нездоров. — Говоря он думал: «Несомненно, провоцирует, скотина!»

И, чтобы перевести беседу на другие темы, спросил:

— У вас — государственные экзамены?

Тагильский утвердительно кивнул головой и зачем-то стукнул по столу розовым кулачком.

— Куда же вы затем?

— Удивитесь, если я в прокуратуру пойду? — спросил он, глядя в лицо Самгина и облизывая губы кончиком языка, глаза его неестественно ярко отражали свет лампы, а кончики закрученных усов приподнялись.

— Чему же удивляться? Я — адвокат, вы — прокурор...

— А представьте, что вы — обвиняемый в политическом процессе, а я — обвинитель?

— Не пощадите?

— Нет. Этот Кучин, Кичин — чорт! — говорит: чем умнее обвиняемый, тем более виноват, а вы — умный, искреннее слово! Это ясно хотя бы из того, как вы умело молчите.

Ресторан уже опустел. Лакеи смотрели на запоздавших гостей уныло и вопросительно, один из них красноречиво прятал зевки в салфетку, и казалось, что его тошнит.

— Пора уходить, — сказал Самгин.

На улице минуты две-три шли молча; Самгин ожидал еще какой-нибудь выходки Тагильского и не ошибся:

— «Россия нуждается в ассенизаторах», — не помните, кто это сказал? — спросил Тагильский. Клим ответил:

— Вы сказали.

— Нет, я — повторил. А сказал Леонтьев, помнится. Он или Катков.

— Не знаю.

Через несколько шагов Тагильский снова спросил:

— Не хотите ли посетить двух сестер, они во всякое время дня и ночи принимают любезных гостей? Это — очень близко.

Клим отказался. Тогда Тагильский, пожав его руку маленькой, но крепкой рукой, поднял воротник пальто, надвинул шляпу на глаза и свернул за угол, шагая так твердо, как это делает человек, сознающий, что он выпил лишнее.

«Ассенизатор,—подумал Самгин, взглянув вслед ему.—Воображает себя умником. Похож на альфонса,—утешителя богатых старух».

Ругаясь, он подумал о том, как цинично могут быть выражены мысли, и еще раз пожалел, что избрал юридический факультет. Вспомнил о статистике Смолине, который оскорбил товарища прокурора, потом о длинном языке Тагильского.

«Врет он, не пойдет в прокуратуру, храбрости нехватит...»

Кончив экзамены, Самгин решил съездить дня на три домой, а затем по Волге на Кавказ. Домой ехать очень не хотелось; там Лидия, мать, Варавка, Спивак, — люди почти в равной степени тяжелые, ненужные ему. Там «Наш Край», Дронов, Иноков, — это тоже мало приятно. Случай указал ему другой путь; он уже укладывал вещи, когда подали телеграмму от матери.

«Отец опасно болен, советую съездить Выборг».

Отец — человек, хорошо забытый, болезнь его не встревожила Самгина, а возможность отложить визит домой весьма обрадовала; он отвез лишние вещи Варваре и поехал в Финляндию.

В чистеньком городке, на тихой, широкой улице с красивым бульваром посредине, против ресторана, на веранде которого, среди цветов, играл струнный оркестр, дверь солидного, но небольшого дома, сложенного из гранита, открыла Самгину плоскогрудая, коренастая женщина в сером платье и, молча выслушав его объяснения, провела в полутемную комнату, где на широком диване у открытого, но заставленного окна, полулежал Иван Акимович Самгин. Лицо его перекопилось, правая половина опухла и опала, язык вывалился из покрывшегося рта, нижняя губа отвисла, показывая зубы, обильно украшенные золотом. Правый глаз отца, неподвижно застывший, смотрел вверх в угол на бронзовую статуэтку Меркурия, стоявшего на одной ноге, левый улыбался, дрожало веко, смахивая слезы на мокрую, давно небритую щеку; Самгин-отец говорил горлом:

— Км... Дм...

Самгин-сын посмотрел на это несколько секунд и, опустив голову, прикрыл глаза, чтоб не видеть. В изголовье дивана стояла, точно вырезанная из гранита, серая женщина и ворчливым голосом, удваивая гласные, искажая слова, говорила:

— Это вваа ударр. Одна-а — маленьки, ништево-о!

Лицо у нее широкое, с большим ртом без губ, нос приплюснутый, на скуле под левым глазом бархатное родимое пятно.

— Вваа рребенки, — говорила она, показывая Климу два пальца, как детям показывают рога.

«Что же я тут буду делать с этой?» — спрашивал он себя и, чтоб не слышать отца, вслушивался в шум ресторана за окном. Оркестр перестал играть и начал снова как раз в ту минуту, когда в комнате явилась еще такая же серая женщина, но моложе, очень стройная, с четкими формами, в пенснэ на вздернутом носу. Удивленно посмотрев на Клима, она спросила, тихонько и мягко произнося слова:

— Вы — не Димитри, вы — Килим? О, понимаю!

Рядом с каменным лицом первой ее лицо показалось Климу приятным. Она пригладила ладонью вставшие дыбом волосы на голове больного, отерла платком слезоточивый глаз, мокрую щеку в белой щетине, и после этого все пошло очень хорошо и просто. Прежде всего хорошо было, что она тотчас же увела Клима из комнаты отца; глядя на его полумертвое лицо, Клим чувствовал себя угнетенно, и жутко было слышать, что скрипки и кларнеты, распевая за окном медленный, чувствительный вальс, не могут заглушить храп и мычание умирающего.

В столовой, стены которой были обшиты светлым деревом, а на столе кипел никелированный самовар, женщина сказала:

— Мое имя — Айно, можно говорить Анна Алексеевна. Та, — она указала на дверь в комнату отца, — сестра Христина.

Закурив папиросу, она долго махала перед лицом своим спичкой, не желавшей угаснуть; отблески огонька блестели на стеклах ее пенснэ. А когда спичка нагрела ей пальцы, женщина, бросив ее в пепельницу, приложила палец к губам, как бы целуя его.

— Как вы узнали? — спросила она. — Я послала телеграмму Димитри.

Клим солидно объяснил ей, что, живя под надзором полиции, брат не может приехать и переслал телеграмму матери.

— Так, — сказала она, наливая чай. — Да, он не получил телеграмму, он кончил срок больше месяца назад и он немного пошел пешком с одними этнографы. Есть его письмо, он будет сюда на эти дни.

Голос у нее был сильный, но небогатый оттенками, и хотя она говорила неправильно, но не затруднялась в поисках слов.

— Вы хотите дождать его говорить об имущество или не хотите? — спросила она, подвигая Климу стакан.

Несколько сконфуженный ее осведомленностью о Дмитрие, Самгин вежливо, но решительно заявил, что не имеет никаких притязаний к наследству, она взглянула на него с улыбкой, от которой углы рта ее приподнялись и лицо стало короче.

— Нет, — сказала она. — Это — неприятно и нужно кончить сразу, чтоб не мешало. Я скажу коротко: есть духовно завещание — так? Вы можете читать его и увидеть: дом и все это, — она широко развела руками, — и еще много, это — мне, потому что есть дети, две мальчики. Немного Димитри и вам ничего нет. Это — несправедливо, так я думаю. Нужно сделать справедливо, когда придет брат.

Клим еще раз повторил, что ему ничего не нужно, но она усмехнулась:

— Это потому, что вы еще молодой и не знаете, сколько нужно деньги.

На минуту лицо ее стало еще более мягким, приятным, а затем губы сомкнулись в одну прямую черту, тонкие и негустые брови сдвинулись, лицо приняло выражение протестующее.

— Ваш отец был настоящий русский, как дитя, — сказала она, и глаза ее немножко покраснели. Она отвернулась, прислушиваясь. Оркестр играл что-то бравурное, но музыка доходила смягченно, и, кроме нее, извне ничего не было слышно. В доме тоже было тихо, как будто, он стоял далеко за городом.

«Об отце она говорит, как-будто его уже нет», — отметил Клим, а она, оспаривая кого-то, настойчиво продолжала, пристукивая ногою, Клим слышал, что стучит она плюской, не поднимая пятку.

— Он был добрый. Знал — все, только не умеет знать себя. Он сидел здесь и там, — женщина указала рукою в углы комнаты, — но его никогда не было дома. Это есть такие люди, они никогда не умеют быть дома, это есть русские, так я думаю. Вы понимаете?

Клим согласно наклонил голову.

Уже совсем тихо она сказала:

— Он играл в преферанс, а думал о том, что английский народ глупеет от спорта; это волновало его и он всегда проигрывал. Но ему любили за то, что проигрывал, и—не в карты—он выигрывал. Такой он был... смешной, смешной!

Ее серые глаза снова и уже сильнее покраснели, но она улыбалась, обнажив очень плотно составленные мелкие и белые зубы.

Самгин нашел, что и лицом, и фигурой она напоминает мать, когда той было лет тридцать.

«Может быть, отец потому и влюбился в нее».

Но не это сходство было приятно в подруге отца, а сдержанность ее чувства, необыкновенность речи, необычность всего, что окружало ее и, несомненно, было ее делом,—эта чистота, уют, простая, но красивая, легкая и крепкая мебель и ярко написанные этюды маслом на стенах. Нравилось, что она так хорошо и, пожалуй, метко

говорит некролог отца. Даже не показалось лишним, когда она, подумав, покачав головою, проговорила тихо и печально:

— Он имел очень хороший организм, но немножко усердный пил красное вино и ел жирно. Он не хотел хорошо править собой, как крестьянин, который едет на чужой коне.

Пришла ее каменная сестра; садясь на стул, она точно переломилась в бедрах и коленях; хотя она была довольно полная, все ее движения казались карикатурно угловатыми. Айно спросила Клима: где он остановился?

— Я посылаю за ваши вещи, — а когда Клим стал отказываться от переезда в ее дом, она сказала просто, но твердо:

— Мне будет стыдно, когда сын живет не там, где умирает отец.

Вообще все шло необычно просто и легко, и почти не чувствовалось, забывалось как-то, что отец умирает. Умер Иван Самгин через день, около шести часов утра, когда все в доме спали, не спала, должно быть, только Айно; это она, постучав в дверь комнаты Клима, сказала очень громко и странно низким голосом:

— Иван помер.

Два дня прошли в хлопотах, лишенных той растерянности и бестолковой суеты, которые Клим наблюдал при похоронах в России. Ему было несколько неловко принимать выражения соболезнования русских знакомых отца и особенно надоедал молодой священник, говоривший об умершем таинственно, вполголоса и с восторгом, как будто о человеке, который неожиданно совершил поступок похвальный. Но и священник, лицом похожий на Тагильского, был приятный и, видимо, очень счастливый человек, он сиял ласковыми улыбками, пел высочайшим тенором, произнося слова песнопений округло, четко; он, должно быть, не часто хоронил людей и был очень доволен возможностью показать свое мастерство.

Айно шла за гробом одетая в черное, прямая, высоко подняв голову, лицо у нее было неподвижное, протестующее, но она не заплакала даже и тогда, когда гроб опустили в яму, она только приподняла плечи и согнулась немного. Клим почувствовал желание нравиться ей и даже спросил ее по дороге к дому: где же дети?

— О! Их нет, конечно. Детям не нужно видеть больного и мертвого отца, и никого мертвого, когда они маленькие. Я давно увезла их к моей матери и брату. Он — агроном, и у него — жена, а дети — нет, и она любит мои до смешной зависти.

Через день Клим хотел уехать, но она очень удивилась и не пустила его.

— Как это? Вы не видели брата столько годы и не хотите торопиться видеть его? Это плохо. И нам нужно говорить о духовной завещании.

Самгин устыдился, но сказал, что до приезда брата он хотел бы посмотреть Финляндию.

— Так. Посмотреть Суоми — можно! — разрешила она. — Я дам адреса мои друзья, вы поедете туда-сюда, и вам покажут страну.

Он поехал по Саймскому каналу, побывал в Котке, Гельсингфорсе, Або и почти месяц приятно плутал «туда-сюда» по удивительной стране, до этого знакомой ему лишь из гимназического учебника географии, да по какой-то книжке, из которой в памяти уцелела фраза:

«Вот я в самом сердце безрадостной страны болот, озер, бедных лесов, гранита и песка, в стране угрюмых пасынков суровой природы».

Была в этой фразе какая-то внешняя правда, одна из тех правд, которые он легко принимал, если находил их приятными или полезными. Но здесь, среди болот, лесов и гранита, он видел чистенькие города и хорошие дороги, каких не было в России, видел прекрасные здания школ, сытый скот на опушках лесов; видел, что каждый кусок земли заботливо обработан, огорожен, и всюду упрямо трудятся, побеждая камень и болото, медлительные финны.

— Хюва пейва, — говорили они ему сквозь зубы и с чувством собственного достоинства.

Ему нравилось, что эти люди построили жилища свои кто где мог или хотел, и поэтому каждая усадьба как-будто монумент, возведенный ее хозяином самому себе. Царила в стране Юмала и Укко серьезная тишина, — ее особенно утверждало меланхолическое позвякивание бубенчиков на шеях коров; но это не была тишина пустоты и усталости русских полей, она казалась тишиной спокойной уверенности коренастого, молчаливого народа в своем праве жить так, как он живет.

Самгин вспомнил, что в детстве он читал «Калевалу», подарок матери; книга эта, написанная стихами, которые прыгали мимо памяти, показалась ему скучной, но мать все-таки заставила прочитать ее до конца. И теперь, сквозь хаос всего, что он пережил, возникали эпические фигуры героев Суоми, борцов против Хииси и Луохи — стихийных сил суровой природы, ее Орфея Вейнемейнена, сына Ильматар, которая тридцать лет носила его во чреве своем, веселого Лемникейнена—Бальдура финнов, Ильмаринена, сковавшего Сампо, сокровище страны.

«Вот этот народ заслужил право на свободу», — размышлял Самгин, и с негодованием вспоминал, как о неудавшейся попытке обмануть его, о славословиях русскому крестьянину, который не умеет прилично жить на земле, несравнимо более щедрой и ласковой, чем эта хаотическая бесплодная земля.

— Да, здесь умеют жить, — заключил он, побывав в двух-трех своеобразно благоустроенных домах друзей Айно, гостеприимных и прямодушных людей, которые хорошо были знакомы с русской жизнью, русским искусством, но не обнаружили русского пристрастия к спорам о наилучшем устройении мира, а страну свою знали, точно книгу стихов любимого поэта.

Удивительна была каменная тишина теплых лунных ночей странно густы и мягки тени, необычны запахи, Клим находил, что все они сливаются в один — запах здоровой потной женщины. В общем он настроился лирически, жил в непривычном ему приятном бездумьи, мысли являлись нечасто и почти не волную, исчезали легко.

Но в Выборг он вернулся несколько утомленный обилием новых впечатлений и настроений, как чиновник, которому необходимо снова отдать себя службе, надоевшей ему. Встреча с братом, не возбуждая интереса, угрожала длиннейшей беседой о политике, жалобными рассказами о жизни ссыльных, воспоминаниями об отце, а о нем Дмитрий, конечно, ничего не скажет лучше, чем сказала Айно.

Дмитрий встретил его с тихой, осторожной, но все-таки с тяжелой и неуклюжей радостью, до боли крепко схватил его за плечи жесткими пальцами, мигая, улыбаясь, испытующе заглянул в глаза и сочным голосом одобрительно проговорил:

— Ка-акой ты стал! Ну, поцелуемся?

В пестрой ситцевой рубаше, в измятом, выцветшем пиджаке, в ботинках, очень похожих на башмаки деревенской бабы, он имел вид небогатого лавочника. Волосы подстрижены в скобку, по-мужички; широкое, обветренное лицо с облупившимся носом густо заросло темной бородою, в глазах светилось нечто хмельное и как бы даже виноватое.

— А я тут шестой день, — говорил он негромко, как бы подчиняясь тишине дома.—Замечательно интересно прогулялся по милости начальства, больше пятисот верст прошел. Песен наслушался удивительнейших! А отец-то в это время—да-а...—Он почесал за ухом, взглянув на Айно. — Рано он все-таки...

С Айно у него уже, видимо, установились дружеские отношения: Климу казалось, что она посматривает на Дмитрия сквозь дым папиросы с тем платоническим удовольствием, с каким женщины иногда смотрят на интересных подростков. Она уже успела сказать Климу:

— Он больше похожий на отца, как вы, я думаю.

Она сказала это, когда Дмитрий на минуту вышел из комнаты. Вернулся он с серебряной табакеркой в руке.

— Вот тебе подарок. Это при Елизавете Петровне сделано, в Устюге. Не плохо? Я там собрал кое-какой материал для статьи об этом искусстве. Айно — ковш целовальничий подарил Алексея Михайловича...

Клим, любуясь ковшом, спросил:

— Не скучно было жить?

— Ну, что ты! Это, брат, интереснейший край.

Было ясно, что Дмитрий не только не утратил своего простодушия, а как-будто расширил его. Мужиковатость его казалась естественной и говорила Климу о мягкости характера брата, о его подчинении среде.

«Таким легко жить», — подумал он, слушая рассказ Дмитрия о помо-
рах, о рыбном промысле. Рассказывая, Дмитрий с удовольствием извоз-
чика пил чай, улыбался и не скупясь употреблял превосходную степень:

— Несокрушимейший народ. Удивительнейшая штука.

— Ты что ж, — домой? спросил Клим.

— Домой, это..? Нет, — решительно ответил Дмитрий, опустив
глаза и вытирая ладонью мокрые усы, — усы у него загибались в рот,
и это очень усиливало добродушное выражение его лица. — Я, знаешь,
не долюбливаю Варавку. Тут еще этот его «Наш край», — пресквер-
ная газетка! И — чорт его знает! — он как-то садится на все: на
дома, леса, на людей...

«Нелепо говорить так при чужой женщине», — подумал Клим,
а брат говорил:

— Я во Пскове буду жить. Столицы, университетские города,
конечно, запрещены мне. Поживу во Пскове до осени, — в Полтаву
буду проситься. Сюда меня на две недели пустили, обязан ежедневно
являться в полицию. Ну, а ты как живешь? Помнится, тебя марксизм
не удовлетворял?

Клим, усмехнувшись подумал:

«Начинается».

И, вспомнив Томилина, сказал докторально:

— Для того, чтоб хорошо понять, не следует торопиться верить;
сила познания — в сомнении.

— И я так думаю, — сказала Айно, кивнув головою.

Дмитрий посмотрел на нее, на брата, и должно быть сжал зубы,
лицо его смешно расширилось, волосы бороды на скулах встали ды-
бом, он махнул рукою за плечо свое и, шумно вздохнув, заговорил,
поглаживая щеки.

— Там, знаешь, очень думается обо всем. Людей — мало, при-
роды — много; грозный край. Пустота, требующая наполнения,
знаешь. Когда меня переселили в Мезень...

— За что? — осведомился Клим.

— Чорт их знает! Вообразили, что я хотел бежать из Устюга. Ну,
через тринадцать месяцев снова перегнали в Устюг. Я не жалуясь, —
интереснейшие места видел!

Он усмехнулся, провел ладонью по лицу, пригладил бороду.

— Так, вот, знаешь, — Мезень. Так себе — небольшое село, ты-
сячи две людей. Море — Змей Мидгард, зажавший землю в кольце
своем. Что оно Белое — это плохо придумано, оно, знаешь, эдакое оло-
вянное и скверного характера: воеет, рычит, особенно по ночам, а
ночи — без конца! И разные шалости, например, — северное сияние.
Когда я впервые увидел этот мятеж огня, безумнейшее, безгласней-
шее волшебство миллионов радуг, — не стыжусь сознаться, — струсил
я! Некоторое время жил без ума, чувствуя себя пустым, как мыль-
ный пузырь, отражающий эту игру холодного пламени. Миры сгорают,
а я — пустой зритель катастрофы.

Дмитрий ослепленно мигнул и стер ладонью морщины с широкого лба, но тотчас же, наклонясь к брату, спросил:

— А может быть, следует, чтоб идеология стесняла? А?

— Зачем? — осведомился Клим.

— Есть в человеке тенденция расплываться, стихийничать.

— Мысль церковная.

— Н-да, похоже, — согласился Дмитрий, но, подумав несколько секунд, заметил:

— В государственном праве тоже эта мысль.

Попросил Айно налить ему чаю и оживленно начала рассказывать:

— Домохозяин мой, рыбак, помор, как-то сказал мне: «Вот, Иваныч, внушаешь ты, что людям надо жить получше, полегче, а ведь земля против этого! И я тоже против; потому что вижу: те люди, которые и лучше живут — хуже тех, которые живут плохо. Я тебе, Иваныч, прямо скажу: работники мои — лучше меня, однако ж я им снасть и шняку не отдам, в работники не пойду, коли бог помилует. А по совести говорю, знаю я, что работники лучше меня и что нечестно я с ними живу, как все хозяева. Ну, а сделай ты их хозяевами, они тоже моим законом будут жить. Вот какой тут узелок завязан».

Дмитрий начал рассказывать нехотя, тяжело, но скоро оживился, заговорил торопливо, растягивая и подчеркивая отдельные слова, разрубая воздух ребром ладони. Клим догадался, что брат пытается воспроизвести характер чужой речи и нашел, что это не удается ему.

«Бездарен он».

Дмитрий замолчал, и ожидающий, вопросительный взгляд его принудил Клима сказать:

— Выходит так, что как-будто идеология не стесняла этого человека.

— Это плохой человек, — решительно заметила Айно.

— Плохой, думаете? — спросил Дмитрий, рассматривая ее.

— О, да, я так думаю. Я не знаю, как сказать, но — очень плохой! Дмитрий, поморщив лоб, вздохнул и пробормотал:

— Ну, тут надобно знать что-то, чего я не знаю.

И продолжал, обращаясь к брату.

— Пробовал я там говорить с людьми—не понимают. То-есть— понимают, но—не принимают. Пропагандист я—неумелый, не убедителен. Там все индивидуалисты... не пошатнешь! Один сказал: что ж мне о людях заботиться, ежели они обо мне и не думают? А другой говорит: может, завтра море смерти моей потребует, а ты мне внушаешь, чтоб я на десять лет вперед жизнь мою рассчитывал. И все в этом духе...

Он вызывал у Клима впечатление человека смущенного, и Климу приятно было чувствовать это, приятно убедиться еще раз, что простая жизнь оказался сильнее мудрых книг, поглощенных братом.

Снова заговорила Айно, покуривая папиросу, сидя в свободной позе.

— Это — очень сытые мысли, мысли сильных людей. Я люблю сильные люди, да! Которые не могут жить сами собой, те умирают, как лишний сучок на дереве, которые умеют питаться солнцем — живут и делают всегда хорошо, как надобно делать все. Надобно очень много работать и накоплять, чтобы у всех было все. Мы живем как экспедиция в незнакомый край, где никто не был. Слабые люди очень дорого стоят и мешают. Когда у вас две мысли, — одна лишняя и вредная. У русских — десять мысли и все — некрепки. Птичий двор в головах, — так я думаю.

Она тихонько засмеялась. А потом, не сумев скрыть зевок, сказала:

— Мне спать.

— Клим тоже ушел, сославшись на усталость и желая наедине обдумать брата. Но, придя в свою комнату, он быстро разделся, лег и тотчас уснул.

Утром, за кофе, он спросил брата:

— Ты знаешь, что Кутузов арестован?

— Опять? Когда? — очень тревожно воскликнул Дмитрий, но, выслушав объяснение Клима, широко улыбнулся:

— Он — в Нижнем, под надзором. Я же с ним все время переписывался. Замечательный человек, Степан, — вдумчиво сказал он, намазывая хлеб маслом. И, помолчав, добавил:

— Айно вчера неплохо говорила о сильных,

— В духе страны, — авторитетно заметил Клим.

— Хорошая баба.

— А что ты знаешь о Марине?

— Ничего не знаю, — очень равнодушно откликнулся Дмитрий. — Сначала переписывался с нею, потом оборвалось. Она что-то о боге задумалась одно время, да, знаешь, книжно как-то. Там поморы о боге рассуждают — слушаешься.

Он усмехнулся, стряхнул пальцами крошки хлеба с бороды.

— Я, брат, едва не женился там на одной.

— Ссылная?

— Поморка, дочь рыбака. Вчера я об ее отце рассказывал. Крепкая такая семья. Три брата, две сестры.

Неласково дергая бороду, он вздохнул:

— Там, знаешь, одолевает желание посостязаться с морем, с тундрой. Укрепиться. И к женщине тянет весьма сильно. Женщины там чудовищные. . .

Вошла Айно и, улыбаясь, указывая пальцем на Клима, сказала:

— Вас хочет один человек, его — сюда?

— Меня? — удивился Клим, вставая.

— Вас, вас, — дважды кивнула она головою, исчезла, и через минуту в столовую вошел незнакомый, очень высокий, длинноволосый человек.

— Вы — Клим Самгин? — спросил он тоном полицейского, неодобрительно осматривая комнату, Самгина; осмотрел и, указав пальцем на Дмитрия, спросил:

— А это кто?

— Дмитрий Самгин, брат мой.

— Ага-а! — удовлетворенно произнес гость и протянул Климу сжатый в пальцах бумажный шарик. — Это от Сомовой. Осторожно разворачивайте, бумага тонкая.

Он бесцеремонно прошел к столу, сел, и Клим, разворачивая бумажку, услышал тихий его вопрос:

— Давно из ссылки?

Клим прочитал: «Это наш земляк, Платон Долганов, он даст тебе кое-что, привези. Л.».

Клим Самгин смял бумажку, чувствуя желание обругать Любашу очень крепкими словами. Поразительно настойчива эта развязная девица в своем стремлении запутать его в ее петли, затянуть в «деятельность». Он стоял у двери, искоса разглядывая бесцеремонного гостя. Человек этот напомнил ему одного из посетителей литератора Катина, да и вообще Долганов имел вид существа, явившегося откуда-то «из мрака забвения».

На хозяйку Клим не смотрел, боясь увидеть в светлых глазах ее выражение неудовольствия; она стояла у буфета, третий раз приготавливая кофе, усердно поглощаемый Дмитрием.

— Вы пьете кофе? — ласково спросила она Долганова.

— Обязательно! — сказал он и, плотно сложив длинные ноги свои, вытянув их, переградил, как шлагбаумом, дорогу Айно к столу. Самгин даже вздрогнул: ему показалось, что Долганов сделал это из озорства, но когда Айно, — это уж явно нарочно! — подобрала юбку, перешагнула через ноги ниже колен, Долганов одобрительно сказал:

— Ловко! Вы извините, так устал, что хоть под стол лечь.

— Не надо под стол, — посоветовала Айно тем тоном, каким она, вероятно, говорила с детьми.

— Финка? — спросил Долганов, измеряя ее глазами; она ответила ласковым кивком головы, тогда гость, тоже кивнув, сказал:

— Это — видно.

Клим Самгин прервал диалог; подойдя к Долганову вплоть, он сердито осведомился:

— Вам известно содержание записки?

— Ну, конечно. Только скажите ей, что я опоздал, впрочем, она, наверное, уже знает это.

Обжигаясь, оглядываясь, Долганов выпил стакан кофе, молча подвинул его хозяйке, встал и принял сходство с карликом на ходулях. Клим подумал, что он хочет проститься и уйти, но Долганов подошел к стене, постучал пальцами по деревянной обшивке и — одобрил:

— Практично. Это какое дерево?

— Клен, — торопливо ответил Дмитрий.

— Нет, — сказала хозяйка.

— Ну, все равно, — махнул рукою Долганов и, распахнув полы сюртука, снова сел, поглаживая ноги, а женщина, высоко вскинув голову, захохотала, вскрикивая сквозь смех:

— Зачем же... ах, если все равно, — зачем спрашивать?

Долганов удивленно взглянул на нее, улыбнулся и вдруг тоже взорвался смехом, подпрыгивая на стуле, качаясь, а отсмеявшись, сказал Дмитрию:

— Смешная!

И, подсунув ладони под ляжки к себе, обратился к Айно:

— Конечно, глупо! Да ведь мало ли глупостей говоришь. И вы тоже ведь говорите.

Это еще более рассмешило женщину, но Долганов, уже не обращая на нее внимания, смотрел на Дмитрия, как на старого друга, встреча с которым тихо радует его, смотрел и рассказывал:

— У меня — ревматизм, адаво ноют ноги. Сидел совершенно зря одиннадцать месяцев в тюрьме. Сыро там, надоедо!

Смешная сцена не убавила опасений Клина, что этот человек скажет или сделает какую-нибудь глупость, уже не смешную. Долганов не понравился ему сразу, как только вошел, а особенно с той минуты, когда он подсунул под себя руки, это уж было сделано не с намерением насмешить. Самгин достаточно насмотрелся на чудаковатых людей и был уверен, что чужачество — ставка на внимание, нехитрая игра в оригинальность. Одет был Долганов нелепо, его узкие плечи облекал старенький, измятый сюртук, под сюртуком — синяя рубаха-косоворотка, на длинных ногах — серые новенькие брюки из какой-то жесткой материи. Лицо тоже измятое, серое с негустой порослью волос лубочного цвета, на подбородке волосы обещали вырасти острой бородою; по углам очень красивого рта свешивались — и портили рот — длинные, жидкие усы. Но старообразное и очень подвижное лицо это освещали приятные глаза, живые, усмешливые золотистого цвета.

«Девичьи, глупые глаза, — определил Самгин, слушая гибкий басок Долганова:

— Развлекался только ссорами с начальником, лентяйшко такой, пьяница, изображает чудовище, шляется по камерам, «иский, кого поглотити», скандалит, как в трактире. Я его дразню: перестаньте бурбошку играть, это у вас от скуки, а в сущности, вы не плохой парень, хотя — пехота. А он сапером был и страшно сердился, что я его пехотой зову. Кричит: я вам не парень, я втрое старше вас! Долго мы состязались, потом он говорит: вы, Долганов, престиж мой подрываете, какого чорта! Ну, посмеялись мы; конечно, тихонько смеемся, чтобы престиж не пострадал. Уговорил я его переплетную мастерскую наладить...

Айно, облокотясь на стол, слушала приоткрыв рот, с явным недоумением на лице. Она была в черном платье, с большими, точно

туковки, пуговицами на груди, подпоясана светло-зеленым кушаком, — концы его лежали на полу.

«Она не верит ни одному его слову», — решил Клим, а Долганов неожиданно спросил Дмитрия:

— Народник?

— Марксист, — ответил Самгин старший, улыбаясь.

— Да ну-у? — удивился Долганов и вздохнул. — Не похоже. Такое русское лицо и — вообще... Марксист, — он чистенький, лощеный и на все смотрит с немецкой философской колокольни, от Гегеля, который говорил: «Люди и русские», от Момзена, возглашавшего: «Колотите славян по башкам».

Говоря, Долганов смотрел на Клима так, что Самгин понял: этот чудак настраивается к бою; он уже обеими руками забросил волосы на затылок и они вздыбились там некрасивой кучей. Вообще волосы его лежали на голове неравно, как-будто череп Долганова имел форму шляпки кованого гвоздя. Постепенно впадая в тон проповедника, он обругал Трейчке, Бисмарка, еще каких-то уже незнакомых Климу немцев, чувствовалось, что он привык и умеет ораторствовать.

— Весьма сожалею, что Николай Михайловский и вообще наши «страха ради иудейска» стесняются признать духовную связь народничества со славянофильством. Ничего не значит, что славянофилы — баре; Радищев, Герцен, Бакунин, — да мало ли? — тоже баре. А ведь именно славянофилы осветили подлинное своеобразие русского народа. Народ чувствуете и понимаете не сквозь цифры земско-статистических сборников, а сквозь фольклор.—Киреевский, Афанасьев, Сахаров, Снегирев,— вот кто учит слышать душу народа!

Лицо Долганова морщилось, хотело быть сердитым, но глаза мешали этому, сияя все вдохновенней и ласковее. И чем более сердитые слова выговаривал он своим гибким баском, тем яснее видел Самгин, что человек этот сердиться не способен. В словах он не стеснялся, марксизм назвал «еврейско-немецким учением о барышах». Дмитрий слушал его, нахмурясь, вопросительно посматривая на брата, как бы ожидая его возражений и не решаясь возражать сам. Айно блаженно улыбалась, было ясно, что она тоже нетерпеливо ждет чего-то, и это вынудило Клима сказать небрежным тоном:

— Старо все это, и, знаете, несколько газетно.

Долганов оскалил крупные, желтые зубы, хотел сказать, видимо, что-то резкое, но дернул себя за усы, и так закрыл рот. Но тотчас же заговорил снова, раскачиваясь на стуле, потирая колени ладонями:

— Мысль, что «сознание определяется бытием», — вреднейшая мысль, она ставит человека в позицию механического приемника впечатлений бытия и не может объяснить, какой же силой покорный раб действительности преобразует ее? А ведь действительность никогда не была — и не будет! — лучше человека, он же всегда был и будет неудовлетворен ею.

— Вы — семинарист? — спросил Клим неожиданно для себя и чтоб сдержать злость; злило его то, что человек этот говорит и,

очевидно, может сказать еще много родственного тайным симпатиям его, Клим Самгина.

— Да, семинарист! Ну, и что же? — воскликнул Долганов, и, взмахнув руками, подскочил на стуле, как-будто взбросил себя на воздух взмахом рук.

«Какая-то схема человека или детский рисунок, — отметил Самгин. — Странно, что Дмитрий не возражает ему».

— Семинарист, — повторил Долганов, снова закидывая волосы на затылок так; что обнажились раковины ушей, совершенно схожих с вопросительными знаками. — Затем я — человек убежденный, что мир осваивается воображением, а не размышлением. Человек прежде всего — художник. Размышление только вводит порядок в его опыт, да!

— Это — идеализм, — неохотно сказал Дмитрий.

— Ну, да! А что же? А чем иным, как не идеализмом очеловечите вы зоологические инстинкты? Вот вы углубляетесь в экономику, отвергаете необходимость политической борьбы, и народ не пойдет за вами, за вульгарным вашим материализмом, потому что он чувствует ценность политической свободы и потому, что он хочет иметь своих вождей, родных ему и по плоти, и по духу, а вы — чужие!

Он встал, наклонился, вытянул шею, волосы упали на лоб, на щеки его; спрятав руки за спину, он сказал, победоносно посмеиваясь:

— В сущности, вы, марксята, духовные дети нигилистов, но вам уже хочется верить, а дурная наследственность мешает этому. Вот вы, по немощи вашей, и выбрали из всех верований самое простенькое.

Дразнящий смешок его прозвучал мальчишески, совершенно не совпадая с длинной фигурой и старообразным лицом.

— Путанники, — вздохнул он, застегивая сюртук. — А все-таки в конце концов пойдете с нами. Аполитизм ваш не надолго.

Он протянул руку Айно.

— Куда вы идете? — спросила она.

— В Торнео. Ведь вы знаете, — усмехаясь ответил он.

Айно, покачивая головой, осмотрела его с головы до ног, он беззаботно махнул рукой.

— Ничего! Меня оденут, одригут...

Схватив обеими руками его руку, Айно встряхнула ее:

— Счастливую дорогу!

— Ну, прощайте, братья, — сказал Долганов.

Он вышел вместе с Айно. Самгины переглянулись, каждый ожидал, что скажет другой. Дмитрий подошел к стене, остановился перед картиной и сказал тихо:

— Значит, он — за границу.

— Странная фигура, — заметил Клим, протирая очки.

— Да, — отозвался брат, не глядя на него. — Но я подобных видел. У народников особый отбор. В Устюге был один студент, казанец. Замечательно слушали его, тогда как меня... не очень! Странное и стеснительное у меня чувство, — пробормотал он. — Как-будто я видел

этого парня в Устюге накануне моего отъезда. Туда трое присланы, и он между ними. Удивительно похож.

Круто повернувшись, Дмитрий тяжелыми шагами подошел вплоть к брату:

— Слушай, ужасно неудобно это... просто даже не хорошо, что отец ничего не оставил тебе...

— Чепуха! — сказал Клим. — Я не хочу говсрить об этом.

— Нет, подожди! — продолжал Дмитрий умоляющим голосом и нелепо разводя руками. — Там — четыре, т. е. пять тысяч. Возьми половину, а? Я должен бы отказаться от этих денег в пользу Айно... да, видишь ли, мне хочется за границу, надобно поучиться...

Клим строго остановил его:

— Айно получила, наверное, вполне достаточно, чтоб воспитать детей и хорошо жить, а мне ничего не нужно.

— Послушай...

— Больше я не стану говорить на эту тему, — сказал Клим, отходя к открытому во двор окну. — А тебе, разумеется, нужно ехать за границу и учиться...

Он говорил долго, солидно, и с удивлением чувствовал, что обижен завещанием отца. Он не почувствовал этого, когда Айно сказала, что отец ничего не оставил ему, а вот теперь обижен несправедливостью и, чем более говорит, тем более едкой становится обида.

«Фу, как глупо!» — мысленно упрекнул он себя, но это не помогло, и явилось желание сказать колкость брату или что-то колкое об отце. С этим желанием так трудно было справиться, что он уже начал:

— Законы — или беззакония — симпатий и антипатий...

Вошла Айно и тотчас же заговорила очень живо:

— Вот такой, этот — настоящий русский, больше, чем вы обе, — я так думаю. Вы помните «Золотое сердце» Златовратского? Вот! Он удивительно говорил о начальнике в тюрьме, да! О, этот может много делать! Ему будут слушать, верить, будут любить люди. Он может... как говорят? — может утешивать. Так? Он — хороший поп!

— Вот именно, — сказал Клим. — Утешитель.

— Да, да, я так думаю! Правда? — спросила она, пытливо глядя в лицо его, и вдруг, погрозив пальцем: — Вы — строгий! — И обратилась к нахмуренному Дмитрию: — Очень трудный язык, требует тонкий слух: тешу — чешу, потесать — потешать, утесать — утешать. Иван очень смеялся, когда я сказала: плотник утешает дерево топором. И — как это: плотник? Это значит — тельник, — ну, да! — Она снова пошла к младшему Самгину. — Отчего вы были с ним нелюбезны?

— Мне подумалось, — сказал Клим, — что вам этот визит...

— О, нет! — прервала она. — Я о нем знала. Иван очень помогал таким ехать, куда нужно. Ему всегда писали: придет человек, и человек приходил.

— Ну, я пойду в полицию — представляться, — сказал Дмитрий. Айно ушла с ним заказывать памятник на могилу.

Москва

СЕРГЕЙ АЛЫМОВ

Золотые дыни куполов...

Огненных крестов

несметных

стаи...

Забрала меня Москва в полон,

Забрала в полон

и — не пускает.

Не отнять очей от стен Кремля,

От его порозовевших башен.

Но и все ж, московская земля

Радует

не прошлым,

не вчерашним!

Хороши кремлевские орлы,

Машущие черными крылами...

Но и все ж

Москве

не с ними плыть,

Не с отяжелевшими орлами.

Красоте былой Москва не враг,

Но другое сердце

ей знакомо:

У Москвы

в груди

горящий флаг,

Плещущий огни

над Совнаркомом.

Прошное, сникни...

Сгинь!..

Дни-неженки,

с веком

куда вам!?

Не ношенных дней

сапоги

И жмут,

и мозолят,

и давят

У прошлого много причин,

Чтоб очи

туманом

застлало...

Но как не кричи,

Не рычи,

А время

в седле

зашаталось.

И если в каких-то домах

Еще не опали иконы —

До них не домчался размах,

Рожденного буйством закона.

Но время к иконам

домчит,

Сорвет зависевшихся

сплошь их!

Не милуют в сече мечи

Ни добрых,

ни нежных,

ни прошлых.

Грохают

автобусы

и танки,

Правит палкой

милиционер...

Говорят:

Москва — американка..

Но Москве

Нью-Йорки

не пример!

Пусть мальчишки

портят

подбородок

Обезьянней, глупой

бородой —

Не для моды
проходили
бродом
Через смерти
всадники
с звездой.

На Тверской левкой
травят
ядом.

Ну, и пусть — левкой
сеют грусть!
У живой Москвы — живая радость,
Это мертвым неживого хруст.
Новый город — громкоговоритель.
Новый город —
выстрела
прямей.

Много в нем
американской прыти,
Но Москве
Нью-Йорки
не пример.

Ты не Америка, Москва,
О, нет!

Америка
таких
не знает молний.

Тебе грозить,
разить,
и пламенеть,

Надеждою
и страхом
сердце полня.

Тебе скользить
отважным
кораблем,
Несущим свет
невиданных
рассветов.—

Тебе —
топить
дредноутом-Кремлем

Эскадры
растерявшегося
света.

Тебе —
на землю,
ждушую дождя,
Молящую
иссохшими

губами —
Пролить завет
великого
вождя,
Чей холм дощатый
над
царей гробами.

Веди!
Веди!
Наш день —
вперед.

Былое
на вынос.
Веди нас!
Веди нас!

По грозным
дорогам
Порядком
строгим.
По разным
долинам
Порывом
единым,

Разом,
как дождь,
Все,
как один.
Ленин,
наш
вождь,
Веди
нас!..
Веди!..

Стоит Москва,
от куполов
горбата.

Роняет клен
осенний,
красный
лист...

И, сдавленный
ущельями
Арбата,
Плетется вечер —
нежный нигилист.

На темном камне
оползает
Гоголь,
Согнувшийся,
как старая
тоска...

У п р а в д е л

Рассказ

БОР. ГУБЕР

I

Отпуск Ярцева истекал пятого мая. Пришелся он в самое неудобное время, ранней весной, когда и поехать-то некуда, и первая половина его незаметно раскрошилась: дни, как крошки, просыпались между пальцами. Ярцев недоумевал: куда же делись они? Но ничего не мог припомнить, кроме дня, проведенного в Петровско-Разумовском.

Этот же день запомнился крепко.

Был он тусклый, неровно-теплый. В бесцветном небе медленно двигались мелкие, почти сплошные тучки, темные только снизу, точно на дно их осел какой-то грязный осадок. На полях Бутырского хутора кое-где еще лежал снег, но озимь уже оживала. Трамваи мчались мимо ее буро-зеленых клиньев. Они ни на минуту не позволяли забыть о городе, о толкучке московских улиц, и рядом с ними озими становились чем-то в роде газонов в сквере. Что-то глубоко городское было также в большой, давно неремонтированной даче, сплошь занятой студентами, — даром что пряталась она среди елей, в глубине запущенного, заполненного жасмином, сада. Но зато, как ярки и молоды были острые иголочки травы на солнцепеке, как чудесно пахла влажная, парная земля под толстым слоем мертвой хвои и слежавшейся прошлогодней листвы! Как громко и картаво орали грачи, суетливо оправлявшие свои нескладные гнезда!.. Пуще же всего запомнились споры, не умолкавшие весь этот день ни в темноватых комнатах общежития, ни в саду. И, пожалуй, именно споры эти—о сегодняшней деревне, о расслоении ее, о деревенских людях—и были причиной того, что вторая половина отпуска прошла по-иному, и Ярцев попал к брату в глухой, далекий угол Тверской губернии.

Деревню Ярцев знал плохо.

Одно только лето довелось ему прожить вне города. С тех пор прошло шесть лет, и столица, лязг и грохот уличного движения, служба застили постепенным однообразием своим ту живую, подлинную

деревню, которую он видел когда-то. О ней остались лишь обрывочные, разрозненные воспоминания, сладостные и немного грустные, ибо, собственно, не о деревне даже были дни, а об юности и о той чудесной, краткой поре, что для всякой юности выпадает только однажды и что выпала ему шесть лет назад.

Воспоминания Ярцева были несерьезны, как у дачника, больше все о пустяках... Они плохо вязались с тем, что печаталось, например, в газетах. Но ведь именно из пустяков и складывалось тогдашнее счастье!.. Как же было ему не помнить о них? Как можно было забыть синие летние вечера над Волгой, когда внизу, отражаясь в блестящей, скользкой воде, мерцали бакенные огни, а широкое разлужие берега дымилось туманами, всё скрипело резкими криками дергачей? Разве можно было когда-нибудь забыть Феничку Багрову, ее тяжелые рыжие кудри над худеньким личиком, совсем детским, ее высокие ноги, открытые до колен, ее смех? А протяжные и певучие издали переливы гармошки, лихие кадрили на краю села, подле общественного гумазея, спектакли в ободранном барском доме и леденцовый запах гримировальных красок,—разве можно было забыть про них?.. Неповторимое очарование было во всем этом далеком, утерянном! И Ярцев, покорный очарованию былого своего счастья, с недоверием, почти враждебно относился к тому, что приходилось ему читать или слышать о деревне, и что непохоже было на его воспоминания.

Так продолжалось до сих пор... И вот сейчас это вдруг изменилось.

Споры, в которых неумело, наивно принимал участие и Ярцев, как бы открыли ему глаза на прошлое. Картины, уцелевшие в памяти, впервые показались какими-то ненастоящими, как зелень елки в весенний день... Почему?.. Ярцев не сумел бы ответить на такой вопрос. Но за горячностью возражений и доводов, за ворохами цифр, ссылок и цитат, там, в общезитии почувствовал он иную деревню—человеческую, сложную, жестокую в своем жадном желании жить по-новому, иначе, чем до сих пор. И он понял, что такой деревни не знает, не помнит, попросту, вот никогда не замечал...

Это было неожиданно и смутило, встревожило Ярцева. Чувство собственного незнания, сначала мимолетное, все разрасталось, заставляя его и на завтра и на послезавтра постоянно возвращаться к одному и тому же: как могло выйти, что он, бережно пронося сквозь московскую жизнь свои воспоминания о деревне, оказался таким смешным, наивным невеждой?

Думал он об этом и накануне своего отъезда, еще ничего не зная о нем.

Он возвращался домой после долгого бесцельного шатания по ночным московским улицам и, поднимаясь к себе на четвертый этаж, вяло перебирал разумовские споры, сравнивал их с газетами, с журнальными рассказами... Здесь многое тоже не вязалось между собою, и это доставляло Ярцеву слабое, неопределенное удовольствие. «Все

мы, видимо, ошибаемся, — устало думал он: — все мы ошибаемся, и чорт ее знает, какая она, правда, и где ее искать»... Он вошел в спящую уже квартиру, зажег электричество. Тусклая пыльная лампочка вспыхнула высоко, под самым потолком, противный, тлеющий свет наполнил давно осточертевшую прихожую, тесную от множества шуб и пальто на вешалках, да вдобавок еще заставленную какими-то сундуками, ломаными стульями... Воздух здесь, после уличной свежести, казался особенно затхлым, спертым. Точно так же душно в комнате Ярцева, — неприбранной, с грязной посудой на подоконнике...

— О, господи!.. — тоскливо вслух проговорил Ярцев, понимая, что никуда уже не уйти ему от сомнений своих, понимая, что даже в былое счастье свое, так непохожее на эти сундуки и калоши, он уже не верит... Он снял шляпу, чтобы кинуть ее на столик, в общую грудку других шляп и фуражек, — и вдруг увидел на краю стола, рядом с оранжевым женским беретом, конверт, размашисто исписанный рукою брата.

Невольно забывая про усталость свою, Ярцев быстрым, привычным движением вскрыл конверт, и, как бы в ответ на недавние мысли свои, прочел из середины: «... право, не понимаю, какой смысл. Неужели тебе еще не надоело? А здесь ты по крайней мере отдохнешь, поохотимся вместе...». И Ярцев не стал читать дальше. «Вот оно, правду увидеть!» — торопливо промелькнуло в нем. Возбужденный, сразу повеселевший, он сунул письмо в карман, потом опять вынул его... Вся пустота последних дней позабылась, сгнули скучные мысли, сомнения, и смутно, неясно шевельнулась даже надежда, что правда-то, быть может, все-таки похожа на его воспоминания...

2

Вагон был неудобный, грязный, дотесна набитый багажом и пассажирами, почти сплошь мужиками. Свечи нестерпимо тускло тлели в фонарях, едкий махорочный дым неподвижно стоял между лавками; вентиляторы не поддавались никаким усилиям, и развинтить их было, очевидно, невозможно. Вся дорога оказалась неудобной, какой-то малоезженной, в роде проселка... Но Ярцеву она нравилась одним уже тем, что непохоже здесь было на Москву, на дачные поезда, развозящие москвичей по пригородам. Вчерашнее возбуждение его не улеглось, а, наоборот, еще возросло — он не мог даже заснуть, хотя место досталось удобное, на верхней полке. Он то прислушивался к разговорам внизу, то закуривал, а на остановках выходил, если успевал добраться до буфета, пил квас или пиво и ел разогретые черствые пирожки. Погода испортилась, моросил унылый мелкий дождик. Станции все попадались без платформ, так, по крайней мере, полагал Ярцев, шлепая по лужам и липкой грязи к низеньким деревянным вокзальчикам, и вокзальчики эти были нелепо похожи друг на дружку: одинаково тесны и убоги были они, одинаковые рукописные.

объявления испещряли их грязные стены, а за стойкой, казалось стоял один и тот же буфетчик, в русской рубахе, с толстыми белокурами усами и свинными глазенками совершенно белого цвета. Давно уже промочил Ярцев ноги, пить не хотелось, от неумеренного курения ломило в висках, но он все не мог уgomониться и заснул только перед самым рассветом, да зато так крепко, что едва не проспал нужной остановки.

— До Гумен билеты, у кого, граждане, до Гумен? — услышал Ярцев сквозь сон.

Когда он понял, наконец, что называют его станцию, кондуктор прошел уже в следующее отделение. Вагон за ночь опустел. В нем было просторно, светло от опущенных полок, но выглядел он еще более грязным, чем вчера. В соседнем купе худая простоволосая женщина прямо на пол отсаживала золотушного ребенка. Воды в уборной не оказалось... «Ну, и дорожка!» — с легким раздражением подумал Ярцев, хмуро, неумыто разглядывая свои грязные ботинки и брюки... Однако поезд уже замедлял ход, вагон тряхнуло на стрелке; Ярцев как-то сразу почувствовал вдруг, что сейчас, через минуту увидит брата, которого не видал два года, — и раздражение его улеглось.

Прихватив саквояжик, он вышел на площадку.

Свежий порывистый ветер врвался в открытую дверь. Дождь утих, в небе неслись тучи грязные, серые... Голый рыжий березнячек все тише, тише плыл мимо... Ярцев смотрел и недоумевал: где же, однако, станция? Неужели ничего нет здесь, кроме этих вот тесовых барачков, штабелей строевого леса, да поваленных, рассыпавшихся полениц?

Наконец, ему надоело стоять. Он прыгнул на землю и бодро зашагал по тропочке вдоль полотна к барачкам. Снизу, с земли видны были только крыши их, да и вообще он поторопился, вагоны один за другим обгоняли его, шипя тормозами. Но вот, через несколько шагов, из-за высокой березовой поленицы выступила большая белая вывеска: «Гумна». Перед барачком, на котором была укреплена она, толпилось несколько человек: два-три железнодорожника, старуха, повязанная шалью, тяжело обеими руками опирающаяся на посошок, мужик в темно-бордовом армяке, — и еще издали стало ясно, что брата среди них нет. Не видно было и лошадей. Один только старый кривой тарантас раскидывал по земле свои некрашенные оглобли, да распряженный соловый конек с темной влажной спиной выбирал из плетеного жузовка об'едки сена.

Ярцев в нерешительности остановился, не зная что предпринять. Беспokoйно, почти испуганно поглядывал он по сторонам. Неужели никто не встречает его?.. Но беспокоился он напрасно: его уже заметили. Мужик в армяке отделился от остальных; он шел, волоча за собой долгие бордовые полы, и Ярцев с облегчением смотрел ему навстречу, сразу схватывая весь облик его — скуластое безбородое лицо с подстриженными усами, мокрый обвисший картуз, кнутовище, торчащее из подмышки.

— Вы что, Федор Семенович будете? — хриплым баском спросил мужик, приблизившись к Ярцеву.

— Я самый!

— Тогда, значит, пожалуйста за мной.

Мужик круто повернулся, зашагал к тарантасу.

— А Коля где же? — недоуменно крикнул вслед ему Ярцев.

— Николай Семеныч? — на ходу, не оглядываясь, переспросил мужик. — Он дома остался, они с Ефремовым газету разрисовывают к завтраму.

Ярцеву послышалось, что в хриповатом, прокуренном голосе прячутся насмешливые нотки... Пожимая плечами, он подошел к тарантасу, кинул на голое сиденье саквояж и спросил:

— Ехать-то далеко?

— Двадцать семь верст считают, — нехотя ответил мужик, — часа четыре проедем.

Он принялся запрягать.

Ярцев следил за тем, как медленно, не торопясь, засупонивает он хомут, и сердито думал о брате: «Свинство все-таки, зовет к себе, а не мог встретить»... Но, как и давеча в вагоне, закипающее раздражение его скоро улеглось: как можно было злиться, когда все кругом развлекало, рассеивало, радовало!.. Вот крошечная востроносая девочка, мелко переступая босыми ножками, снимает с веревки сухое белье, а за нею, боком, поминутно заливаясь своим сердитым, булькающим бормотаньем, ходит, надувается огромный с малиновым галстуком индюк. Вот малый в болотных сапогах и железнодорожной фуражке дает поезду сигнал к отправлению — ударяет железным прутиком по куску рельсы, что подвешена на веревочке вместо колокола. Ветер приятно охлаждал, освежал щеки; сознание, что вот добрался он, наконец, до деревни, разжигало нетерпение, жадное желание поскорее увидеть все собственными глазами, а новый, тоже бордово-коричневый армяк, заботливо высланный братом, даже как-то умилил. «Ну, не встретил, бог с ним, — думал Ярцев, плотно запахиваясь и усаживаясь, — малый-то он хороший»...

Меринок, показавшийся сначала старым и ленивым, бежал бойко; дорога была песчаная, уже подсыхая. Ехали весело. Молодой березнячок незаметно перешел в крупный взрослый лес. Белые березовые стволы мешались тут с зеленовато-серебристыми стволами осин, с матерыми, лохматыми елями, угрюмая хвоя которых в тени выглядела совсем черной. Несколько раз внезапно, порывами, припускал дождь, но ветер, неумолчно шумевший среди деревьев, унимал его. Затем выбрались на чистое место. Озими поразили Ярцева своей густотой и ровной яркостью, на много перегнавшей ту, бутырскую... И снова замелькали столбы с двумя всего проводами, снова пошли перелески, поля, вырубки. Ярцев жадными глазами впивал в себя все это. Ни одно чувство, похожее на ту нежность и грусть, что пробуждали в нем обычно воспоминания о прошлом, не шевелилось в груди его. Да и

само прошлое отошло куда-то далеко, не вспоминалось,—точно и лес, и небо, и поля стали сейчас иными... Что-то похожее на прежнее было только в деревнях—в этих лилово-серых избах, в жалких палисадничках перед ними, в обпиленных, обрезанных лозинах. Но неужели и тогда, шесть лет назад, так же убого было все это? Или, быть может, это только кажется сейчас, после Москвы?.. И вспомнив, как далека Москва, Ярцев счастливо улыбался, с нетерпением и жадностью поглядывал по сторонам... Ему даже говорить не хотелось—только изредка задавал он какой-нибудь вопрос своему вознице, который, впрочем, был тоже не слишком разговорчив. Он беспрестанно завертывал папироски, выкуривал их, подстегивал коня и молчал. Только раз за всю дорогу случайно удалось вызвать его на разговор.

Случилось это, когда проезжали деревней с чудным названием «Ложица».

Лежала деревня эта на холме, с трех сторон окруженная лесом. Еще издали удивило Ярцева обилие в ней новых срубов, светлыми пятнышками выделявшихся на общем сереньком фоне. Новых изб немало попадалось и в других деревнях, но здесь их было больше или, вернее, они как-то бросались в глаза; когда же в'ехали в деревню, заметной стала и еще одна их особенность: почти все они оказались не так уж новы и, покрытые крышами, несколько лет уже, видно, оставались без окон, без печей, без окончательной отделки.

— Почему же не достроят их? — спросил Ярцев. — Ведь пустяки сущие остаются?..

— Пустяки? — переспросил возница, и опять насмешливые нотки проскользнули в его басистом хрипе. — Может, конечно, и пустяки... Да только где их взять?

Он на мгновенье умолк и затем продолжал, не оглядываясь, с непонятым Ярцеву, все растущим озлоблением:

— Вы думаете что? Трудно им было лесу наворовать да за десять пудов плотников нанять в голодные-то годы?.. Это, брат, не штука — все в лесу живем... Да только шалишь, не изловишь! Не до веку им было царствовать! Сейчас времячко другая, сейчас за одни рамы два урожая отдашь...

Он, наконец, оглянулся, всем телом поворачиваясь на облучке (Ярцев только сейчас увидел, что глазки у него злые, темно-зеленые, цвета клеверного сена), и ткнул в воздух кнутовищем, показывая на перекосившуюся, шестиаршинную хибарку с двумя слепыми окошками, собранными из кусочков:

— Вот, видал? В этой фатере и будет жить, пока не подохнет со всеми с ребятами своими, эта ему подходяща... А то, гляди, замахнулся, пятистенки поставить захотел!

Тарантас втащился тем временем на вершину холма, дальше улица шла под-изволок. И, как нарочно, здесь, на самом перевале, разместился большой дом, обшитый тесом, совсем темный от старости. На крыше его работали двое, должно быть, отец и сын; железными

заступами они ловко и споро снимали с обрешетки ветхую дрань, и она облезала начисто, как рыба чешуя под ножом. Ярцев невольно загляделся на эту веселую, чистую работу: он и не подозревал до сих пор, что эдак, простым заступом, можно разобрать крышу, глядящую такой крепкой, плотной!.. И вдруг с облучка послышался короткий, хриплый смешок. Ярцев удивленно взглянул на своего возницу. Но тот уже не смеялся.

— Вот, сорок лет! — торжествующим баском воскликнул он. — Сорок лет живет в избе, троих сыновей женил, а видишь, наново будет крыть, еще на двадцать хватит... Сам будет крыть и плотниками не зануждается! Он и лесу не воровал, и контрибуцию с него брали, а денежки у него есть, да...

Он привстал на облучке, так что полы армяка распростерлись по ветру, с непонятной яростью несколько раз вытянул меринка кнутом. Мерин вскок пустился под горку, тарантас запрыгал по рытвинам, сзади испуганно задребезжала какая-то железка. И долго еще думал Ярцев над этой неожиданной вспышкой, тщетно стараясь осмыслить ее и понять, чем вызвана ярость возницы, откуда лютое его, ненужное злорадство.

3

До места доехали уже в заплдни.

Небо совсем очистилось от туч — легкое, прозрачное висело оно над землей, сплошь залитой солнцем. Все обогревалось, высыхало на глазах—высохла спина лошади,—и она стала вся одного цвета, высох картуз возницы, а на дороге только в низких местах попадались лужи.

На последних верстах начала сказываться усталость. Ярцев скинул армяк, расстегнул пальто, беспрестанно пересаживался с места на место. Все мешало ему: саквояж, сено, солнце... Но, когда возница, не оглядываясь, пробурчал: «Вот оно, Ладыно наше», — он снова ожил.

Оставив позади себя сенные сараи, беспорядочно разбросанные по кочковатой луговине, тарантас прогремел по высокому новому месту и шибко покотил по улице. Ребятишки, игравшие в козны, стайкой снялись с места и взапуски помчались следом. Ярцев, машинально улыбаясь, прислушивался к их голосам, с притупленным любопытством оглядывал церковь, скучную, с облезающей штукатуркой, и антенну, протянутую от колокольни к железной крыше церковной сторожки... Тарантас, между тем, пересекал площадь. Высокая досчатая трибуна, как бы на курьих ножках возвышавшаяся посреди нее, разукрашена была флажками, еловыми ветками. Точно так же украшенная арка, жидко сколоченная из жердей, торчала на другом конце площади. «Батюшки, да ведь завтра первое мая!» — вспомнил Ярцев, и тарантас; под крик и визг ребят проскочив сквозь арку, остановился перед древним двухэтажным домом.

— Наверх ступайте, — сказал возница, подождя, пока Ярцев выберется из тарантаса.

Из темных обширных сеней, крепко пропахших псиной, вела на второй этаж узкая, невероятно крутая лестница.

Она упиралась в дверь, обитую рваным, неприятным на ощупь войлоком. Призрачный огонек спички осветил ее и клоч бумаги, на котором размашистым почерком написано было — «Участковый агроном Ладьянской волости»... Улыбаясь волнению своему, одышке и еще этой надписи, совсем ненужной в темноте, Ярцев распахнул дверь и нырнул под низкую притолоку.

Единственное, что увидел он здесь, был густой табачный дым, широко и косо прорезанный тремя солнечными потоками, щедро лившимися через окна. Ничего больше он не успел разобрать, потому что в следующее же мгновение услышал голос брата:

— А, Хведор!

Голос брата был родной, знакомый, точно так же, как это шутовое искажение, — но не тот, что раньше. Иным показалось и бледное, давно небритое, словно бы даже постаревшее лицо, проступившее в дыму. Братья поцеловались. Ярцев почувствовал отчетливый запах водки. «Неужели Коля пьет?» — мелькнула врезавшаяся и потому страшная мысль... Чтобы скрыть ее, он сказал с деланной небрежностью:

— Накурено у тебя как, не продыхнешь...

Брат только рукой махнул на это.

— Ну, как доехал? — оживленно говорил он. — Устал? Надолго? Есть хочешь?.. Впрочем, зачем же я спрашиваю, хочешь, конечно...

Он, щурясь, смотрел на Ярцева — не в лицо ему, а ниже, куда-то на воротничок сорочки, и улыбался милой, знакомой с детства, улыбкой.

— Ух, ты, франт какой!.. Ну, раздевайся, давай сюда свои шкуры.

Болтая что попало, беспрестанно перескакивая с одного на другое и продолжая улыбаться, он снес саквояж и пальто в соседнюю комнату, затем спохватился было, что нужно бежать вниз к хозяевам за самоваром, но снова и снова начинал говорить...

— Во-время, во-время ты приехал, — говорил он, — завтра праздник, увидишь наши торжества... Это тебе не Москва, не Красная площадь... Да и я буду дома, а то весной меня прямо на части рвут...

Наконец, поспешные уверенные шаги его загремели вниз по лестнице.

Ярцев, несколько опешивший даже от такой словоохотливости, стал осматриваться.

Сначала взгляд его довольно рассеянно скользил по стенам, по дешевеньким цветастым обоям, настолько изодранным, что видны были следы всех прежних многочисленных оклеек. Затем аккуратные снопики пшеницы, льна, семенного клевера, развешанные по стенам, заинтересовали его. Он потрогал их руками, — принял пшеницу за ячмень и почувствовал горделивое удовольствие от того, что так ловко разбирается в хлебах... А когда внимание его привлек проекционный

фонарь и сломанный опрыскиватель без рукава, без крышки, валявшийся рядом на полу, он, присев на корточки, потрогал руками и фонарь и опрыскиватель. После московской тесноты комната казалась ему очень большой и почти пустой — так мало в ней было мебели. Но ощущалось в ней нечто общее и с тесной московской каморкой Ярцева: тот же холостой беспорядок, те же окурки, разбросанные повсюду, неприбранная посуда на комод, очевидно, заменяющем буфет... И снова екнуло, защемило в груди тоскливое чувство не то страха, не то жалости, когда заметилась среди грязных стаканов, хлебных корок и сухих шкурок от воблы недопитая бутылка водки. Чувство это было так тоскливо, тревожно, будто Ярцев представлял себе брата уже окончательно спившимся. Оно не вязалось с тем неизъяснимо счастливым, что, несмотря на все московские сомнения, казалось неотделимым от деревни, и Ярцев поспешил отойти от комода к столу, во всю ширину которого расстелены были листы стенной газеты. Попрежнему искусные, смелые рисунки брата и разнообразные шрифты заголовков несколько успокоили его. «Просто случайность, — подумал Ярцев, склоняясь над газетой, — не может быть, чтобы Коля пил много»... И после того, как вернулся брат и вместе с ним вошел еще кто-то незнакомый, недавняя тревога сгинула вовсе, сменилась прежним, несколько преувеличенным, наигранным любопытством.

— Ну, товарищи, знакомьтесь, — сказал брат, тяжело опуская бурлящий самовар на комод, — это — Ефремов, секретарь нашей ячейки.

Ефремов молча тряхнул руку Ярцева, в сторону глядя своими темными, слегка запухшими глазами, и тотчас же сел на табуретку к окну. Вид у него был не деревенский, но и не городской. Больше всего он походил на мещанина-прасола, на мелкого торговца, заматеревшего в непрерывных раз'ездах по ярмаркам да базарам. На плечах его, поверх заношенной сатиновой рубахи, накинут был ловко скроенный ватный пиджачок, бумажные, досера вылинявшие шаровары нависали над тугими голенищами сапог, а кожаная фуражка, довольно потертая, сидела на самом затылке, давая волю густым, седеющим кудрям. Лицо его, малинового оттенка, иссекали немногие, но зато резкие и глубокие морщины, сухой горбатый нос казался особенно большим над короткой голый губой, над бледным ртом...

— Так вот, Николай Семеныч, — сказал он, очевидно, продолжая начатый ранее разговор, — я думаю, про новошинцев нужно все-таки написать.

— Напрасно думаешь, — ответил Николай Семенович с грубоватой резкостью, в которой трудно было разобрать, всерьез она или в шутку, — знаешь про индюка?.. Думал, думал да издох.

Ефремов криво улыбнулся и пожал плечами, отчего пиджак его с'ехал с плеч и повис на подоконнике.

— Почему же напрасно? — спросил он.

— А потому, что уж если писать о них, так хвалить.

— Хвалить?

— Конечно.

— За то, что они махинации свои над лугами проделывают?

— Не за это, а за то, что хозяева они хорошие.

Ефремов презрительно хмыкнул. На лице его, подле рта, возникли новые жесткие складки.

— Не хозяева они, а кулаки, вот что, товарищ дорогой, — сказал он сердито.

Агроном промолчал, делая вид, что очень занят перемыванием посуды, и молчание это подзадорило Ефремова.

— Да, кулаки, — упрямо повторил он, и складки подле его рта пролегли еще резче. — У семи дворов чуть ли не половина всего стада! У каждого по две, по три коровы, у Будилихи — пять... а у других и одной-то нету.

Ярцев, настороженно следивший за каждым словом и почему-то ждавший, что разговор перейдет в ссору, услышал вдруг хрупкий треск раздавленного стакана. С удивлением оглянулся он на брата.

— Ну, пиши, — вызывающе воскликнул тот, — пиши, чорт бы тебя побрал!

Он, щурясь, смотрел на Ефремова, крепко прижимал к груди скомканное полотенце и, потрясая осколком стакана перед своим сразу потемневшим лицом, говорил:

— Ну, сделай одолжение, пиши!.. Или еще лучше, отбери у Будилихи скотину и раздай по рукам. Может, в благодетели мужицкие попадешь, а то все комиссаром зовут... А может, в сумасшедший дом тебя посадят, в Бурашево...

— Не бойся, не засадят!

— А не засадят, тем лучше... Только сам можешь в таком случае и газету выпускать, нечего приставать ко мне. Я вообще не могу с тобой больше дела иметь, ты эдак сентиментами своими всю агро-работу сорвешь!

Он яростно швырнул осколок под стол, и оттуда неожиданно вылез тощий гончий кобель.

— Налет, на место! — крикнул он ему. — Ну!

Собака покорно легла, и он, как-то сразу успокаиваясь, продолжал:

— Ты пойми, чудак ты человек, потому и скота у них много, что умеют они обращаться с ним. У кого удои самые большие? У новошинской группы!.. Другие-то держат выдру какую-нибудь, неизвестно для чего, ради одного навозу, а у новошинцев коровы — да, для молока, для денежек... И не беспокойся, у них еще по три коровы будет.

— Может быть, по тридцать? — презрительно спросил Ефремов.

Однако спор уже погас... Спорщики как-то сразу угомонились, остыли — видно, оба недовольны были своим возбуждением. Брат прибрал в сторону хрустящие листы газеты, вытащил из комода вязочку воблы, хлеб, початую головку сыра... Ефремов молчал, постукивая носком сапога по полу, смотрел в окно.

— Садитесь с нами чай пить, — сказал Ярцев, натянуто улыбаясь ему и стараясь как-нибудь загладить то неприятное чувство, что осталось, по его мнению, у Ефремова после спора.

— Нет, некогда, — ответил тот сухо, — нужно итти.

Он встал, не спеша надел в рукава свой франтовский пиджак и, как ни в чем не бывало, спросил, куда-то в сторону отводя глаза свои в крупных, запухших веках:

— Что же, газету успеешь все-таки кончить?

— Успею, конечно, — ответил брат.

— Ну, прощай.

Твердо, четко ступая по скрипучим половицам, Ефремов пошел из комнаты.

Брат проводил его долгим взглядом и вздохнул.

— Вот всегда так, — начал он виноватым тоном, как бы желая оправдаться, — работаешь, мелешь языком, тычешь пальцем на ту же Будилиху, как на пример, а он — знай свое — придирается к каждому пустяку: все у него кулаки, богачи...

— Да ведь разница между ними есть? — осторожно возразил Ярцев.

— Какая разница? В чем?

— Ну, в скоте, хотя бы... У этой, у Будилихи твоей...

Брат, сразу опять разгораясь, не дал договорить.

— Прежде всего, почему моей? Что я — муж ей? Сват? Брат?.. А потом не думай, и у ней три года тому назад ничего путного не было... Чудно! — воскликнул он, высоко, к самым ушам, поднимая плечи, — как вы, право, все не желаете понять — нет никаких кулаков, нет! Богатеет всякий, кто захочет и сможет иначе поставить свое хозяйство, хоть сколько-нибудь культурно...

— Но ведь богатеет все-таки? — налегая на «богатеет», сказал Ярцев... Он тщетно пытался припомнить разумовские споры, и только отдельные слова мелькали в памяти — какие-то дифференциации, товарности... А как ловко заговорил бы сейчас на его месте тот, например, черненький студент в галошах на босу ногу, что горячился, кричал пуще всех и, шлепая галошами, бегал по комнате общежития!..

Брат ответил не сразу. Задумчиво щурясь, смотрел он на свой стакан, на непомерно крепкий чай вишневого цвета, и машинально размешивал ложечкой сахар.

— Вот в том-то и дело, что богатеет, — тихо, как бы про себя, сказал он и резким движением бросил вдруг ложечку на стол: — Сам чорт их не разберет... Но я-то для чего в таком случае стараюсь?

Щурясь, беспокойно, то поднося к губам, то ставя на место стакан, он заговорил о другом — об охоте, о какой-то сандовской вырубке, где поставлены его шалаши, о Москве...

Ярцев отвечал вяло, почти не слушая. Весь сегодняшний день, со всей его пестротой, со множеством подробностей, казалось, навалился на него. Разумовское, спор, при котором он присутствовал только-что,

слова брата мешались между собой, и тревожно, как в лихорадке, хотелось сосредоточиться, спокойно разобрать, обдумать все это... Но сосредоточиться Ярцеву так и не удалось: мешали все новые и новые люди, входившие в комнату.

Первым пришел заведующий волполитпросветом Попов, необыкновенно курносый, в кургузой курточке, из которой он явно вырос. Брат называл его «дядя Попа», подтрунивал над ним, но он не обижался и все ел всухомятку баранки одну за другой. Потом пришел Кистанов, телефонист (оказалось, что с 1923 года весь уезд телефонизирован). Он был белокур и уже загорел настолько, что детская пушистая бородка его выглядела светлее щек. Он тоже дразнил Попова, вспоминал, как тот сжег лампочки на радиоприемнике... Брат, между тем, снова взялся за газету. Точно на бильярде играя, лег он грудью на стол, карандашом набрасывал под заголовком «С п я щ а я к р а с а в и ц а» пожарного в каске, заснувшего рядом с поломанной трубкой.

— Это что, не про нас ли? — подозрительно спросил Кистанов, искоса присматриваясь к газете.

Брат рассмеялся.

— Знает кошка, чье мясо съела, — сказал он, любуясь подозрительностью этой, но не выдержал и успокоил: — Ладно, не беспокойся, не про вас...

Солнце уже зашло. Одинокие облачка, легкие и длинные, как перышки, еще горели в холодной лимонной пустоте закатного неба, — и было неприятно, что брат так рано зажег лампу. Разглядывая через окно пильщиков, шедших с работы, Ярцев невнимательно расспрашивал телефониста, хорошо ли слышно по радио Москву... Один из пильщиков волоком тащил за собою по земле длинное лезвие продольной пилы, и оно было совсем, как старомодный женский шлейф.

— Разве настроишься на такую аудиторию? — говорил Кистанов. — Народу навалит — вво!..

А позже, вечером, «на минутку» забежала какая-то старая девушка с длинным лицом лошади, почти гнедым от веснушек, несмотря на пудру. Просидела она долго, весь вечер, неумело пытаясь кокетничать, напоказ выставляя худую ногу в новенькой безобразной туфле, очень похожей на копыто. В низком вырезе батистовой кофточки видна была желтая дряблая шея, намечались худые, плоские груди... И, узнав, что она волостной женорганизатор, Ярцев подумал: «Неужели может она кого-нибудь организовать, с этой вот жесткой челкой на лбу, с запахом дешевой косметики?»

Она принесла с собой старую мясорубку, рыжую от ржавчины.

— Зачем это тебе? — спросил брат.

— Как же... ведь завтра праздник, — ответила она и покраснела. Брат насмешливо хмыкнул.

— Что, котлеты будешь вертеть ради праздника?

Она молчала. И Ярцев почувствовал вдруг ноющую, бесплодную жалость к ней, к брату в его старом, старом, еще отцовском, пиджаке...

Как-то сильней стала ощущаться усталость, клонило ко сну и притупилось даже самое желание разобраться в себе и в том, что довелось увидеть сегодня.

Только на одно мгновение встрепенулся он, когда на улице, под окнами заиграли на гармонии. Ему захотелось было даже очутиться там, внизу, в темноте и прохладе ночи... Но резки, однотонны были медные взвизги, чуждо звучали голоса парней, оравших неразборчивую частушку, и так непохоже было это на прежнее, на юность, что Ярцев почувствовал себя совсем стариком.

Он прошел за перегородку и, не раздеваясь, прилег на жесткий диванчик, пахнувший душной домашней пылью.

Свет от лампы, за которой продолжал работать брат, углом врезался сюда. По стене, на свету рысью бежал огромный черный таракан; многие другие шуршали, царапались под лохмотьями обоев. «Будут ползать по мне всю ночь», — брезгливо подумал Ярцев... Лицо его горело после дороги, и он вдруг вспомнил, что не умывался со вчерашнего утра. Однако все это было уже как в тумане. Сквозь двери он видел брата, полоскавшего кисточку в стакане с мутной, грязной водой, но в то же время это был не брат, а Будилиха, или, вернее, Феничка Багрова. «Ах, Феничка!» — грустно и нежно подумал Ярцев, совсем забывая, что девушка эта давно умерла от тифа. Ему стало ясно той внезапной ясностью, что приходит бездумно, как бы сама собой: ведь Феничка—дочь кулака... Это было дико, нелепо, настолько нелепо, что Ярцев рассмеялся тихоньким смешком, почти сердитым, и, так и не освоившись с этой мыслью, заснул.

4

— Эй, ты, лодарь московский! Вставать пора.
Ярцев открыл глаза.

Брат в чистой отглаженной рубаше с расстегнутым воротом стоял над ним и улыбался. Он, должно быть, уже давно был на ногах, успел побриться, тщательно расчесать свои темные волосы, и лицо его очень приятно помолодело, посвежело... Безоблачный день ослепительно сиял за окнами, комната вся гудела и как-то дребезжала от близких мерных ударов колокола, за перегородкой клокотал самовар...

Выспался Ярцев отлично, даром что спал, не раздеваясь. Легко и радостно стало у него на душе, — то ли от влажной матовой синевы неба, то ли от улыбки брата, — и он бодро вскочил, побежал умываться.

Наскоро напившись чаю, братья выбрались на улицу.

Здесь было уже много народу, больше девок. Вся площадь и улица, ниже к реке, пестрела разноцветными праздничными платочками, светлыми ситцевыми юбками, черными жакетками. Весело было глядеть на них, весело было дышать прохладой утра, и очень смешными показались слова брата, что эти черные жакеты с неесте-

ственно высокими талиями и поясами под самыми грудями называют тут гейшамии... Какой-то румяный пьянький старичок пристал к брату, смешно семеня и забегая вперед, говорил о суперфосфате, за которым хочет ехать в город. Ярцев делал вид, что прилежно слушает, — ему неловко было от откровенно-любопытных взглядов встречных... Народу тем временем становилось все больше. Изредка попадались бородатые, тоже приодевшиеся, мужики. Подле почтового агентства кучкой стояли наряженные парни, закуривали из одного кисета, и у всех у них в руках или под мышкой были можжевельные, добела отструганные хлыстики с нежно-зеленой метелочкой, оставленной на самом конце. Брата окликали со всех сторон, здоровались, и он едва успевал отвечать.

— Агроному почтение.

— Ярцев, здорово!

— Василию Семеновичу.

— Да его не Василием вовсе, а Николаем зовут.

— Ну, извиняюсь, замечтался.

Так же приветливо, шумно встретили брата и в вике.

Кроме сотрудников исполкома, здесь собралось много молодежи, и по всем комнатам рокотал говор, мелькали оживленные лица, стоял слоистый табачный дым. Перед газетой, еще более нарядной и цветистой, чем вчера, тесно толпились, смеялись. Все, кто заходил вчера к брату, как с давнишним знакомым, здоровались и с Ярцевым, жен-организаторша даже сама подошла к нему из дальнего угла и так и осталась стоять неподалеку, теребя концы кружевного шарфика и в улыбке обнажая свои желтые лошадиные зубы... И вся эта суতোлка, заражая Ярцева общим праздничным весельем, еще сильнее укрепила те светлые мысли и чувства, с которыми он проснулся. Веселым, праздничным казалось ему все: одежда на окружающих, и канцелярские столы, освобожденные на сегодня от бумаг, и безветренная пахучая свежесть, тянувшая в настезь распахнутые окна...

На подоконнике одного из них сидел Ефремов.

Тугие голенища его сапог были неимоверно расчищены, глаза светились в запухших веках, а кудри, серые от седины, как-то особенно лихо выбивались из-под потертого кожаного околыша.

— Да, это вам не прошлый год, — говорил он довольно.

— Не беспокойся, — тотчас же откликнулся брат, насмешливо щурясь, — если б не солнышко, да не воскресный день; опять никого бы не было, кроме тебя, или еще вот Зуйковой...

— А что же в прошлом году? — поспешно спросил Ярцев, не зная, чем бы заглядить слова брата.

Тут в разговор вмешался председатель вика, буднично одетый коренастый паренек, косой, но — как часто бывает это у косых — с прекрасными теплыми глазами в густых, тенистых ресницах.

— Разве вы не знаете еще? — спросил он, застенчиво потирая тылом кисти подбородок и краснея.

Ярцев отрицательно помотал головой.

— А вы заметьте, звон колокольный, слышите, звук какой?

Ярцеву, как и давеча утром, показалось, что к густому, басы-стому гудению примешивается досадное какое-то дребезжание.

— Колокол, должно быть, с трещиной, — сказал он.

— Вот именно, что с трещиной. А сделалась трещина эта таким порядком...

Председатель замаялся, и глаза его разбежались по сторонам, точно он, не решаясь продолжать, выскивал, кому бы поручить это.

— Если помните, — сказал он, наконец, — в прошлом году первый май на страстную субботу приходился... Вот мы и рассчитали, что день этот в крестьянстве считают за будни, или святым, что ли, каким... Народу все равно не жди! И решили мы перенести празднование на второе число, на воскресенье. Думали выгадать этим, а вышло наоборот, влипли — на улице пусто, грязь, дождь лупит...

— Дождь-то, положим, только с утра шел, — ревниво поправил Ефремов.

— Ну, может, и с утра, — согласился председатель, — не помню уже хорошенько, да и не в этом дело... Одним словом сказать, не идет к нам никто и шабаш! Собрали мы все-таки кое-кого, выстроились перед виком. А рядом у Зазнобиных попа с иконами приняли. И только мы тронулись — пожалуйста! И поп тут как тут. Епитрахиль на нем, впереди девчонки с иконами, старухи какие-то бегут... Мы «Смело товарищи» тянем, а они «Христос воскрес»... Так лбами и стукнулись!.. А была тут, как на грех, мужиков компания, все старики и все пьяные, как один, сидят на фроловском крыльце, от дождя спасаются, смотрят... И показалось им обидно, что наш-то хор перекрывает ихний, поповский. Мы ничего такого не подозреваем, ребята, помню, некоторые посмеялись даже, что поп такую поражению потерпел, а наши мужики тем временем на колокольную лезут... Открываем мы митинг. Хорошо... Выходит на трибуну Ефремов: «Товарищи, говорит, разрешите»... — а они во все колокола как грохнут, как грохнут!.. Ну, ни словечка не услышать... Ефремов замолчит, и они перестанут. Заговорит, — опять та же лавочка... И митинг наш сорвали, хотя по совести, нечего и срывать-то было, и себе же обратно навредили, до того дозвонились, что самый главный ихний колокол лопнул...

— А разве нельзя было унять их? — спросил Ярцев.

Вопрос этот, очевидно, показался смешным. Слушатели, теснившиеся вокруг председателя, заулыбались, кто-то засмеялся. Председатель скосил глаза и строго опустил ресницы.

— Пробовали, — ответил он, — кричали им, милиционер даже на колокольную взбирался... Да ведь пьяные, разве их уймешь?

Он замолчал застенчиво, не поднимая ресниц, потирал рукою подбородок... Снова зашумели, заговорили вокруг: всем уже надоело ожидание.

— Пора бы, товарищи, и начинать, — сказал кто-то.

— Школьников нужно дожидаться, — ответил Ефремов.

— Да и пожарной дружины что-то не видно...

Дружинники, впрочем, уже приближались к вику.

Вздвоенными рядами, по-солдатски, четко отбивая ногу, торжественно шли они, девять человек, в медных касках, сверкающих на солнце... Ребятишки вились у них под ногами, девки, наигранно-звонко переключаясь, бежали следом, даже на бегу не переставая грызть подсолнухи... А через минуту приспели и школьники. Они двигались под крошечными, игрушечными плакатиками своими по-детски, парами, растянулись по дороге длинной, пестрой змеей... И все повалили из тесных комнат вика навстречу им, на улицу.

— Рядами, рядами становитесь! — кричал Ефремов, как-то незаметно присвоивший себе роль распорядителя.

Однако из попыток его установить хоть какой-нибудь порядок ничего не выходило: парни не слушались его, девки ломались, жались друг к дружке, и он вспотел, устал от уговоров... Наткнувшись на милиционера, одетого, несмотря на жару, в свою тяжелую черную шинель, он досадливо пихнул его локтем: «Путаешься здесь, помог бы мне лучше»... Но милиционер, безучастно стоявший среди самой густоты, должно быть, и не заметил этого толчка.

— Нет, избавьте меня, товарищ Ефремов, — сказал он, слабо улыбаясь одними губами, — не могу я сегодня, не лежит душа.

— А что, брат, плохо? — спросил предвика, вскидывая на него свои участливо потеплевшие глаза.

Милиционер покачал головой. Жесткий, небритый подбородок его жалко сморщился, задрожал.

— Совсем помирает мальчонка, — шопотом ответил он и отвернулся.

К вику, между тем, собрались все, кто только был на улице, даже старухи в овчинных шубах поверх своих темных, покойницких платьев... Только подле почты, где возвышался новый незаконченный сруб, пильщики, распускавшие на доски толстый сосновый кряж, продолжали работать, мерно и однообразно протаскивая сквозь дерево голубое лезвие пилы. Им, конечно, никакого дела не было до праздника, до всех маев в мире, до разноцветной толпы, что теснилась и волновалась рядом с ними... А сколько веселия было в этой толпе, сколько ярмарочного, беззаботного оживления было в шуме ее, в криках, в запахе пыли, прозрачно повиснувшей в воздухе!.. И каким важным, презрительным казалось молчание пожарных, готовых встать во главе шествия!.. Командовал ими Кистанов, вчерашний телефонист. Ярцев едва узнал его белокурое, загорелое лицо под низким, сияющим козырьком шлема.

— Скоро вы там? — нетерпеливо окрикнул он Ефремова.

И Ефремов, убедившись, что ничего не может поделать, ответил:

— Да все равно уж... Валяй, запевай повеселее.

Кистанов одернул пиджак, туго перепоясанный ремнем, поправил топор, беспрестанно с'езжавший назад, и вышел из строя.

— Ша-гом... аррш! — молодецвато пятясь, н'енужно-громко командовал он.

И сразу же запел высочайшим тенором на мотив «Варшавянки».

Славьте великое Первое мая...

Восемь человек в касках дружно подхватили, четко отбивая шаг. Двинулись и те несколько рядов, что удалось установить вслед за ними... Потом сбитым бесформенным стадом повалили остальные... И под расплывчатые звуки песни, переходящей на какой-то протяжный лад и нисколько не помогающей итти, толпа, окутанная пылью, потекла по улице, на площадь, где нелепо возвышалась жиденская арка, разукрашенная флажками и зеленью.

Ярцев шагал между братом и Зуйковой, прилежно подтягивая песне и вместе со всеми глотая пыль, вкусную и приятную тем, что появилась она так скоро после дождя.

Все, что беспокоило, тяготило его вчера вечером, сейчас не ощущалось вовсе; давно уже не чувствовал себя Ярцев таким счастливым, хотя и в праздничном этом, возбужденном ликовании было что-то тревожное, лихорадочное... Солнце поднималось все выше, небо, как-то разогретое им, становилось все суше и светлей; легкие волокнистые облака возникли в его бирюзовом тумане, и радовали, и казались никогда не виданными. Радостно было смотреть на них, на парней, независимо помахивающих своими можжевеловыми метелочками, на школьников, что едва поспевали за взрослыми. И заманчиво было — словно сам он стал школьником — проталкиваться поближе к трибуне, подле которой волосатый учитель в черных очках уже устанавливал хор.

Первым говорил предвика. Он смущался, безбожно скашивал глаза, но речь его была проста, без всяких придуманных, газетных слов. После него, ухарски встряхивая головой, говорил Ефремов, затем комсомолка — секретарь волкома... Густо-румяная с толстыми икрами, она была грубовато, по-деревенски велика и здорова, и хромовая куртка, с трудом застегнутая на необ'ятной груди, совсем не шла к ней... Ее сменил заведующий кооперативом, по фамилии Скоромнов, но похожий на кавказца носом своим, синими от бритья щеками и даже произношением... Особенно же понравилась Ярцеву выступавшая в конце девочка-пионерка, бойко протараторившая наизусть затверженные слова, совсем как стишок в классе. И так мала была она, так хороша своим белым личиком, косичкой и лиловыми розами на платье, что нельзя было без улыбки слышать ее нежный детский дискант.

— Одновременно шлем свое пионерское проклятье палачам и насильщикам китайской революции, лущеным лордам и банкирам...

Остальные ребята, задирая кверху головы, жадно ловили каждое слово ее. Гордость, довольство проступали на их лицах и на лицах

учителей, ничем не отличавшихся с виду от мужиков... И трогательной казалось Ярцеву эта гордость, трогательным казался кумачевый школьный плакатик с кривой надписью: «Пойте, радуйтесь, дети, славьте праздник О к т я б р я»... После каждой речи хор из ребят и пожарных пел одно и то же, почему-то из середины:

Громче оркестры, выше знамена,
Славьте великий рабочий союз,
Славьте всемирных бойцов легионы,
Армию синих засаленных блуз...

Но Ярцев не замечал даже, что нелепо звучат слова об оркестрах и рабочих блузах здесь, среди сивобородых мужиков, среди разодетых девок, без усталости грызущих подсолнухи... Все, все было прекрасным сегодня!.. И, когда кончился митинг, Ярцеву жалко стало, что все так скоро расходятся по домам.

Он долго еще просидел на крыльце вика, следя глазами за полетом грачей, разглядывая их гнезда на березах возле церкви и совсем не слушая, о чем спорят опять Ефремов и брат. Пильщики продолжали работать над толстым сосновым кряжем. Левее по улице парни затеяли играть в городки, и Кистанов, зверски искажая лицо, так сильно швырял свои палки, что летели они с визгом и свистом, больше, впрочем, мимо города... А когда возвращались домой, встретили женорганизаторшу. Она быстро и озабоченно шла по тропинке, заменяющей тротуар, и прижимала к груди какой-то сверток.

— Ну, как, котлеты твои готовы? — окликнул ее брат...

Она, беспомощно улыбаясь, остановилась. Брат подошел к ней и ткнул пальцев в сверток.

— А это что?

Сквозь рваную промаслившуюся газету проглянул золотисторозовый бок пышного бисквитного торта. И брат жестоко, невесело захохотал:

— И когда ты, Зуйкова, наконец, обожрешься?

Зуйкова молча потупилась. Улыбка исчезла с лица ее, и она вся покраснела, даже шея и грудь, открытая низким вырезом блузки, залилась краской... И такой трогательной, милой показалась она Ярцеву, такое полное и ясное чувство сегодняшнего счастья, тесня дыхание, заколыхалось в нем, что слезы выступили у него на глазах...

Разве мог бы он подумать сейчас, что еще сегодня рухнет, изменится все, и от этого ясного счастья ничего, ничего не останется?

5

Случилось это потому, что к концу дня с необыкновенной силой и яркостью пробудились вдруг воспоминания о прошлом, притаившиеся где-то в глубине сознания с тех самых пор, как уехал Ярцев из Москвы.

Спектакль, назначенный на сегодня, неожиданно сорвался. Ладынинские комсомольцы решили устроить вместо него в е ч е р с а м о-

деятельности, и Леля Шарина, та самая, что выступала на митинге от имени волкома ВЛКСМ, пришла просить, чтобы братья приняли в нем участие.

Расстегнув свою тесную куртку, под матовым хромом которой было ей, должно быть, нестерпимо жарко, она быстро говорила, возмущенно вздергивая на лоб свои круглые черные брови:

— Ну, хорошо, пусть он напился, нализался, как свинья, — мы, Коля, знаем как с ним поступить, даром ему не пройдет... Но ведь нельзя же допускать, чтобы из-за одного подлеца, из-за какого-то там Цыганкова, весь праздник пропал за зря! Правда ведь, Колька!

Братья сидели за шахматами и беспощадно дымили папиросами, углубившись в сложное, запутанное положение, при котором каждый ход мог принести проигрыш или победу... Но Ярцев никогда не слышал о вечерах самодеятельности и спросил, не отрываясь от доски:

— Что же это, собственно, за вечер такой?

Ему ответил брат.

— А вот увидишь, — сказал он, отводя короля под прикрытие пешки, — заберется вся наша шатия на сцену, начнут стишки читать, петь, кто во что горазд... Леля цыганскую венгерку спляшет, она ведь ленинградка...

Он усмехнулся, сощурил глаза, и непонятно было, издевается ли он над всей этой затеей или попросту смешным кажется ему незнание Ярцева.

Однако Ярцев не стал задумываться над усмешкой брата, оживляясь, поспешно вскинул он глаза на Шарину:

— Разве у вас есть сцена?

— Как же, — снова вмешался брат, — все ваши МХАТ'ы за пояс заткнет.

Шарина обиженно, строго сдвинула брови.

— Не остри, пожалуйста, сделай милость, — сказала она, — не при чем тут МХАТ'ы... Да и сцена совсем не плохая.

Ярцев невидящими, непонимающими глазами смотрел на нее, на сизые от румянца щеки, на толстые икры, туго обтянутые чулками... Сердце его сжалось в крошечный комочек, — так вот оно, наконец, прежнее, вот оно юношеское неповторимое счастье!.. Машинально, не думая, двинул он своего слона. Теплым сладостным туманом наполнилась и без того ошалелая голова его — обломки мебели, лучистые огни ламп, яркие лохмотья декораций замелькали, поплыли в тумане... Под залиvistую трель колокольчиков, царапаясь кольцами по проволоке, раздвинулся занавес, сшитый из помещичьих портьер... и образ девушки с рыжими кудрями вокруг худого детского лица возник на подмостках, благоухая леденцовым запахом гримировальных красок...

— Так как же, Коля, будешь ты выступать или нет? — спрашивала Шарина.

— Нет, я не буду выступать, — в тон ей отвечал брат и, через всю доску шагая ферзем, торжественно воскликнул: — Шах!

— А вы? — повернулась Шарина к Ярцеву.

Ярцев непонимающими глазами взглянул на нее и отрицательно помотал головой...

Он проиграл прекрасно начатую партию, но нисколько не огорчился этим. Все новые и новые воспоминания просыпались в нем, и нетерпение пронзало их — нетерпеливое желание поскорее очутиться среди той действительности, что, конечно же, во всех мелочах своих похожа на прежнее.

С этим чувством нетерпения отправился он в школу на вечер.

Школа была отстроена, как большинство школ земской постройки, в стороне от села, среди поля. Итти к ней нужно было проулком, вдоль кладбищенской ограды. Но брат, сокращая дорогу, повел Ярцева иначе — задами, мимо огородов, житниц и риг... И тут напряженный ход мыслей, воспоминаний Ярцева оборвался: крошечная девочка, лет семи, не больше, на вид, взбиралась навстречу братьям на пригорок, — она тяжело переступала босыми ножками, изнемогая под тяжестью раскормленного ребенка, которого несла на руках, вся выгибалась, и такое беспомощное отчаяние было на ее рожице, красной от натуги, будто последние силы покидали ее.

— Что это? — испуганно спросил Ярцев.

— Нянька, у хозяев наших живет, — ответил брат, безразлично взглянув на девочку и, очевидно, не находя ничего особенного в том, что она тащит такую непосильную тяжесть.

Ярцев вспомнил злые зеленые глазки хозяина, вспомнил, как стегал он своего меринка, и почему-то возникла уверенность, что точно так же бьет он эту няньку.

— Но ведь она сама ребенок! — воскликнул он, — она надорваться может...

— Ну, положим... это уж слишком.

— Да ведь вредно ей!

— Полезного, конечно, мало.

— Так почему же не борются с этим?

— А как бороться?

— Ну... хоть бы в газете вашей писать...

Брат усмехнулся.

— Ты думаешь, мы не писали?.. Одной газетой тут, дружиче, не поможешь.

— Ну, тогда как-нибудь иначе... Ведь безобразие, чорт знает что!

— А как иначе? — спросил брат. — Кто тебе согласится платить няньке полсотни за лето?.. Ведь, если старше, никто и за пятьдесят не согласится, сейчас не зима...

Ярцев хотел было возразить ему, но не нашел нужных слов и промолчал. «Господи, как же так?» растерянно подумал он, оглядываясь, чтобы еще раз увидеть девочку, но она уже одолела пригорок, приближалась к дому, и через мгновение угол ветхого косога сарая скрыл ее жалкую фигурку. Кладбище встало впереди. Столетними бере-

зами своими напоминало оно старый запущенный парк, и часовенка, видная промеж белых стволов, походила на беседку. Едва заметный желтовато-зеленый налет покрывал ветви, отягощенные множеством грачиных гнезд, и грачи множеством галдели над березами, над погостом, мелькая в небе распростертыми крыльями. Теплового телесного цвета было небо; окна школы, уже хорошо видной, горели золотыми отсветами заката... Братья миновали последние риги, овины, перебрались через изгородь. Дальше пришлось итти гуськом по узенькой тропинке, протоптанной поперек полос. Ярцев шел сзади, слабый полевой ветерок омывал его лицо; от школы доносились веселые прыгающие взвизги «Барыни»... Но спутаны, нарушены были мысли Ярцева, и веселье недоступно было ему: в душе его все ширилось, разрасталось какое-то тлетворное смятение, поглощавшее и утренние радости, и недавнюю веру в то, что могут еще наяву повториться воспоминания; неувлимые, как сны...

Школа большой одинокой глыбой лежала в чистом поле. На лужайке, по куцой прошлогодней траве, стлалась отброшенная ею тень, и в тени перед крыльцом много было молодежи—девки и парни отдельно друг от друга сидели на земле, прогуливались, перекликались... Подле высокой поленницы плясали, и гармошка неистовствовала в чьих-то умелых руках.

Целая толпа сгрудилась в кружках, глядя на пляску.

— Эй, агроном, спляши-ка ты! — вырвался оттуда звонкий и смешливый девичий голос.

— Вот я тебе спляшу!—весело пригрозил брат, показывая кулак, и эта шутовская угроза доказывала, каким своим, близким был он здесь... Чужим, одиноким почувствовал себя Ярцев. Он вытащил портсигар, закурил, но душистый, кисловатый дым папиросы был неприятен на вкус, не давал успокоения. Тоскливым взором окинул он школу, лужайку, холмистые поля, уходящие в сумеречные дали, и со страхом, почти с отчаянием увидел: все похоже на прежнее, все точно такое же, как и шесть лет назад — те же разноцветные полосы вдоль и поперек перекрывают холмы, тот же кустарник стелется по низинам между ними, и только вот разве не гумазей, а школа отбрасывает через дорогу свою бесконечно-длинную фиолетовую тень. Места на лужайке было сколько угодно, но, как и тогда, бессмысленно теснились почему-то зрители, мешая один другому и оставляя для пляски крошечный свободный клочок. Те же самые, что и тогда, плясовые переборы сыпала гармошка, и такие же нескладно одетые девки плясали, пели ровными тонкими голосами, а затем отбивали по земле мелкую дробь, и груди их тряслись, колыхались под бумажным сукном неизменных жакеток... Но что же веселого во всем этом? Неужели мог думать Ярцев, что будет ему весело здесь?.. Или, быть может, все испортила, погубила негодная девчонка, как на грех попавшаяся на пути?

Ко мне поп приходил,
 Семь овчин приносил.
 Дура, дура, не взяла —
 Какая шуба-то была!

пела очень пожилая нарумяненная девка в белом ситцевом платочке, и от нее неприятно пахло потом и чем-то кислым, молочным... С ненавистью глядя на нее, улыбнулся Ярцев, зубами передвинул папиросу в угол рта, — губы его были, как резиновые, а мокрый, искусанный мундштук папиросы неприятно охолодел под ветром. И с ледяной беспощадной ясностью понял Ярцев в это мгновение: все, что так бережно хранил он шесть лет и в чем неделю назад усомнился впервые, — погибло... Он понял, что нет уже возврата к прошлому, что никогда не повторится бывшее счастье и, продолжая улыбаться резиновыми губами, отошел прочь.

Тупо-покорно сидел он в первом ряду, перед сценой, смотря на горб суфлерской будки, на лучистые огни вдоль рампы, на цветные лохмотья декораций, изображающих лес, — жалкий, тряпичный лес!.. Если бы он пришел сюда, на вечер, попросту (вот как утром на демонстрацию), — быть может, все казалось бы ему иным, быть может, даже веселым, забавным показалось бы все. Но он ждал невозможного, ушедшего вместе с юностью и, подавленный, распаленный воспоминаниями, видел, что все похоже на прежнее — и убого, убого, скучно...

Сначала пел хор, им опять управлял учитель в черных очках, — и опять пели «Славьте великое первое мая», потом какую-то украинскую песню и «Моряка». Слова знали только дети, а добровольцы-басы мычали что-то неразборчивое, заглушая фальшивые дисканта.

И не буду плакать и рыдать,
 Тебя, моряка, вспоминать...

Наконец, хор исчерпал всю свою программу. Басы, топя ногами по гулким подмосткам, гуськом потянулись за кулисы. На сцене появился заведующий кооперативом Скоромнов с синими от бритья щеками и подбородком. Двигая густыми бровями, сросшимися над огромным носом, он пел: «Над озыром быстрая чайка летит», — и голос его звучал так, будто его душили за глотку. После него пел еще Кистанов, Шарина читала стихи о партбилете... В зале откровенно скучали, и весь он гудел, жужжал разговорами и смешками. Все были, казалось, одинаково довольны, когда вечер окончился, когда на сцене погасли огни и начались танцы.

И опять было похоже на прежнее, на то, о чем всегда с трепетом грусти и нежности вспоминал Ярцев. И опять убедился он, что совсем не веселым, жалким выглядит все это. Единственная лампа скудно освещает зал, по углам колышется рыжий полумрак. Пары одна за другой с грохотом скачут под лихие звуки краковяка, а зрители наступают сзади и теснят танцующих, все меньше оставляя для них свободного места.

Мелькают ситцевые платья со смятыми оборками, с пятнами пота на лопатках, круто завитые челки над низкими лбами, грубые башмаки. Ярцев сидел одиноко, даже брат не подходил к нему. Брату было, должно быть, весело. Он танцевал, налево и направо раздавал папиросы, встречал в чужие разговоры. И особенно обидным, унижительным было для Ярцева, что все покинули его, и никто им не интересуется, в то время, как брат оживлен и весел — точно брат насильно завладел его счастьем, а все остальные потекают этому. Ярцев, конечно, понимал, что никто не хочет обижать его, но все росла его зависть, почти бредовая тревога. Ведь брат, конечно же, бывает счастлив здесь, в деревне, тем юношеским счастьем, возврата к которому нет уже для Ярцева!.. И, быть может, эта вот мясистая, грудастая Шарина дороже для него, чем Феничка. Ярцев стиснул зубы и застонал от горя, от нестерпимой жалости к себе. Феничка, легкая, прекрасная, в коротком холщевом платье и белых туфельках на босу ногу, с горячечной, бредовой живостью встала в памяти. Но ведь она умерла, умерла! Вспоминалось, как вместе с нею выходили они, разгоряченные танцами, в ночную прохладу парка, вспомнилось, как холодна, росиста бывала трава, разросшаяся по аллеям, как мелькали в темноте огоньки папирос... И, не в силах сдержать неистовую тоску свою, чувствуя, как теснит она дыхание, Ярцев поспешно вышел из школы. Парка не было. Чистое поле стлалось под звездным небом, и в сторонке, подле поленницы, близко, вплотную друг к другу сидели Шарина и брат...

Ярцев вернулся в село. Обратный путь несколько успокоил, рассеял его — он запутался среди огородов и риг и, отыскивая дорогу, поневоле вернулся к простым обыденным мыслям. Однако подниматься вверх в чужие пустые комнаты, где только тараканы шуршат под лохмотьями обоев, показалось невозможным, страшным... Он сел на завалинку. И слышно было Ярцеву сквозь окна, как не спит, укачивает ребенка нянька, как поет она тоненьким беспомощным голоском.

Прилетели гуленьки, сели вокруг люленьки...

Одна гуля говорит...

Петухи перекликались по дворам, теплый ночной ветер омывал лицо, на площади перед кооперативом слабым мерцающим огоньком теплился фонарь...

Прилетели гули сели, стали гули гуливать...

чуть слышно пела девочка, изнемогая под тяжестью своего ночного труда... И Ярцев, прислонясь горячей каменной головой к холодному тесу обшивки, закрыл глаза.

Брат пришел только к рассвету, когда померкли уже звезды и розовая кайма зари окрасила небо. Он был пьян, волосы прядями падали на похудевшее, заострившееся лицо его с темными впадинами вместо глаз.

— Эй, управдел, чего не спишь! — насмешливо крикнул он, останавливаясь перед Ярцевым.

6

После бессонной ночи клонило ко сну, и следующий день тянулся бесконечно долго, весь налитый усталостью и ленью. Вечер, таким неожиданным концом увенчавший веселое праздничное возбуждение, сразу уgomонил и как-то опустошил Ярцева. Ничем уже не интересовался он, не пошел даже с братом на осмотр племенных быков, выведенных нынче на перерегистрацию, и было безразлично, что брат пьет... Одинаково нелепыми казались сейчас и разумовские споры, побудившие приехать сюда, и сама это поездка, и бессмысленное желание найти, увидеть неведомую какую-то деревенскую правду... «Вот тебе правда!» — злобно думал Ярцев, шагая по комнате... Он, проживший в Ладьине всего один день и обращавший внимание свое только на то, что не сходилось с его воспоминаниями (стало быть, главным образом, на плохое), совершенно искренно полагал, что действительно увидел п р а в д у деревни. И хотя ничего веселого не ждал он от Москвы, мысль, что завтра он уедет, доставляла злобное, мстительное удовольствие, словно он жестоко наказывал деревню своим отъездом...

И вот снова наступило веселое солнечное утро, снова мерно гудел и дребезжал церковный колокол, и влажной матовой синевой дымилось за окнами небо.

Однако Ярцев не замечал всего этого, он собирался в дорогу и постепенно настраивался на городской, московский лад. Отвезти его на станцию должен был брат, другим путем, через город, куда вызывали брата по делам.

Знакомый соловый меринок был на этот раз запряжен в одноколку, сидеть в которой было неудобно и тесно.

— Мне нужно еще в вик заехать, — сказал брат, разбирая вожжи, — да и тебе надо бы хоть с публикой нашей попрощаться.

— Что ж, давай заедем, — безучастно согласился Ярцев. Буднично выглядели помещения вика, и пахло в них какими-то душными канцелярскими запахами. В просторной приемной комнате мужики толпились перед деревянными перильцами, которые огораживали стол.

Председатель, сидевший отдельно в клетушке, громко называемой к а б и н ё т о м, ласково взглянул на Ярцева и спросил: «Уезжаете уже?» — и тотчас же скосил глаза, опустил тенистые ресницы свои и углубился в бумаги.

Ярцев не стал слушать его разговора с братом и вышел в приемную. Скучными, однообразно-угрюмыми казались ему мужики, молча и терпеливо ожидавшие очереди. Аляповатая газета распластывалась на стене. В углу перед телефоном стоял милиционер, одетый, не смотря на жару, в теплую зимнюю шинель.

— Это страхкасса?.. Это товарищ Сорокин? — тихо и словно бы застенчиво спрашивал он. — Да, я... Каледин... Дело у меня — скажи, будь друг, какие документы нужны, чтобы пособие получить на похороны...

Ярцев мгновенно вспомнил, как запрыгал, сморщился этот твердый небритый подбородок тогда перед митингом... «Сын у него умер», — подумал Ярцев словами, как бы произнося их вслух, и чувство, похожее на жалость, дрогнуло в нем. Милиционер повесил трубку, тусклыми красными глазами скользнул мимо Ярцева... И Ярцев, чтобы прогнать свою жалость к нему, стал прислушиваться к голосу Зуйковой, что слышен был за перегородкой, в комнате волкома.

— Ну, как тебе, Грязнова, не стыдно? — говорила она. — Ведь, если ты идешь, с других и вовсе нечего спрашивать... Делегатка — и как на смех в церковь собралась!

— Да разве нарочно я, Валюшка? — отвечал смущенный женский голос, — разве я пошла бы?.. Да как не итти?.. От стыда людского, Валюшка, идешь, ведь день сегодня родительский, — вот, скажут, паразитка, отцом-матерью поступилась...

— А ты слушай их больше, соседок твоих, они тебе и не то еще наговорят, — сказала Зуйкова, и по голосу ее было понятно, что она с трудом сдерживает улыбку.

Ярцев тоже заставил себя улыбнуться насильно, потому что жалость его к милиционеру не проходила, и подумал: «Нужно к ней зайти»... Зуйкова сидела за столом, буднично одетая, буднично-гладко повязанная алым городским платочком. Бабенка, совсем молодая еще, но в старушечьем длинном и темном платье, примостилась перед ней на самый краешек стула, неловко сложив на коленях руки... Смущение было на ее миловидном лице, и при виде Ярцева она совсем застыдилась.

— Ну, я пойду, прости ты меня, Валюшка, дуру малохольную.

— Да ладно, что уж с тобой поделаешь, — ласково ответила Зуйкова.

Ярцев сел на освободившийся стул и сказал:

— А я попрощаться зашел, сейчас еду.

— Почему ж так скоро?

— Отпуск кончается.

— Мало погостили...

Зуйкова вертела, поворачивала между пальцами карандашик, упорно не поднимала глаз. Ненапудренное лицо ее, пестрое от веснушек, медленно заливалось краской... И Ярцеву почему-то стало стыдно, что он так плохо думал о ней, о ее косметике; захотелось сказать ей что-нибудь хорошее, теплое, но помешал брат.

— Вот ты где, — воскликнул он, шумно врываясь в комнату, — за девочками ударился!.. Молодец... Но все-таки нужно ехать, а то опоздаем.

Ярцев встал:

— Прощайте!

— Счастливой дороги, — сказала Зуйкова.

Пожатие руки ее было слабое, женственное, и Ярцев с удивлением понял, что сегодня она совсем иная — проще и лучше...

Соловый конек бойкой рысью пустился по улице. Свернули в проулок, к погосту. Женщины, старухи, все с узелками в руках, шли проулком, и среди них важно шагал священник в старой зеленой епитрахили, лицом похожий на Бакунина.

— Куда это они?—спросил Ярцев, впервые после позавчерашнего вечера интересуюсь и женщинами, и попом.

— На кладбище, — ответил брат, — родителей поминать

— А узелки зачем?

— Как же... В узелках этих, брат, самая суть — угощение, покойников кормить.

— Каких покойников?

— Тетушек каких-нибудь, папашу с мамашей... Отслужат вот панихиду, попричитают, а потом разложат по могилкам кутью, ватрушки свои — и готово, можно итти...

— А ватрушки? — улыбаясь, спросил Ярцев, — так зря и пропадут?

— Зачем пропадать?.. Грачи слопают.

Брат, насмешливо щурясь, поглядел на Ярцева — ничего-то, дескать, управдел несчастный, не понимаешь... Но Ярцев не чувствовал уже к нему неприязни и при последних словах его невольно рассмеялся.

Нежданную умиротворенность принес этот смех. «Что ж, конечно, управдел», — подумал Ярцев... Грачи, как бы понимая, что тащат им покойницкую кутью, множествами носились, галдели над погостом, мелькая в небе распростертыми крыльями. Тесовый, окрашенный в голубую краску бок часовенки мелькал между березовыми стволами и напоминал беседку, затерянную в старом, запущенном парке... Ярцев смотрел на нее, на церковного сторожа, без шапки стоящего в воротах кладбища, и как-то грустно было расставаться со всем этим — и даже со школой, что плыла навстречу... При виде школы вспоминалось наивное позавчерашнее ожидание, что воскреснет, повторится былое. «Ох, как глупо!» — подумал Ярцев, и ему стало жарко от стыда, от детского, наивного смущения... Вот, позади лежит село Ладьино, — разве видел он, осудивший деревню, его скрытую по избам жизнь, его радости и печали всех этих соседок, наряжающих молодую, веселую, должно быть, бабенку в злые старушечьи платья и заставляющих ее «от стыда людского» нести кутью и ватрушки грачам?.. Он осудил (точно имея на это право!) Зуйкову, Ефремова, брата, — а разве сумел он увидеть их труд, и труд многих других, и плоды этого непомерного упорного труда?.. Ничего не видел, ничего не знал он, управдел, горожанин, одетый в хорошо сшитый городской костюм... Но и то малое, чем наполнены были последние дни, разве имеет что-нибудь общее с воспоминаниями о кадрилях да спектаклях?..

Легкая мимолетная враждебность ко всему, что погубило эти воспоминания, вспыхнула в душе Ярцева и тотчас погасла... Поля разноцветными полосами своими вдоль и поперек перекрывали холмы,

между холмами, по лощинкам, как дым, стлались кусты ольшанника. Теплый полевой ветер дул в лицо. Густой матовой синевой дышало небо. Ярцев, подобрав ноги, придерживая на коленях с'езжающий саквояж, трясся в неудобной одноколке и слабо улыбался грустной, умиротворенной улыбкой. И он твердо знал, чувствовал сейчас, что с большей еще нежностью и любовью, чем о юности своей, чем о Феничке, понесет он сквозь московскую свою и иную жизнь воспомина- ния о Ефремове с кудрями его и ватным пиджачком, о семилетней няньке, изнемогающей под тяжестью ночной колыбельной песни.. о грачах над березами погоста и об этом вот одиноком облаке, снежно- белым и темным только снизу, точно на дно его осел легчайший темный осадок.

Любегощи — Москва, 1927—1928 г.

Прощание казака

Из книги «Червоное казачество»

ДМ. ПЕТРОВСКИЙ

Сняв ружья с белого плеча стен,
Казак с казачкою прощался,
И там, где жизнью величался,
Где с жизнью в очи повстречался,
Встречал безмолвье словом тем,
Какое, отскочив от стен,
К ним не хотело возвращаться,
С ним не хотело расставаться,
И громко спорило: «Надень
И саблю, на, да не печалься!—

Тебя зарубят в ясный день»... —
И вновь хотелось поглядеть
На белых грудей-лебедей,
И вновь он припадал к их клювам,
К их красным клювам жадным ртом,
И усом трепетал: «Люблю вас»
С казацкой гордой простотой.

Могла ль она казаться грубой —
Мысль, что казак вернется трупом,
Она ж останется все той,
Все той же бабой полногрудой,
Да только—бедною вдовой.

Пойдет к обедне, за водой,
К соседу с небольшой услугой..
— Дай молвить слово!.. да постой!..
И очи жаркие, как уголь,
То потухали за золой
Ресниц, то искрами испуга
Мерцали, то горел огонь,
Его вздували будто губы.
Шептала нежное: «Не тронь!»...
А сердце било в груди бубен:
— «Казаченько, мой милый, любый!»...

Так вот она перед тобой
Лежит — Данилина долина,
Чтоб руки бурые, как конь,
По ней до гор, — до этих грудей,
До этой гордости нагой,
Скакали мимо берегов
И отражали очи друга,
Как лоно тихого Днепра,
Другие очи, — и упруго
Несли его... Так до утра,
Казак, в оружие одетый
Прощался и хотел ответа,
А может, просто ждал соседа, —
Со звоном сабли выходил,
Где конь вздыхал, всю ночь не кормлен,
И засыпал в корыто зерна,
Но больше в хату на порог
Уж не вступал: — с тем будет горе
Кто б той приметы не берег!..

Прощай, прощай, казачья хата!
Казачья песня, стон копыт...
Но, глядя вслед, нельзя и плакать,
А только воду можно пить.

У каждого крыльца, колодца
Есть дочь у деда-запорожца;
Он не выходит за порог, —
Хотелось с ветром ей бороться, —
Грудь подымалась под сорочкой,
Как враг укрытый за горой.
Еще измученная грудь,
Что памятью об'ятий ныла,
Тебя хотела бы вернуть,
Несметный есаул Данила...

Поэт и чернь

Повесть в 13 главах
С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1841-й год, май.

В преддверии Кавказа, в Георгиевске, на почтовой станции, одной из бесчисленных почтовых станций того времени, в просторной, низкой, грязной, прокуренной комнате сидит у стола с неубраным самоваром большеголовый, смуглый, низенький, широкоплечий, широкоглазый, худощекий, лет 26 — 27 на вид, с невнятными усами над красивым ртом офицер в армейском с красным воротом мундире и что-то пишет карандашом в тетрадке. Это — Лермонтов Михаил, поручик кавказского Тенгинского полка, небезызвестный в верхах обеих столиц и даже среди провинциальных барышен, которые вписывают в свои альбомы разные чувствительные стихи, стихотворец и автор «Героя нашего времени».

Поодаль от него двое его людей в черкесках и папахах, бородатые и медлительные, — Иван Вертюков — кучер и Иван Соколов — дорожный камердинер, — укладывают вещи в кожаные чемоданы.

Вот второй Иван распялил в руках кожаный плащ, сушившийся, высохший и скареженный, посмотрел укоризненно на окна и сказал:

— А кожаны, барин, пушай при вас остаются, — потому, кабы опять дождь не собрался...

— Что? Дождь?.. Опять дождь?

Поручик глядит на своих бородачей, приглядываясь, точно они какие-то новые и ему неизвестные, встает, подходит к окну. — Да, гнусно!.. Хотя дождя, кажется, нет.

— Однако сейчас, барин, польеть... Не успеем выехать, как польеть... У него задержки не будет!..

Это — первый Иван, кучер. Они оба чем-то похожи друг на друга, и мысли у них общие. Другой Иван считает, что нужно поворчать еще: на неустроенность, на длинную дорогу, а главное на дождь.

— Бисперечь дождь, бисперечь дождь... Сколько сутков едем, а он все за нами: все одно как нанялся!

— А в Шуре-то, в Шуре-то что будет! — поддразнивает обоих поручик. — Дыра, а не Шура!.. Аул чеченский!..

— Известно, — никаких русских удобств нет... Про-пасть! — и машет рукой безнадежно сначала один Иван, за ним тут же другой.

— А что, если махнуть прямо в Пятигорск, а? — предлагает вдруг Лермонтов оживленно и зачем-то быстро схватывает со стола и надевает фуражку.

— Несравнимо, барин! — оживляются и оба Ивана.

— Несравнимо?

— Известно!.. То все-таки ж город.. и мирный.. И барина Алексей Аркадьича именье поблизу...

— Как раз вот и Магденко, ротмистр, в Пятигорск едет!.. Эх!.. Можно бы в его коляске!..

Лермонтов нахмурил брови, по-детски выставил губы... Вот он метнулся к двери, от двери к окну, а оба Ивана следят за ним внимательно и подборматывают:

— Барин, видать, дюже хороший!.. Какой в Пятигорск-то едет...

— Барин согласный...

— Монго! Монго!.. Сюда! Скорей!.. Сию минуту! — кричит нетерпеливо Лермонтов в окно. Он делает движение выскочить в окно на двор, но отскакивает, — окошко узко и низко, — и, отскочив, мечется по комнате, как одержимый.

С надворья входят двое — капитан и ротмистр. Капитан — это Столыпин, Алексей Аркадьич. Он, собственно, двоюродный дядя Лермонтова, но они — однолетки, и в обществе принято считать их кузенами. Ротмистр Магденко толст и не так уж молод, — ему за тридцать, это — ремонтер, встреченный ими случайно, но Столыпин — красавец: прекрасная голова, высокий рост, важная осанка...

— Ты что тут? Горишь? — спрашивает он удивленно.

— Вот что, Монго, голубчик (и Лермонтов взбрасывает свои длинные руки ему на плечи)!.. Ну ее к чорту, Шуру!.. Едем в Пятигорск!..

— Что-о-о? Ты что мелешь?.. Я думал и в самом деле что!..

Это сказано так строго, что оба Ивана, один за другим, согнувшись, выходят, а низенький сутулый поручик резко вскидывает голову.

— Так, значит, в Шуру? Теперь? Весною?

— Что мы должны явиться туда к начальству, об этом и думать нечего: за нас подумали, — это есть в предписании... Оттуда, пожалуй, можем и в Пятигорск... Кстати, я давно не был в имении...

— Оттуда? Утешил!.. Оттуда!.. Чортом надо быть, чтобы вырваться!.. Будут ждать какого-нибудь похода в Чечню до ноября... а зимою — не велика сладость и Пятигорск!

У Магденки густой голос и трескучий кашель. Вынимая трубку изо рта, он говорит раздельно:

— Да тут, господа, вопрос только единственно в пятигорском коменданте... Если он разрешит остаться... на месяц, например... подлечиться...

— Вот! — радостно кричит Лермонтов. — Ильяшевич разрешит!.. Ильяшевич чтобы не разрешил?.. Монго!..

— Медицинское свидетельство надо... ты это знаешь?

— Доктор Майер даст!.. Что? Нету Майера? Доктор Ребров... Нет, не пойду к Реброву!.. Кто там еще? Барклай?

— Барклай — хороший врач... притом же он — военный...

Это звучит у Магденки так уверенно, как-будто свидетельство о болезни вот оно, здесь же рядом, — только протянуть руку.

— Монго! — вскрикивает радостно Лермонтов. — Итак, — в Пятигорск!

И он крутит Столыпина около себя, охватив его в поясе руками.

— Отвяжись ты!.. Отстань! — кричит тот.

— Голубчик Монго!.. Ведь тебе-то уж все равно, конечно!.. Ты ведь пока еще не служишь! Явиться в свой полк — такого приказа не получал!.. Из Петербурга Клейнмихелем не выслан!.. Какого же тебе чорта, скажи?

— Приказа не получал, но, раз зачисляюсь в полк, — обязан явиться, и всё! Считаю своим долгом!

— Да по-че-му?.. Почему «долгом»? Почему «обязан»?

— И всё!.. Отстань!

— Хочешь поскорее стать горцем, как Мартынов?.. Кстати, дорогой ротмистр, не знаете, Мартынов — майор — не в Пятигорске?.. Кажется, от Глебова слышал я, что он там.

— Как же!.. Майор Мартынов — фигура заметная... Он еще с марта месяца там...

И ротмистр выпускает из короткого, но весьма ноздреватого, носа чудовищный клуб дыму.

— Монго! Ты слышишь?.. И Мартышка, — Мартышка там!

— Велика радость!.. На что он мне?

— А Шура тебе на что?.. Да ты представляешь, что это такое?.. Ведь там не только книги, там женщины не увидишь!.. Ротмистр, голубчик, а Верзилины там?

— Где же им быть еще?.. И в полном сборе...

— Ты слышишь?.. Ледяшка ты, службист несчастный!.. Надежда!.. Не старше семнадцати!.. Я ей в январе перед самым отъездом из Пятигорска что-то такое в альбом писал... Груша!.. Прелесть!.. Мила, весела, добра бесконечно и уж просватана: это самое важное! За полковника Дикова.

Ротмистр снова обволакивается дымом с головы до ног и встывает грузно:

— Да ведь и третья, старшая, там теперь... «Роза Кавказа»...

— Ка-ак?.. Эми-лия?.. Я не знаком с нею, я видел только ее портрет... Но ведь это же красавица... если только не польстил подлец художник! Ты Монго, — тюлень ты!.. И если даже в нее не влюбишься...

Тут невысокий армейский поручик еще раз вертит стройного капитана и добавляет решительно:

— Кончено! Едем!

— Нисколько не кончено! — говорит тот запальчиво, и поручик, сильно сутулясь, начинает метаться по комнате и выкрикивать:

— Вот новости!.. Я и один поеду!.. Что ты мне, — дядька?.. Подумаешь, как много мы теряем!.. Я месяцем позже заработаю себе отставку, а ты месяцем позже будешь убит каким-нибудь мюридом!.. Только и всего!..

— Однако же вот ты не был убит мюридом!

— Сравнил!.. Сравнил тоже... То я, а то ты!.. У меня в Чечне дюжины две кровников осталось, да дюжины три кунаков!.. У меня и в Пятигорске кунак один есть: душ двадцать русских зарезал, — теперь мирный... Ах, ротмистр!.. Будем ехать с вами мимо озера одного, там я джигитовал, от трех чеченцев отбился... Карабахский конек у меня был, вороной,—стрела!.. Ранили потом беднягу в Чечне,—в ногу, пополам кость... Пришлось пристрелить...

Он подходит к Столыпину вплотную, смотрит на него умоляюще, кладет тихо на плечи его руки:

— Монго, голубчик!.. Буду вести себя примерно... чинно... Все мамыши своих собственных дочек выдадут мне похвальные листы за поведение, прилежание, успехи... Даже мадам Мерлини, мать ужасающе зрелой Зизи!.. Ротмистр, мадам Мерлини там?

— Там, а как же?.. Однако у вас полный Пятигорск знакомых!..

— Почти столько же, как в Москве... А ведь туда вот-вот с'едется вся Москва!.. И весь Петербург!.. А мы чтобы в Шуру?.. Бррр... Нет, я решительно не хочу туда ехать!..

А со двора, между тем, где запрягали лошадей ротмистра, все звенело и дребезжало колокольчиком и бубенцами... Подмывающие звуки!.. И как хороши они впереди тебя на той дороге, по какой хочется ехать!..

Отворилась дверь, — вошел ямщик ротмистра.

Он не снимает шляпы, он говорит последнее, что нужно:

— Готово, барин!

И еще не успевает как следует разглядеть его Магденко, как уже передергивается болезненной grimасой подвижное лицо армейского поручика, — он подскакивает к ямщику, выталкивает его в двери:

— Хорошо!.. Подожди там!—и снова к Столыпину:—Послушай!.. Зизи Мерлини я оставляю тебе!.. Я не буду даже кланяться ей... Ни ей, ни мамаше... И пусть обе ненавидят меня сколько угодно... Я уж получил от нее ругательное письмо и так хо-хо-тал!.. Вот что, Алексис, милый... Вот мой кошелек, а вот монета... полтина... Давай бросим на «орел-решетку»!.. Хочешь? Кинем жребий!.. Если «орел»—едем в Шуру на царскую службу, и чорт нас с'ешь!.. А «решетка» — тогда в Пятигорск! Согласен?.. Говори, — согласен?

— М-м-м, — поводит красивой, низко стриженной головой Столыпин.

— Не мычи и головой не болтай!.. Смотри: гадаю!.. Вызываю судьбу!

— Если «орел» — в Шуру? — спрашивает Столыпин.

— А если «решетка» — в Пятигорск!.. Ротмистр, помогите ему: он забудет!

— Чу-дак! — густо вставляет Магденко.

— Ну, хорошо, согласен! И выйдет «орел»! Только давай-ка я сам брошу!—Столыпин тянет к полтине руку, но отскакивает Лермонтов:

— Нет, нет! Я сам!

Он заметно волнуется. Он несколько раз подкидывает на ладони монету и вдруг решительно:

— Эх, чорт, — не выдай!.. Ну, гляди!

Подброшенная полтина катится в угол под стол, за нею бросается Лермонтов, приседая к полу, и вот из-под стола его ликующее:

— Решет-ка!

— Ты перевернул! Я заметил! — кричит Столыпин.

— Я? Перевернул?.. Ах, ты, свинья!

— Я видел!

— Ну, хорошо!.. Бросаю снова!.. И держи меня за руку!.. А я тебя!.. А ротмистр пусть смотрит... Ну!..

Тут он три раза быстро плюет на полтину, точно заклинание творит, и бросает, и хочет брбситься сам за монетой, но Столыпин обхватил его за шею.

— Ре-шет-ка! — кричит Магденко. — Можете смотреть!

— А что, Монго!?. Ага!.. Решетка! Ура!.. Мне везет, как всегда везло! В Пятигорск! В Пятигорск!

И невысокий сутулый поручик так сдавил в радостных объятиях своего родственника, что тот кричит отбиваясь:

— Задушишь! Чорт! Пусти!

Бросив его, поворачивается сияющий счастливец к Магденке:

— Ротмистр!.. Всю дорогу, — с самой Москвы, — всю дорогу вас именно я ждал, и вы явились!.. В этой Шуре ни одной книги, кроме «Приказов по полку»... Позвольте пожать вашу руку!

Но от пожатия этой с виду тонкой, почти женской, руки вытаращил глаза и вот уже вопит толстый ротмистр:

— Ой! Что вы! Ой!.. Стойте!.. Разве же можно так?

И машет выпущенной рукой и дует на нее, как на обожженную:

— Кончено! Даже пальцы слиплись!

— Тридцать кровников имею!..

— Хвастай, хвастай больше, — ворчит Столыпин.

— И скорее убавил, чем прибавил!

А Магденко удивленно пробует прощупать левой рукой бицепсы Лермонтова и бормочет:

— Нет, серьезно... Поэтому вы — при силке!.. А так, на-глаз, незаметно...

— В школе из шомполов веревки вил!.. — и захлопал поручик Тенгинского полка в радостные ладоши: — Эй, Иван!.. Другой Иван!.. Ямщик — борода кубышкой! Где вы там?..

Отворяет двери ногой, и входит осторожно ямщик:

— Прикажете садиться?

— Слушай, друг, борода кубышкой!.. Мы — в коляске вместе с твоим барином в Пятигорск!

— Слушаю... Стало быть, оказалось, оно вам по дороге...

— В Пятигорск!

— Слушаю... Оно, спору нет, куда веселее будет моему барину...

— Слыхали вы, черкесы? В Шуру не едем, — чорт с ней! — В Пятигорск!

— Вот спасибо, барин, дай бог здоровья! — говорит Иван Вертюков.

— Вот уж уважили! — добавляет Иван Соколов, и оба, довольно ловко распахивая руками полы черкесок, звучно падают на колени и кланяются счастливому поэту в ноги.

Поэт хохочет, подымая их:

— Монго! Видал таких? Знают, где раки зимуют!

— В Пятигорск, так в Пятигорск, — примиренно говорит Монго, — если только тебя не вытурят оттуда в 24 часа... Ну, что же, ямщик, братец, давай смотрителя сюда: пусть подорожную напишет...

— Пойти сказать, — когда такое дело...

А Лермонтов своим Иванам:

— Ну, черкесы, тащи чемоданы в коляску!.. А сами приедете с вещами следом.. Спросите там гостиницу Найтаки!.. Най-та-ки, — поняли? Армянин такой... Или грек... Най-та-ки!

— Поняли... Как не понять?! Очень вашей милостью довольны...

И, начиная возбужденно метаться по комнате, выкрикивает поэт:

— Там и Эмили, Эмили тоже там!.. «Роза Кавказа»!.. Нет, Монго! Она действительно красавица, вот увидишь!.. Корзиница пепельных волос на голове, и глаза синие!.. Мои глаза!

Он потирает в восторге руки, а толстый Магденко добродушно подмигивает на него Столыпину.

В окна начинают бить первые капли крупного дождя.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В те далекие годы хоть сколько-нибудь сносных частных гостиниц не было в Пятигорске: были заезжие дворы с комнатами для «чистых» приезжих, и единственная гостиница Найтаки была, собственно, казенной, — Найтаки только арендовал ее. В этом двухэтажном доме наверху по обе стороны коридора тянулись комнаты, внизу помещалась «ресторация», где давались даже иногда балы.

На другой день в одном из номеров этой гостиницы ярчайшее солнце, поднявшись, увидело всех трех офицеров — Лермонтова, Столыпина, Магденко — за столом с картами в руках, при чем первые двое были уже в домашних шелковых архалуках, — Лермонтов в темно-зеленом, подпоясанном плетеным золотым поясом. Он, этот вчерашний

счастливцев, имеет теперь усталый, недовольный вид, то-и-дело прикладываясь к черешневому чубуку длинной, до полу, трубки.

Вот он встает, наконец, и бросает карты.

— Довольно!.. Проигрался в пух!.. И очень рад, что выиграли вы, ротмистр, а не мой милый Монго, который... и вообще-то играет отвратительно, а теперь совсем спит и еле дышит... Это сколько же я... Рублей... полтора ста с чем-то вам пристроил? Не беда!.. Зато, благодаря вам, я в Пятигорске!.. А вы, мой милый, закажете себе новый сюртук на эти деньги,—правда? А то ваш этот страшно засален...

— Ну, Мишель, это уж, поверь, глупо! — морщит красивое лицо Столыпин.

Магденко же смотрит на поручика в зеленом халате больше с любопытством, чем с досадою, и тянет густо и сипло:

— Чу-у-дак!

— И поверьте мне, — продолжает проигравший, прильнувши к нему неотрывными большими, воспаленными, с покрасневшими веками, глазами, — этот мир все-таки самый лучший из всех, мне известных: другие гораздо хуже!.. Здесь, по крайней мере, ясное правило: не везет в карты, значит, будет везти в любви... А это — самое главное!.. Вы же, несчастный, получайте деньги: десять, десять, десять... четвертная... сотенная... И какая-то еще мелочь, — вот считайте... А сюртук вы можете заказать у Альянаки, грека, — он хороший портной...

— Чу-у-дак! — попрежнему сипло тянет Магденко, принимая деньги, и кашляет громко.

— Анисовых капель каких-нибудь купите, — сочувственно говорит поручик, — и вообще полечитесь от кашля, чорт вас возьми!.. Нельзя же так в порядочном обществе, как из мортиры, все время бухать!

Он подымается быстро, отставляет трубку, делает несколько выпадов руками в сторону важно сидящего Столыпина и говорит удивленно:

— Нет, какова может быть живучесть, а? Ну, не досадно ль?.. Кажется, уж до костей промоchило, пока ехали, — дальше некуда!.. Ну, думаю, слава богу, схвачу ревматизм!.. Ни чер-та!.. Ужасно досадно!

— Я же вам говорю, что вы отлично устроитесь, — гудит Магденко, приглаживая щеткой круглую голову, начавшую лысеть. — Была охота тоже ревматизмом болеть!.. На что вам тогда и Пятигорск, если ревматизм схватите!.. Как-будто воды эти и в самом деле кому-нибудь помогают!

— Злодей!.. Так вы находите — болеть ревматизмом и в Шуре можно?

— Решительно где угодно... Досужие выдумки лекарей эти воды... а нашему брату, конечно, на руку...

— Монго, ты слышишь? Все готов отрицать, злодей, даже воды!.. Вот что значит, когда везет в карты!

Стройный, точно приготовленный для монумента, Столыпин тянется, закинув за голову руки, и говорит лениво:

— Ну, что же, — посылай-ка в самом деле за Мартыновым, Мишель!.. Или ты раздумал?

— Человек! Эй, — кричит, подскакивая к двери, Мишель: — Позови хозяина, живо!

Найтаки как раз проходил по коридору. Он вошел суетливо:

— А сто, гаспада? Ссёт?

Ему лет сорок. Он низок, широк и одет затейливо. Большой нос и маленькие глазки.

— Нет, не счет, а...

Найтаки подымает голову, часто мигая веками, потом наклоняет ее и глазки делает очень веселыми и говорит, перебивая поручика, но тихо:

— Знаю!.. Догадался!

— О чем он там догадался? Какой хитрый на голову!.. Погоди, не спеши в Лепеши, попадешь в Сандыри!.. Майора Мартынова знаешь? Высокий такой... Горцем одет...

Найтаки прижал голову к левому плечу, губы сделал презрительными:

— Псс!.. Кого Найтаки не знает?.. Кагда приезжий офицер, — где останавливаеця? — Най-та-ки!

— Чудесно!.. Достань нам его немедленно!.. Можешь?

Найтаки подымает голову, часто мигает веками и бормочет:

— Кра-си-вый такой!.. бешмете ходит!.. Бо-ро-да!.. Папаха белая!..

Он подвигается к окну, чтобы определить точно, в какую сторону посылать ему человека за Мартыновым, и вдруг радостно хватается Лермонтова за рукав халата:

— Вот он сам гаспадин. Мартинов идет!.. А это за ним стацки — Васильзик — князь!

— Где? Где? — и кинулись к окну все трое.

— Мартышка!.. Мар-тыш-ка-а! — кричит Лермонтов.

Столыпин тоже делает руки рупором и кричит:

— Мар-ты-но-ов!

— Услышал! — говорит Магденко.

— Услышал!.. Узнал!.. Сюда, сюда! Мар-тыш-ка-а!.. Идет!..

— Князь Васильчиков, мне говорили, — юнец очень чванный, — просипел Магденко, а Лермонтов подхватил оживленно:

— Он такой: э-э-э... ня-я... ня-я... бя-я!.. Губку жует... Но так, должно быть, и полагается сыновьям председателей комитета министров... А он тут зачем, Натайки? От чего лечится?.. Или он, кажется, здесь на службе?

Найтаки очень хитро щурит глаза и подымает палец:

— Гуляет!.. Па-гу-лял адин месис—син один палусил!.. Па-гу-лял ессё адин месис,—ессё адин син палусил!..

— Ого, Натайки, молодчина!.. Так за два месяца два чина?.. Ну, иди, встречай!.. Пришли, кстати, еще стульев!

Найтаки поднимает голову и выходит бочком, как пони.

— Ну, вот, сразу вы и нашли, кого искали, — весело гудит Магденко Лермонтову, набивая новую трубку.

— Каково? А?.. Необыкновенно мне... повезло!..

И даже как-будто озадачен этим несколько смуглый большеголовый человек в зеленом шелковом халате.

— А я уж воспользуюсь случаем да пойду, — сипит Магденко. — Надо же мне ремонт свой провести!.. Ведь четырнадцать голов... и дождь такой был... А то как бы не обрадовать Борисоглебский свой полк...

— Да они недолго будут, — тогда и пойдем вместе... А есть такие, что поглядеть стоит? — спрашивает Столыпин.

— За двух жеребцов по тысяче отдал... с аттестатами... Кровей высоких... А бабки какие!.. Вот увидите!

— Ну, удивил!.. Монго, сколько я дал за того, в Царском купил... кажется, полторы тысячи... нет, — больше... у генерала Цейдлера купил...

— Ну, вот, — топáют... Идут! — перебил Столыпин.

Отворяя дверь в номер из коридора, Найтаки пропускает Мартынова и кн. Васильчикова. Оба — высокого роста. Васильчиков — в щегольском штатском костюме, Мартынов — в белом бешмете с засученными рукавами и в белой папахе; у пояса спереди огромный кинжал с серебряной рукоятью. Окладистая молодая русая борода; глаза светлые; немного вздернутый нос. Держится он так, как-будто со всех сторон разглядывают его в бинокли. Ему лет двадцать пять, — Васильчиков года на три моложе; лицо у него озабоченно-туповатое, длинное. Он здоровается со всеми чинно, и когда Лермонтов представляет ему ротмистра, окидывает того очень рассеянным взглядом. С Мартыновым Лермонтов и Столыпин целуются, как давние товарищи.

— А я не совсем ясно разглядел сначала... да и трудно узнать в халатах, — говорит Мартынов, не улыбаясь.

Голос у него глухой. Голова бритая.

Лермонтов мечется, расставляя стулья.

— Садитесь!.. Садитесь же, князь!.. А я... Где же стулья?.. Найтаки!.. А я ехал в Шуру, да простудился, заболел, — все мой ревматизм застарелый. Думаю здесь отдохнуть с недельку... А Столыпин позавидовал моим лаврам и хочет опять в полк.

— Вот как!.. Столыпин, в какой? — любопытствовал Мартынов.

— Да в Нижегородский драгунский, куда же тут больше?.. Хотел прямо в Шуру, да вот грешник этот...

И Столыпин посмотрел на своего двоюродного племянника очень задумчиво.

— Мартынов, а мы в Мишково заезжали, к Глебову, — очень оживленно заговорил Лермонтов. — Он уже молодцом, с палкой ходит... Хотели его с собой взять, вцепился в него отец всеми пятью зубами, какие у него остались... А сестра у него милая, только хромает бедняжка. Положительно, рикошет: брата в ногу ранили, — ничего, а сестра захромала... из сочувствия!

— Э-э... мня... Михаил... Юрьевич, вы все острите!.. И в вашей трубке... ння... чертовски крепкий табак!—поморщился кн. Васильчиков.

И, кивая на него Магденке, Лермонтов подхватил, весь искрясь:

— Я ведь вам говорил, ротмистр, что князь... такого крепкого табаку не любит!.. Мы вот с ротмистром из Георгиевской под дождем целый день ехали... Промокли, как судаки кубанские, — насили обсохли... Бывал я, Мартынов, у твоих... познакомился там, между прочим, с князем Мещерским... Все у тебя там дома благополучно, как говорит-ся... Сестры твои...

— Письма не привез? — живо перебивает Мартынов.

— Нет. Денег тоже... Но обещали тебе написать по почте, — на днях получишь. Не доверяют мне больше, — конец!.. Не могут забыть, что у меня украли их письма к тебе года три назад!.. Думают, кажется, что они и не украдены даже!

Мартынов делает возмущенное движение обеими руками (стараясь в то же время сделать его как можно более пластичным), а Лермонтов вдруг начинает хохотать:

— Ничего, я ведь не обижаюсь!.. Ха-ха-ха!..—И, поймав на себе широкий взгляд Столыпина, спрашивает поспешно:—Скажи,—говорят, приехала «Роза Кавказа» — Эмили Верзилина?.. То-есть, она, конечно, не Верзилина... от первого мужа мадам Верзилиной... полковника... Я решительно забыл его немецкую фамилию!

— Э-э... Клингенберг, — подсказывает Васильчиков.

И Мартынов, очень внимательно, исподлобья глядящий на поэта, говорит глухо:

— Да, она здесь.

Человек внес стулья.

— А вина?—крикнул Лермонтов.—Почему же никто не дает вина?

— Э-э... ння... Здесь очень плохое вино... Этим пахнет... э-э... бурдюком... — морщился кн. Васильчиков. — И мы уже пили с Мартыновым... по стакану... красного... А белое здесь возмути-тельно!

— Вы, князь, здесь, кажется, по служебным делам?.. По части ревизии? — вставляет в разговор ротмистр.

— Э, да-а... Я — в распоряжении сенатора... барона Гана...

Найтаки, между тем, догадливо улыбаясь, появляется торжественно с двумя бутылками вина.

— Красное? — спрашивает поэт.

— Адин красный, адин белый!

— Белый назад! Давай красный!.. Живешь на свете лет сорок и не знаешь, что князь пьет только красное, а белое презирает.

Найтаки скрывается, а князю кажется это ни с чем несообразным — пить вино утром:

— Но ведь мы же шли сейчас... э-э... к мадам Верзилиной! — говорит он.

— Неужели? — подхватывает Лермонтов. — Возьмите и нас!.. И мы с вами!.. Мы оденемся мигом!

— А нельзя ли раньше найти здесь квартиру, чтобы не на этом сквозняке? — вставляет Столыпин. — Ты где живешь, Мартынов?

— У Челяева... в доме на улице.

— У него же есть флигель, он не свободен? — быстро спросил поэт.

— Свободен.

— Сейчас же еду туда и найму его на все лето! — очень весело вскрикивает поэт.

А Мартынов спрашивает глухо и медленно:

— Зачем же тебе на все лето? Ты ведь только на неделю сюда?

— Ах, не понимает!.. Нога у меня!.. Хромаю, как сестра Глебова... А как вы находите Эмили, князь?.. У нее пепельные волосы, очень пышные, и синие глаза, — так?

— Волосы, да... но глаза... э-э... я не сказал бы, что они — синие... Они светлее, чем синие...

— Может быть, это еще лучше... А ты, Мартышка, говорили мне, верный рыцарь Надежды Петровны?.. Я, представь, не помню даже, когда мы начали говорить друг другу «ты»... С юнкерской школы, конечно... А потом этот Кавказ! Роднит людей!.. Не зря был, говорят, колыбелью человечества... Ты не обиделся, что я крикнул тебе в окно «Мартышка»?.. Это, конечно, явный вздор! Какой же ты «Мартышка»?.. Ты — красавец!.. И положительно ты похож на горца... Монтаньяр, — правда, князь? Вы уж познакомились с настоящими горными горцами? Они точно так же начисто бреют головы...

Очень внимательно, тяжело и как-то глухо, как его голос, смотрит на Лермонтова Мартынов.

Между тем, Найтаки приносит еще вина и стаканы.

— О, нет!.. Мы сейчас идем! — пугается Васильчиков и встает.

— Да, пойдете, — подымается и Мартынов.

— Ка-ак?!.. — вскрикивает поручик Тенгинского полка. — Может быть, князю вредно, он — рябчик, но чтобы мы с тобой, Мартышка, не выпили по стакану этого пятигорского яду при встрече?!. Что ты!..

Быстро налитый Лермонтовым стакан Мартынов берет медленно и говорит так же медленно и неожиданно весело:

— Вот что: выпьем на «вы»!

На момент Лермонтов как-будто озадачен: это для него какой-то непредвиденный ход, но прошел момент, и он уже хохочет весело.

— Нет, каков?.. Он бывает иногда остроумен!.. Итак, пьем на «вы»!

Свой стакан он выпивает, не отрываясь, как воду, и, видя, что Мартынов отпил только половину, говорит возбужденно:

— Нет-с! Надо до дна!.. Чтобы было «вы», так «вы»!.. А то будет ни два ни полтора!..

И, когда Мартынов берет снова стакан и допивает, поэт заканчивает весело:

— Ну, вот!.. Теперь будем твердо с тобою помнить: вы!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Дом наказного атамана кавказских казачьих войск Верзилина был в то время одним из лучших домов в Пятигорске. Верзилины жили здесь постоянно и обставили его так, что он казался помещичьим домом средней руки.

В обширной гостиной, где на фоне голубых обоев мерцают тускло бронзовые бра и портреты в золоченом багете, под которыми чинный ряд массивных кресел в чехлах, по углам неизбежные фикусы в кадках, и между стеной и камином столь же неизбежный рояль, возле стола с вязаньем в руках сидит Аграфена Петровна — дочь генерала Верзилина от первого брака, около нее Марья Ивановна Верзилина, рыхлая, но еще не старая женщина, полная, белая, лет 43-х и еще склонная молодиться, а около рояля, изящно изогнувшись над его крышкой, что-то пишет в альбом Надежды Петровны Мартынов, и она стоит рядом с ним, держа бронзовую чернильницу в руках.

А против Марьи Ивановны и Аграфены Петровны сидит Васильчиков и говорит, очень растягивая слова:

— Я... э-э... должен сказать, мало знаком с Лермонтовым, чтобы... мя... окончательно осудить или окончательно оправдать... Он какой-то, по-моему, э-э... неожиданный!.. Да, вот настоящее слово: — неожиданный! Ни-когда нельзя быть уверенным, что он не выкинет... э-э... как это говорится, — козла... Почему это так говорится: козла?.. Очень смешно!.. Так вот, — им в Петер-бурге, конечно, инте-ресо-вались эту зиму... мя... очень... Вдруг, на балу у графини Воронцовой-Дашковой что-то он себе позволил... э-э-э... словом, какая-то странная дерзость... Главное, вы представьте: разжалованный в пехоту армейскую и явился на бал, где высочайшие особы... Михаил Павлович был, великий князь... э-э, странно, зачем рисковать?.. В результате всего, шеф жан-дармов был против того, ня-я... чтобы отсрочить отпуск... А уж если Бенкендорф против него, то-о, разумеется, Клейнмихель, градо-начальник, приказал ему... выехать сюда, к месту службы... в полк... Но он что-то очень медленно спешил... Вы знаете сами, сколько времени я здесь, а он ведь... э-э... куда раньше меня выехал!.. Поверьте, — так он только раздражит еще больше государя...

— Что вы таких страхов насажали, Александр Ларионыч?.. И неужели же это все правда? — качает скорбно головой Марья Ивановна, и колышется ее розовый двойной подбородок. — Ведь раз уж его помиловал государь, авось и теперь!

— Я не говорю: не помилует... Отчего же?.. Но он... э-э... при его связях... все-таки же есть у Арсеньевой, его бабки, связи... мог бы получить это гораздо скорее... мя... За него хлопотали со всех сторон... Его могли бы простить весной... Но-о... весна, знаете ли, петербургская... балы... э-э... ничего не вышло...

Эмилия, очень пышноволосяя, белокурая, высокая для женского роста, с гордым постановом головы, лет уже 24-х, не моложе,

вызывающе красивая, входит с книжкой «Отечественных Записок» в руках и говорит гневно:

— Мама! Этот коротышка Карп совсем не умеет вертеть мороженого! А Кузьма, конечно, священнодействует на кухне и неприступен!

— Ну, вот!.. Радуйтесь — веселитесь!.. А Луша что же?

— Наконец, пришла Луша и что-то там такое налаживает.

— Ну, и, авось, наладит... Представь, Эмили, Александр-то Ларионыч, что говорит!.. Трудно даже и ожидать, чтобы Лермонтова скоро помиловал государь!.. Он опять что-то набедокурил в Петербурге!

— Ах, мама, ну какое же мне до него дело?—и у Эмили удивленно-высоко вспархивают очень правильные крылья бровей.

— Не-ет, приди только он, я его пожурю!.. Я надеялась его уж этим летом опять лейб-гусаром видеть, а он... Утешил, нечего сказать!..

В это время там, около рояля, молоденькая Надежда Петровна, принимая свой альбом из рук Мартынова, вся вспыхивает и говорит восхищенно и громко:

— Прекрасно! Мерси!.. Мне очень нравится, очень!..

Она, кажется, хочет пожать руку Мартынова, но в правой руке у нее тяжелая бронзовая чернильница... Мартынов берет эту чернильницу и ставит на подоконник. Рука ее так и остается протянутой, а сама она недоумевающе смотрит на Мартынова.

— Ка-кая же ты рассеянная, Надин! — улыбается Марья Ивановна. — Ну, читай уж и нам, что там тебе написали!

— Нет! Нет! — совсем раздумывается Надин. — Этого нельзя читать вслух!.. Только это гораздо лучше того, что Лермонтов написал... В тысячу раз лучше!

— А что написал вам Лермонтов, — это можно прочесть? — любопытствует Васильчиков.

— О-о, это?..

Надин презрительно поводит плечами, торопливо листает свой альбом, находит и читает совсем без выражения:

Надежда Петровна,
Зачем так неровно
Разобран ваш ряд?
И локон небрежный
Над шейкою нежной...
На поясе нож...
C'est un vers qui cloche.

— Вот и все!.. А еще называется — известный поэт!

— Да... э-э... скуповато... Всего только семь, кажется, строчек?

— Разве дело в строчках? Дело в том, какие строчки!.. А в этих ничего ровно нет! — сердится Надин.

— Да-а, конечно... И в седьмой насмешка над первыми шестью... ння...

— Позвольте! Звонят! Они! — вскакивает вдруг Аграфена Петровна, бросая вязанье.

— Звонят? Разве?.. А где же Карп? — заволновалась Марья Ивановна.

— Или это мне показалось? — все еще прислушиваясь, бормочет Аграфена Петровна.

— Это по улице на волах едут, скрипят, — догадывается Эмилия.

А Мартынов, ставши очень прямо и обе руки на рукоять кинжала, заговорил вдруг по-своему глухо, но с нажимом:

— Да вот хотя бы сегодня в номере у Найтаки... к чему это было? Что за странные выходки?.. Нет, я серьезно вполне пил с ним на «вы»... И буду говорить ему «вы», предупреждаю... Он и всегда-то был, говоря мягко, странен, а уж теперь... Остается только развести руками!

— Да, конечно, э-э, его губит слава!.. Все говорят, что он очень быстро в славу вошел.. ння... и очень рано... В Петербурге этой зимой была на него по-ло-жительно мо-да!

— Однако мне-то до этого какое же дело, скажите?.. При чем же тут я?

Поза Мартынова теперь безукоризненна, хоть в сорок биноклей, никто не найдет в ней изъяна: он удивленно негодует, и он прекрасно сложен.

Только резкий звонок заставляет его изменить эту позу, и снова вскрикивают женщины, и денщик Карп — действительно коротышка, — в туфлях, неслышно, но проворно, бежит отворять парадную дверь, и входит Лермонтов в новом белом кителе без эполет. Он очень весел.

— Здравствуйте! Не ждали? — говорит он, целуя руку Верзилиной. — Так всегда бывает... Тем и жизнь красна: не ждешь, а получаешь!

И едва успевает он поздороваться с Аграфеной и Надин, как говорит с материнской гордостью в голосе Марья Ивановна:

— А это — моя старшая — Эмили!

Коротко, но значительно оглядев друг друга, как два опытных борца, здороваются Лермонтов и Эмилия, последняя с чопорным и нескрываемо разочарованным видом.

— Мы очень рады, Мишель! — говорит Верзилина, колыша подбородком. — Вот сюда, поближе ко мне, садитесь, говорите... Хо-ро-ош, нечего сказать! А я-то так надеялась его опять лейб-гусаром увидеть!

— Ку-уда там! И не надейтесь! Теперь уж я окончательно падший ангел! Скоро и эту шкурку с себя спущу: это я приехал отставку себе заработать! — говорит весело поэт.

— Ну, что это вы, Мишель! — пугается женщина. — И хоть бы когда что-нибудь серьезно сказал!

— Вполне серьезно!.. Нет, вы сами подумайте, что же это за карьера военная: ар-мей-ский поручик!?. Вон, Мартынов моложе меня, а как меня обогнал!.. Как черепаха Ахиллеса, если поверить какому-то

мудрецу... А уж я ли не стремился его догнать!.. Ни-че-го не выходит! То лейб-гусар, то просто гусар-прапорщик, то гродненский гусар, то опять лейб-гусар, то, наконец, пехотный армейский поручик! Перпетуум мобиле!.. Белка в колесе!.. Сизифов труд!.. Кончено, брошу! И чем, скажите, плохо сидит штатский костюм на Александре Ларионыче? Авовь, и мне портной угодит...

— Ни за что не поверю, чтоб вы расстались с мундиром военным! — пылко за всех женщин отзывается на это Аграфена Петровна.

— И я не верю!.. И не понимаю даже! — поддерживает ее мать. — Вот же ваш кузен Столыпин опять поступает из отставки, я слышала!.. А отчего он не зашел, кстати?

— Он просил меня извиниться за него... Он и недалеко, придет попозже. Пошел смотреть флигель Чельева, бывший ваш...

— Так вы будете жить вместе с ними вот?.. Это — прекрасно!.. — искренно радуется Марья Ивановна, а Эмилия Александровна вставляет (голос у нее грудной):

— Кстати там просторные конюшни для ваших лошадей.

— А вы любите верховую езду? — живо спрашивает поэт.

— О, да!.. Очень!

— Лихой наездник!.. Настоящая амазонка! — восхищенно вставляет мать.

— А, так?.. Ну, тогда мы часто будем устраивать кавалькады! — решает поэт.

— Гм... А как же ваш полк... э-э... Тенгинский, кажется, если не ошибаюсь? — спрашивается Васильчиков.

— Не ошибаетесь, нет... Тенгинский... Ничего, что ж... Он подождет, пока я поправлюсь... от своего ревматизма.

— Не-уж-то схватили? — пугается Марья Ивановна.

— Ужасный!.. А вы не заметили, как я хромаю? — Но тут Лермонтов видит книжку журнала в руках Эмилии и изумлен приятно: — А-а, знакомый журнал!

— Вас тут очень ругают, — замечает Эмилия.

— Вы шутите, — улыбается ей он. — В этом журнале я печатаюсь, поэтому тут меня хвалят.

— Вот как?.. А мне показалось... Впрочем, я до конца не дочитала.

— Помните, Мишель, вы декламировали нам «Демона»!.. Вы его где напечатали? — спрашивает Марья Ивановна.

— На-пе-ча-тать?.. Целиком?.. Свят-свят-свят!.. Плохо же вы знаете нашу цензуру, Марья Ивановна!

— Почему же не напечатали?.. Это так красиво!

— Нужно, чтоб было цензурно, а не красиво!.. Ходит по рукам в списках...

— А за «Героя нашего времени» много вам заплатили? — спрашивает Аграфена Петровна.

— Издатели — народ прижимистый, трухменская царица! От них много не получишь! — шутит поэт.

Он зовет ее трухменской царицей потому, что просватана она за трухменского исправника, полковника Дикова.

— Это — очень скучная тема! Давайте лучше говорить о кавалькадах! Вы умеете устраивать кавалькады, чтобы не было скучно? — спрашивает Эмилия.

— Я?.. Постараюсь! — чуть подымается на кресле Лермонтов. — Но вот майор Мартынов знает, какой я был и есть плохой ездок... Посадка у меня скверная, «ногу в пятку» тянул я отвратительно... Вы помните, Мартынов?

— Да, фронтовик вы были плохой, — согласился Мартынов.

— Вот именно... Фронтовик плохой... А так, вне фронта и правил я могу скакать, как любой кубанский казак... Прошу это иметь в виду!

— И вообще ведь вы, Мишель, были большой мастер устраивать всякие пикники и кавалькады, — не правда ли?

Лермонтов быстро взглядывает на Эмилию:

— Вы слышите? Большой мастер! — и благодарно на Марью Ивановну: — Вы очень добры ко мне, Марья Ивановна! И когда я вас вижу, мне все хочется на что-нибудь пожаловаться вам, и никак не могу найти... Вот, разве на ревматизм...

— И то — ваша выдумка!.. Нисколько вы не хромаете!.. Вы просто — плохой сын своего отечества!

— Я и не «Сын Отечества», я «Вестник Европы!» — бойко замечает поэт. — И еще бы я вам хромал, когда сижу!.. Это можно сделать только вместе с креслом.

Тут он пробует раскачать кресло и вскакивает.

— Нет!.. Прочная работа!.. Ну, разобью же его сейчас, когда так!.. Смотрите!

Он быстро приседает на колени и одною рукою за ножку снизу подымает и плавно опускает кресло.

— Ах, Мишель! — вскрикивает Верзилина. — Вы остались такой же куролес, какой были!.. Видно, сколько вас ни знаменить...

— Ха-ха-ха!.. «Знаменить»!.. Это в роде хохлацкого свяченого поросенка жареного... Освятил его на пасху хохол вместе с куличами, а он и выскользнул, да прямо в лужи!.. «От, каже, бісова скотыняка!.. Святи его не святи, а він усе в болото лізе!..».

— Вот и всегда он так, — глядя на Эмилию, говорит Марья Ивановна. — Только бедокурит и куролесит, куролесит и бедокурит!.. Не знаю уж, когда это он свои серьезные стихи сочиняет!

— По ночам, — быстро отвечает поэт.

— А когда же вы спите? — удивляется Аграфена.

— По утрам!

— А когда же вы...

— Устройте веселую кавалькаду? — перебивает Эмилия.

— Веселых кавалькад не бывает... бывают только веселые люди...

А веселые люди — это люди с талантом... А таких не так много...

— А вот стихи ваши невеселые!

— Как? Скучные?.. Больше не буду писать стихов!

— Нет, они не скучные... Они грустные!

Лермонтов глядит на Эмилию удивленно и внимательно и, подымаясь, склоняет к ней голову.

— Это самое лучшее мнение, какое я слышал о своих стихах!— Но тут же он замечает на себе тяжелый взгляд Мартынова и говорит: — А вот мой друг Мартынов, кажется, очень недоволен моим приходом!

— Вот уж не знаю, почему именно это вам кажется! — пожимает плечами Мартынов.

— Он сидит насупясь, и страшно молчит!

— Страшно?.. Я ведь вообще не из говорливых, — делает попытку улыбнуться Мартынов.

— Сейчас он мне написал стихи, и несравненно лучше, чем вы мне написали! Несравненно! — несдержанно выпаливает юная Надежда.

— Надин! — укоризненно качает головой Марья Ивановна, а Лермонтов отзывается весело.

— Вот видите!.. Я всегда подозревал за ним это!.. Я писал вам стихи в январе, за что и наказан, а пылающий Мартынов выбрал для этого занятия полдневный жар!.. И Луша очень кстати несет мороженое, чтобы его охладить!..

Действительно, горничная Луша вносила в гостиную большой поднос с мороженым.

— Все та же Луша... Здравствуй, Луша!

Луша помнит веселого поручика, и, обнося гостей мороженым, улыбается ему во весь полнозубый рот.

Со своим блюдечком мороженого подходит к Мартынову поэт.

— Ну-ка, Мартынов, давай теперь чокнемся мороженым на «ты»!

— Нет, это — невозможный человек! — высоко подымает плечи Мартынов, не забывая все-таки сделать это так, чтобы и этот жест был красив.

Но Верзилина на стороне поэта.

— Чокайтесь, чокайтесь! — приказывает она. — Нечего тут разводить ссоры какие-то, да еще в моем доме!

— А разве мы ссорились? — спрашивает Мартынов и глядит исподлобья.

— Я жду! — высоко подымает свое блюдечко поэт.

Эмилия топает ногою.

— Да чокайтесь же!

И, точно повинувшись этому грудному и властному голосу, Мартынов сближает свое блюдечко с блюдечком Лермонтова.

— Готово!

— Не так!.. Поменяемся!.. Я тебе свое, ты мне свое! — И, поменявшись, добавляет весело поэт: — Типер кушай, яхши урус, — кунак с тобой будим!

Больше всех это нравится простодушной, круглолицой Аграфене Петровне. Она так звонко хлопает в ладоши, что Лермонтов ставит

свое блюдечко, бросается к ней, хватая ее за кисти рук и начинает кружить по гостиной, пока она не кричит, наконец: — «Ой, не могу больше!»—и не падает на диван. А Лермонтов тут же подходит к Надежде, которая прячет руки за спину:

— Надин! Где же ваш изумительный пояс с кинжалом?

Юная Надежда несколько неприязненно качает головой, зардевшись:

— Чем же он изумительный?.. Самый обыкновенный!.. Вот он!— И со стула за роялем берет серебряный кованный пояс с кинжалчиком. — Я даже могу его надеть и на это платье!

— Мишель! — зовет Верзилина. — Прочитайте-ка нам свои новые стихи!

— Да, непременно, непременно! — поддерживает мачеху толстушка Аграфена.

Но, глотая мороженое, говорит Лермонтов Эмили:

— Ка-кие хит-рые!.. Они будут есть мороженое, а я им читай стихи!

Это сказано так заразительно весело, что даже важничавший и молчаливо наблюдающий его Васильчиков вдруг начинает смеяться.

— Прочитайте! Я никогда не слышала, как вы читаете свои стихи! — тоном приказания говорит Эмилия.

И Лермонтов, отставив свое блюдечко, выходит на середину гостиной.

— Только вот что: я должен, читая, смотреть на кого-нибудь неотрывно, иначе непременно собьюсь!

— На меня смотрите, на меня! — предлагает застенчиво Аграфена.

— Пожалуй, можете смотреть на меня! — разрешает Надежда, приладившая к тонкой талии свой горский пояс.

— На меня! — приказывает Эмилия.

— Хорошо! — быстро говорит ей поэт. — Я буду смотреть на вас!.. Я прочитаю «Любовь мертвеца»... Вам не страшно?

— «Любовь мертвеца»?.. Очень странно!.. Я слушаю.

— Не страшно?

— Ничуть.

— Ну, слушайте!

Пускай холодною землею
Засыпан я,
О, друг, всегда, везде с тобою
Любовь моя!

Любви безумного томленья,
Жилец могил,
В стране покоя и забвенья
Я не забыл.

Без страха в час последней муки
Покинув свет,

Отрады ждал я от разлуки,—
Разлуки нет!

Я видел прелесть бестелесных
И тосковал,
Что образ твой в чертах небесных
Не узнавал.

Что мне сиянье божьей власти
И рай святой?
Я перенес земные страсти
Туда с собой...

Ласкаю я мечту родную,
Всегда одну,
Желаю, плачу и ревную,
Как в старину...

Коснется ль чуждое дыханье
Твоих ланит,
Душа моя в немом страданьи
Вся задрожит!

Случится ль, шепчешь, засыпая,
Ты о другом,
Твои слова текут, пылая,
По мне одним!

Ты не должна любить другого,
Нет, не должна!
Ты мертвецу святыней слова
Обручена!

Увы, твой страх, твои томленья,
К чему оне?
Знай, что покоя и забвенья
Не надо мне!

Отрубивши последние слова, поэт, все время глядевший только на Эмилию, спрашивает ее вполголоса:

— Не страшно?

И так же вполголоса отвечает ему Эмилия:

— Чуть-чуть.

И только после этого со всех сторон раздаются аплодисменты, и выделяется твердый отчетливый голос Мартынова:

— Браво, Мишель!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Прошла неделя.

Госпитальный врач Барклай-де-Толли дал Лермонтову свидетельство о болезни; старый пятигорский комендант, полковник Ильященко, разрешил ему остаться здесь для лечения. Живя всего через сад от дома Верзилиных, Лермонтов стал ежедневным их гостем.

Передобеденное время. Та же гостиная, но в ней никого, кроме Лермонтова и Эмили. От солнечных лучей окна полуприкрыты

плотными занавесками, и в большой комнате затененность и прохлада. Эмилия играет на рояле из Моцарта; играет она хорошо, и когда кончает, растроганно говорит поэт:

— Эмили!.. Вы это так задушевно играли, — я часами мог бы вас слушать. Я так люблю музыку, как-будто она и не на земле вовсе...

Он начинает ходить по комнате в большом волнении и, остановившись перед девушкой почти вплотную, продолжает тихо:

— Я помню: моя мать вот так же играла на рояле и пела, а мне было тогда около трех лет, и я слушал... Я это ясно помню... Я не помню только, что это была за песня, какую она пела, но если бы... если бы теперь мне кто-нибудь пропел, — только бы начал, — я бы непременно вспомнил.

И голос его звучит даже как-то робко, когда он заканчивает почти шепотом:

— Может быть, вы, Эмили?

Но Эмили, чуть заметно отодвигая тонкий и гибкий стан, качает головой, улыбаясь:

— Не знаю, о какой это песне вы говорите?

Очень внимателен и очень серьезен взгляд больших глаз поэта, когда продолжает он о своем тайном:

— Я всегда настораживаюсь, если где-нибудь поет женщина: не услышу ли еще раз, что хотел бы услышать... И... нет, никогда не слышал: все песни были не те!

Взгляд Эмили теперь ласков: она глядит на него, как старшая на младшего и декламирует негромко:

Душа поселилась в твореньи ином,
Но чужд был ей мир... Об одном
Она все мечтала: о звуках святых,
Не помня значения их...

— Откуда вы это знаете? — удивляется поэт. — Эту строфу я выкинул из «Ангела»... В книжке ее нет...

— Вот как?.. Выкинули?.. Разве?.. Значит, я это видела в чем-то альбоме.

— Да, я ее выкинул... Мне она показалась лишней... Когда я писал это, мне было шестнадцать лет...

— Только шестнадцать!.. Мишель!.. Вам это удалось, как никому!

— Удалось?.. Вы это серьезно?.. Я никогда этого не знаю... Мне все мое кажется неудачным... даже мои остроты, сколько бы им ни смеялись... У меня есть мечта, знаете ли, Эмили?.. Мечта, о которой я говорил... кое-с-кем в литературе... даже с пустым графом Сологубом, автором «Большого света», где он почтил мою особу весьма нелестным вниманием... мечта знаете ли о чем?.. О своем журнале!.. Это так увлекательно — свой журнал!.. Правда?..

— Журнал?.. Мне кажется, у нас завелось уже много журналов...

— Много?.. Что вы, Эмили!.. Их почти нет, и они очень плохи... У меня так много задумано!.. Ах, мне бы только заработать себе отставку!.. Снять мундир, который меня буквально душит!

Он берет левой рукой ворот своего кителя, дергает и обрывает крючок.

— Мишель! — почти испуганно вскрикивает Эмилия. — Что вы?.. Как «снять мундир»?.. И носить это противное штатское платье, — в полоску, — в клеточку?

— Вы думаете мне оно не пойдет? — отступая от нее на шаг, уже насмешливо, как всегда, спрашивает Лермонтов.

— Кому же оно идет? — искренно изумляется она.

— О, вы — военная косточка!

— Вот, князь Ксандр, — он в штатском, — горячо говорит она. — Не передадите ему, надеюсь, — но до чего же он просто смешон иногда... и жалок!... Да, — жалок и смешон!

— Это потому ли, что он в штатском?

— Потому!.. Именно потому!.. Поверьте, если бы Пушкин, поэт; носил гусарский, например, мундир, как его брат, — он был бы... ну, во всяком случае, приличен.

— Как?.. Даже Пушкин?.. А он был еще такой щеголь!

— Я не видала его, но мне передавали, что он... был очень похож на обезьяну!

— Эмили, Эмили!.. Вы просто повторяете то, что говорили после его смерти всевозможные Хвостовы и Хитрово!

— Они, во-первых, не «всевозможные»!

— Однако, одна из них мне памятна очень!... Некая Анна Михайловна Хитрово!

— А-а; Анна Михайловна!.. Мне говорили, — она поднесла ваши стихи государю с припиской: — «Это ли не призыв к революции?». И в результате вас сослали на Кавказ!.. Шуку бросили в реку!.. Разве меня кто-нибудь сослал на Кавказ?.. А я нахожу, что здесь прекрас-но!.. И что же вы потеряли из-за вашей ссылки? Ведь вы тоже любите Кавказ!.. Кто это писал стихи:

Как сладкую песню отчизны моей
Люблю я Кавказ!

Не вы ли?

— Это тоже писал я когда-то, очень давно... Откуда вы это взяли? Тоже из чьего-то альбома? — удивляется поэт.

— Если это не было напечатано, значит, из альбома... И какой бы вы были великий поэт без Кавказа?.. Вы просто кавказский поэт, но... великий!

— Это вы зпять-таки из альбома?

Но Эмилия старается не расслышать насмешки, она говорит вкрадчиво:

— И неправда ли, хорошо, что благодаря вашей ссылке мы с вами встретились?

— Хорошо! — отвечает он живо. — Да, только это и хорошо... Но быть поручиком и поэтом в одно и то же время, — это невозможно. Эмили, поймите!

— Для кого-нибудь другого, быть может, но для вас, Мишель... Для вас это было возможно и будет возможно!

— Вы находите?.. Почему?

— «По-че-му»!.. Да потому просто, что вы — Лермонтов!.. Кто до вас написал «Героя нашего времени»?.. Однако вы написали его не в штатском фраке!

— Большой частью в домашнем архалуке... иногда в рубахе...

Эмилия подхватывает быстро:

— Вы любите вышитые рубахи?.. Я вам вышью, — хорошо?... Сама!.. Вам будет итти красная канаусовая: — вы — такой глубокий брюнет... Вышить?

— Вы очень добры ко мне! — благодарно наклоняет голову поэт. — Я очень люблю красные рубахи!

— Но откуда же, — мне все хочется спросить, — взялся у вас, брюнета, такой белокурый локон надо лбом?.. — спрашивает вдруг Эмилия и тихо доканчивает: — мне можно до него дотронуться?

— Это моя метка, чтобы не подменили, — улыбается он. — Может быть, вы думаете, что он приклеен?

И, почти прислонясь к Эмили, он наклоняет голову.

Разбирая пальцами его белокурую прядь волос, говорит восторженно Эмилия:

— Какая у вас могучая голова, Мишель!.. Это — голова гения!

Лермонтов слишком близок губами к ее локтю, чтобы не поцеловать его украдкой, но в это время отворяется дверь и входит мадам Верзилина с роскошным букетом роз.

— Музици-руешь, Эмили? — говорит она томно. — Посмотрите, какие дивные у нас розы, Мишель!

Откачнувшись, недовольно отзывается Лермонтов:

— Будто дивные?.. Пятигорские розы — особенные: они совсем не пахнут, хотя и красивы!

На что Верзилина возражает горячее, чем надо, ставя розы на стол:

— Нет, нет!.. Не оскорбляйте наш Пятигорск!.. Пахнут!.. И прекрасно пахнут!.. Только это — чайные розы... У них очень тонкий, ари-сто-кратический запах...

И тут же хозяйственно:

— Мишель, вы у нас обедаете сегодня.

Однако Лермонтов недоволен. Он даже не пытается этого скрыть. Он говорит, отвернувшись к окну:

— Нет, к сожалению... Я обещал уж обедать сегодня у... у кого-то другого!..

— У кого? — лукаво спрашивает Эмилия.

— Он даже и сам не знает у кого! — поддерживает ее мать.

— Как же не знаю?.. Отлично знаю!

И сам на себя зол, что никого не может придумать.

— Нет, у нас, у нас! — настаивает Эмилия.

— Но я ведь обещал уже... генеральше Мерлини!

— Мерлини? — И, зная, что поэт ее ненавидит, как и она поэта, жирным смехом заливаются Марья Ивановна, хлопая себя по бедрам:

— Ха-ха-ха!.. Проказер!

— Вот!.. Еще одно новое слово! — отмечает вслух поэт.

— Не выпускай его, Эмили!.. Займи его музыкой... Да и до обеда осталось не больше часу!

И когда уходит она, наклоняется к нему с лукавой улыбкой Эмилия:

— Ну, что вам еще сыграть?.. Хотите полонез Шопена?.. Это самое новое...

Поэт еще смотрит нахмуренно, но она уже села за клавиши и вдруг бурно начинает играть «Polonaise» Op. 40, № 1, A-dur.

Когда она кончает, хлопает в ладоши Лермонтов:

— Браво, Эмили!.. Это у вас вышло с большим под'емом!.. И, вы знаете, ведь Шопен еще молод!.. Сколькo он может создать еще!

— А сколько может создать еще Лермонтов! — правдиво-восторженно говорит она, не вставая из-за рояля. — Ведь он, кажется, еще моложе!

Однако Лермонтов улыбается грустно.

— Нет, я не напишу много, — тихо говорит он. — Моя муза капризна... И она часто мне изменяет... И мне все кажется, что она скоро меня покинет... Или я ее, — что в общем одно и то же...

И будто во внезапном порыве говорит Эмилия:

— Мишель!.. Хотите, я буду ваша муза?

— Вы, Эмили?

— Я!

— Вы очень добры ко мне, Эмили!.. Я очень тронут!—говорит поэт и, бегло взглядывая на двери, целует корзину ее пепельных волос.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В комнате майора Мартынова в этот вечер, правда, дождливый, ненастный, они сидели вдвоем — Лермонтов и Мартынов. Мартынов позировал (как всегда), а Лермонтов рисовал его карандашом на картоне, и уже перенесена была на картон бойкою рукою поэта лихо сидящая на бритом черепе белая папаха майора, сбоку освещенная лампой, когда вспомнил важную новость «горец»:

— А знаешь, — совсем из ума вон, — от Глебова письмо пришло утром: приезжает сюда не сегодня-завтра.

— А-а! — отзывается весело Лермонтов. — Значит, все-таки поправился... настолько, чтобы начать лечиться... здешними водами, разумеется... Ты отца его не видал?

— Нет... Я ведь в Мишкове не был.

— Огнедышащий!.. Борода, как у кучера... Большой любитель пороть голых баб на конюшне... Порет собственноручно.

Мартынов считает нужным заступиться за Глебова-отца.

— Последнее тебе говорили, должно быть... Мало ли что говорят? Про Столыпиных, твоих родственников, то же самое говорят.

— У них это тоже в роду, — быстро соглашается Лермонтов. — Подыми немного голову... Много!.. Вот так... Да ты — красавец! Безукоризненно правильное лицо... Только есть такое длинное слово. не-о-духо-творенное!.. Застыло! Ты, конечно, должен нравиться женщинам... Женщины особенно любят именно такие изваяния: прочно, положительно и неизменно!.. Ты из полка ушел из-за женщины?

— Ничуть!.. Кто тебе сказал это? — возмущился, но так, чтобы не портить позы, Мартынов.

— Кажется, кто-то как-будто говорил... Или это моя личная догадка... Из-за чего же больше?.. При таких-то успехах по службе, как у тебя!.. Моя бабушка была бы в восторге, если бы я пошел так же в гору, как ты!

— А, кстати, сколько лет твоей бабушке?.. Я помню, как она, бывало, приезжала в школу и полковнику Гельмерсену говорила: «ты, батюшка»...

— Стара!.. Очень стара!.. Позволь-ка мне твои газыри франтовские!.. Восемьдесят один... или даже два... Но еще крепка... Ты не обижайся, если я по старой привычке назову тебя «Мартышкой»!

— Но это ты делаешь в обществе! — сердито вдруг говорит Мартынов и добавляет недоуменно: — Что меня даже удивляет немало!

— Плати мне тою же монетой! Ты думаешь, я обижусь?

— Что? Звать тебя «Маёшкой», что ли? Очень весело!

— Вот ведь ты заважничал как!.. И стихов своих мне никогда не прочитаешь, злодей!.. Мне говорили, что у тебя есть целая поэма «Аул Герзель»... А как тебе нравится Надин Верзилина? Правда, она на тебя молится?

— А чем ты очаровал Эмили? Она о тебе только и говорит!

Лермонтов хмурится.

— Эта «Роза Кавказа» без запаха, — говорит он зло, — думает, кажется, что я — единственный наследник своей бабушки!.. Далеко нет!.. Она ошибается!

— Разве нет?.. А я ведь сказал там так, как и сам слышал... Жаль, — нечаянно ввел в заблуждение!..

Лермонтов отодвигает картон на вытянутую руку, бегло сверяет его с оригиналом и вдруг говорит оживленно:

— А какую карикатуру на тебя можно нарисовать! Заглядень!..

И тут же, вынимая из кармана записную книжку, начинает чертить в ней энергично карандашом.

— Значит, я тебе больше не нужен? — встает Мартынов и кричит в двери: — Ермош-ка!

Одетый казачком мальчишка лет шестнадцати, Ермошка, крепостной человек Мартынова, вбегает с разинутым ртом:

— А!

— Не «а», а «что прикажете»... Я тебя двадцать раз учил, болвана! — сердчает майор.

— Я, барин, все понимаю! Ей-богу, правда! — улыбается виновато Ермошка. — Только, как вы крикнули сразу, я спугался и сразу забыл!

— Спишь все?.. Вот кто, кажется, и на ходу спать может!.. Возьми самовар, подогрей!

Ермошка стремительно стаскивает самовар со стола, при этом нечаянно задевает и отвертывает кран и вода из самовара обливает отставленный к стене рисунок Лермонтова.

— Ох, родимец! — вскрикивает Ермошка.

— Т-ты, злодей! — вскакивает поэт.

И, поглядев испуганно на своего барина, Ермошка стремительно убегает с самоваром, а Мартынов:

— Ка-ак? Облил рисунок?.. Он у меня сейчас обольется, подлец!

И уже ринулся за Ермошкой в переднюю, — Лермонтов удержал его за рукав бешмета.

— Что ты!.. Ведь это — карандаш!.. Высохнет!

— Да ты и не знаешь, что это за скотина!.. Ведь он нарочно представляется дураком!

— Уверю тебя, что это дурак природный!.. Какая же ему выгода представляться?

— А не покоробится? Ничего? — очень озабоченно рассматривает свой портрет Мартынов.

— Лучше посмотри вот: «Триумфальный в'езд майора Мартынова в Пятигорск!» — весело протягивает ему свою записную книжку поэт. — Видишь, — изо всех дверей выскакивают изумительные красавицы ему навстречу, а он — на буланом коне с булатным кинжалом.

То раздражение, которое вспыхнуло в Мартынове против Ермошки, сжалось и пошло в другом направлении.

Он смотрит на рисунок и говорит медленно и зло, и даже значительно:

— Я бы тоже, пожалуй, мог изобразить, как в одном приличном московском доме поручика Лермонтова вышла провожать на лестницу порядочная вполне девушка, а он... захохотал ей в лицо без всякой причины и выскочил, даже не простясь с ней!

Лермонтов быстро вырывает листок из своей книжки и говорит весело:

— Нарисуй!.. Нарисуй, если можешь!.. И неужели я так обидел тогда твою сестру Натали?

— Понятие об обиде свое у всякого... Еще я тебе хотел сказать... Тут Мартынов делает над собой усилие и кончает совсем не так, как хотел:

— Пишет Глебов, будто и Трубецкой собирается с ним сюда.

— Серж Трубецкой? — удивляется Лермонтов. — Зачем? Тоже лечиться? Алкивиад... без гражданских подвигов!

— Почему Алкивиад?

— Как же!.. Отрубил среди бела дня хвост у чьей-то легавой собаки на Арбате... Палашом! Серьезно! При мне дело было!

— У тебя всякий чем-нибудь да смешон, — нахмуренно говорит Мартынов. — Всякого вышучивать, — долго не проживешь.

— О, жизнелюбец! — весело вскрикивает поэт. — А тебе непременно хочется, чтобы долго?.. Ты — очень доволен землею, и земля очень довольна тобой, но это — тоска... чего ты не в состоянии понять!.. Умирать надобно во-время, как во-время надо траву на сено косить, а то перестоится... А сено-перестой и лошади не едят.

— То-есть, без загадок, — как это во-время умирать?

— Например, так, чтобы о твоей смерти лет сто потом люди жалели! Это и будет как раз во-время... Ну, вот еще раз тебя увековечил, посмотри-ка!

Мартынов берет рисунок, разглядывает и говорит безулыбочно:

— Этот в папаше, по-твоему, я, что ли?.. А кто же эта малютка?

— Ах, боже мой! Конечно, Надин!.. Вот же, видишь, у нее тоже кинжальчик!.. Это ты об'ясняешься ей в любви, а вот из двери — глаз, — видишь? Недреманное материнское око.

Разглядевши этот глаз, говорит Мартынов, улыбаясь:

— Ты бойко рисуешь!

— Как? — удивляется Лермонтов. — И ты даже не обижен, злодей?.. Для чего же я старался?

— Если карикатура на меня не идет дальше моей комнаты... — начинает было Мартынов, но тут стремительно с самоваром в руках вбегает казачок Ермошка и кричит во всю силу горла:

— Ба-рин!.. Гости к нам!.. Идут, ей-богу!.. Трое офицерей!..

— Да «офицеров» же, дурак!.. Сколько раз тебе говорить!

И Мартынов отворяет дверь и кричит вниз на лестницу:

— Сюда! Сюда, господа!

А снизу с лестницы слышится веселый, звонкий голос Льва Сергеевича Пушкина:

— И лестница темная! Глебов! Свети своими насквозь простреленными глазами!

— Как? Глебов?.. Уже здесь?

Он берет со стола лампу и идет с нею к двери, а ему вполборота возбужденно Мартынов:

— И Трубецкой!

— И Пушкин! — доносится голос Пушкина. — За-бы-ли Пуш-ки-на?

Мартынов в дверях пропускает Пушкина, здороваясь с ним, и он первым появляется в комнате, этот белокурый, хотя и очень похожий по облику на покойного брата, только ниже его ростом, в мундире майора, «Левушка», как зовут его обыкновенно в светских

гостиных, и тут же напускается на растерянно торчащего Ермошку, кивая на Лермонтова с лампой:

— Возьми же, братец, у барина лампу, — экий ты обормот!

— Этот? — пугается Лермонтов. — Он ее сейчас же хлопнет об пол, — пожару наделает!..

Он ставит лампу на стол, и, когда целуется с Пушкиным, Глебовым и Трубецким, Ермошка, крадучись, выскальзывает вон и гремит по лестнице сапогами.

— Вот как это мило, — столько сразу! — говорит между тем Мартынов. — Где же вы с'ехались?

— В Орле! — степенно говорит огромный кавалергард Глебов, опирающийся на палку.

— Варлэ слышно! — подхватывает лениво сырой, рано начавший полнеть корнет гвардии князь Трубецкой, повторяя известный каламбур того времени о громкоголосой певице Варле.

И дальше говорят все, перебивая один другого, очень беспорядочно, как всегда бывает в таких случаях, когда в тесную комнату входит сразу несколько человек гостей.

— Остановились у Найтаки и прямо сюда!

— Хорошо «прямо»!.. Колесили, чертыхались, тонули в лужах!..

— И когда же это в Пятигорске заведутся извозчики?!

— Каким образом ты-то здесь, Мишель? — спрашивает Глебов. — Ведь ты в Шуру ехал!

— Ревматизм разыгрался, — хромаю!

— А где Васильчиков Ксандр? — ищет глазами Мартынова Трубецкой. — У меня там ему передача.

— Ермошка! — кричит в двери Мартынов. — Куда же Ермошка пропал?..

— Мишель! Твоя кузина Катишь Быховец едет в Пятигорск, — радуйся! — сообщает Глебов.

— Васильчиков тут, со мной рядом, — отвечает Трубецкому Мартынов, — только сейчас дома нет... Ермошка!

— И Нина Обыдёнова едет, — говорит Лермонтову Пушкин. — Только тут очень кисло: генерал-папа справа, ведьма-мама слева, — зубами не отдерешь!

— С этими незнаком я, — улыбается Лермонтов.

— Разве? Познакомлю! Не вредно!

— Юнкер Бенкендорф едет! — возглашает Трубецкой.

— Неужели и Бенкендорф? — подымает руки Лермонтов. —

Я зарезан!..

— Почему? Чем?

— Эта фамилия наводит на меня сплин!

— Помилуйте! — утешает его Пушкин. — Сын, что же он такое? Он даже и годами не ровня своему папаше! Не старше девятнадцати!

— У тебя здесь уютно, Мартынов, — говорит Глебов.

— Переселяйся ко мне, если хочешь, — предлагает Мартынов.— Ермошка!

— А я и вовсе давно уж тут стою! — высовывает голову в двери Ермошка.

— Погоди, я тебя!.. Стаканов принеси еще!.. Живо!.. Ну, как нога, Глебов? Молодцом?

— На лестницу этого молодца я на себе тащил! — вставляет Пушкин.

— Что, отпустил палаш? — спрашивает Лермонтов Трубецкого.

— Палаш? А что?

— Да тут, видишь ли, тоже попадаютса иногда собачки легавые!

— Все остришь! — толкает его локтем Трубецкой. — А где же все-таки Васильчиков?

— Порхает, как всякий рябчик... пока не подстрелят.

Пушкин берет набросанный Лермонтовым портрет Мартынова:

— Ого!.. Он?.. Похож... Но-о... весьма сердит!

— Почему же мы с ним сегодня и дома, — объясняет Мартынов.

— А Столыпин в Шуре? — спрашивает Глебов.

— И Столыпин здесь.

— Магнит! — хохочет Пушкин. — Машук — это магнитная гора, о чем не знает горный департамент!.. Кого угодно притянет!

— Ма-шу-ха!.. Не зря ее так наши казаки зовут, — поддерживает Лермонтов.

В это время с подносом, на котором стаканы, входит в комнату Ермошка, и когда он проходит мимо стоящих гостей Мартынова (сидит только Глебов), Лермонтов толкает локтем поднос, и стаканы падают на пол.

— Авария! — кричит Пушкин.

— Я ведь говорил, что разобьет! — Он не может без этого, — объясняет ему Лермонтов, и тут же Мартынову:

— Ничего, не сердчай!.. Пусть у меня возьмет!

Переводя глаза с Лермонтова на Ермошку, говорит сдержанно-зло своему казачку Мартынов:

— Подбери, дурак... и пошел вон!

— Эх!.. Ей-богу, барин, это меня господа толкнули. — жалуется, подбирая стекло, Ермошка и уходит, вобравши голову в плечи.

— Садитесь, господа! — говорит Мартынов. — А то и в самом деле ведь толчея! Комната небольшая, а малый—совершенный дурак!

— Ты убедился, что природный? — спрашивает Лермонтов.

— Я кое в чем давно уж убедился,—сердито отвечает Мартынов.

— Вертелся я в литературных кругах перед приездом сюда, — любовно говорит Лермонтову Левушка. — Только и разговоров, что о вас!.. Какие надежды на вас возлагают, если б вы знали!

— Кто? Надеждин?.. — быстро спрашивает поэт. — Брачного венца и чужих надежд я боюсь одинаково и хотел бы, чтобы их на меня не возлагали! Заранее не желаю оправдывать ничьих надежд!

— Позвольте!.. Но когда дело доходит до того, что даже Булгарин Фаддей, столько крови испортивший моему брату Саше, когда даже он вас расхвалил, как никогда никого, в «Северной Пчеле»...

— Ха-ха-ха! — раскатисто и срыву хохочет поэт.

— Нет, — да вы читали ли? От вас дожدهшься, что и не прочитае. Написал, что ваш «Печорин» — лучший роман во всей русской литературе! Сел-де читать его, чтобы покрепче выругать, да вместо того просидел над ним целую ночь и перечитал два раза!.. Это — такой крокодил, как Булгарин!

— О, если бы моя бабушка, которая весьма догадлива, послала бы ему не пятьсот рублей ассигнациями, а, например, тысячу серебром! — весь искрясь злою веселостью, неприятным резким голосом крикнул поэт. — Тогда бы я оказался гением, конечно, и ничуть не ниже Шекспира!.. А если бы две тысячи?.. Этот отзыв куплен, как покупается все на свете: красивые женщины, и слава, и лошади, и друзья, и... новые стаканы!.. И только один Мартынов мне говорил, что очень доволен землею, и земля им взаимно!

В это время Ермошка вновь вносит на подносе три стакана и смотрит на него с осторожностью, и, заметив это, весело заканчивает Лермонтов:

— Не бойся, природный, — я своих собственных стаканов не бью!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Лунная ночь.

В ресторации Найтаки гремит военный оркестр: там «бал по подписке», танцевальный вечер, устроенный местными военными семьями для своих девиц.

Не так далеко от гостиницы, в тополевой аллее, освещенные круглой сильной луной, сидят Лермонтов и Эмилия. И сама Верзилина и младшая дочь ее видели, как они уходили с бала вдвоем, но это вошло уже в обиход их жизни: оставлять иногда Эмилию, которой пора уже «устроить свое счастье», наедине с поэтом.

От тополей по широкой аллее черные полосы теней, и очень отчетливо отгравированы вверху чуткие листья и тонкие ветки.

— И вам не жаль, Эмили, что вы так рано ушли с такого веселого бала? — говорит Лермонтов.

— Веселых балов не бывает, — отвечает Эмилия, — а люди бывают нужные и ненужные... Самый нужный человек для меня вы... и вы со мной.

— Это очень хорошо сказано, Эмили... Вы очень добры ко мне... А вы не боитесь, что нас узнает кто-нибудь вот так, тет-а-тет, кто-нибудь из наших общих знакомых?.. Может быть, пересядем вон на ту скамейку в тень? — тихо говорит Лермонтов, держа ее руку, тонкую в запястьи.

— Нет, я этого не боюсь... Мишель! Я хотела сказать вам, почему вы стали как-то натянуты со мной последние два дня?.. И начали говорить какими-то все общими фразами...

— Эмили!.. Что вы!.. Я столько танцевал с вами сегодня!.. Никогда и ни с кем не танцевал я с таким наслаждением!.. Ка-кая у вас талия, Эмили... Что это, кажется, капает с деревьев?.. Посмотрите, и земля сырая!.. Это не будет вредно вашим бальным туфлям?

— Нет... Вы что теперь пишете?

— Все собираюсь... Каждый день собираюсь, и все некогда писать!

— Смотрите, вы должны давать отчет своей музе — мне!.. И когда вы напишете новую «Княжну Мери»...

— Однако вы до сих пор не вышили мне красной рубахи!.. Ведь вы обещались!.. Или вы забыли?

— Да!.. Вы думаете, это так скоро — вышить рубаху!.. Напротив, — это очень долго...

— Что же, скорее, вы думаете, пишутся романы?..

И помолчав немного, он добавляет весело:

— А Мартынов сегодня был совершенно ослепителен в своем новом белом бешмете с золотыми газырями... не правда ли?

— Я как-то даже не заметила ни золотых его газырей, ни того, что бешмет новый... Разве новый?

— В том-то и дело!.. И при свечах, при оранжевом свете, голова его бритая казалась совершенно синей...

— Я не заметила, говорю вам!.. Мишель!.. Вы только затем привели меня сюда, чтобы говорить со мной о бешмете Мартынова?

— Разве это я?.. Мне показалось, что это вам хотелось вырваться оттуда на свежий воздух!.. — живо возразил поэт. — Вы даже сказали мне, кажется, что у вас болит голова... или я не расслышал?

— Нет, я этого не сказала!

— Значит, мне показалось!.. Но зачем же нам как-будто о чем-то спорить?

И, взяв ее за другую руку, он говорит ей тихо:

— Вы изумительно танцуете, Эмили!.. И ка-кая у вас гибкая талия

— Это вы говорили уже мне сегодня сто раз!.. Сюда идут!

И она подымается-было, но садится снова, удержанная им за руку.

Действительно, из боковой аллеи сюда, на главную, выходят трое в штатском. Они идут очень нетвердой походкой и пытаются запеть что-то пьяными голосами.

— В столь по-оздний ча-ас... — начинает один тенором.

— Когда луна-а, — пытается подхватить другой басом.

— Сия-я-яет! — пробует скрепить третий сиплой октавой.

— Боже мой!.. Это — пьяные! — вскрикивает Эмилия и снова хочет встать и бежать куда-то.

— Не бойтесь! Что вы! — удерживает ее поэт.

— Мадемуазель, не б-бойтесь! — наклоняется в сторону скамейки ближайший из пьяных, но от легкого толчка Лермонтова отшатывается и отбрасывает собою двух остальных.

— Од-на-ко! — удивляется едва устоявший третий, обладатель октавы.

— Кто?.. Офи-цер? — любопытствует бас.

— Зачем же... настолько грубо? — спрашивает тенор.

Но уходят они поспешнее, чем подходили, и только шагах в двадцати тенор снова пытается запеть: «В столь по-оздний ча-ас»...

— Кто же это такие? — едва успокаивается Эмилия. — А что, если они тоже с бала?

— Стоит ли тратить на них слова?.. Им кажется, что они очень мило проводят время!.. Притом же они — в штатском... то-есть, по-вашему, едва ли даже люди!..

— Вот видите, Мишель! — живо подхватывает Эмилия. — Они увидели, что вы — офицер, и испугались!.. Трое одного!.. А вы говорили, что хотите выйти в отставку!

— Значит, быть офицером всю жизнь только затем, чтобы пугать пьяных?.. Эмили, Эмили!.. Тогда уж лучше сделаться квартальным!

Он нежно погладил ее руки и добавил:

— Как я все-таки чувствую, что неспособен сделать такой блестящей карьеры, как ваш отчим!.. Куда мне грешному!.. Я безнадежен!.. Поручик армии — это мой предельный чин... как для вчера приехавшего фон-Зельмица — ротмистр.

— Почему же так?.. Что вы? — не верит Эмилия.

— Разжалуют опять в прапорщики или даже в рядовые, как Полежаева... и только дослужусь до поручика, — опять разжалуют... Чувствую!

Но она горячо возражает:

— При том уме, который все признают за вами, Мишель, как будто это не от вас зависит — сделать карьеру!

— А разве так нужен ум, чтобы стать генералом?.. Напротив, чем меньше ума, тем лучше, но нужны средства... А средств у меня нет. Правда, моя бабушка довольно богата, но нас несколько у нее... наследников...

— Как несколько? — изумляется Эмилия.

— Притом же у меня, как всем известно, ужасный нрав, — продолжает он, спеша. — Я могу чем-нибудь оскорбить ее перед смертью, и кончено: она лишит меня наследства.

— Ну, вот пустяки какие, Мишель!.. Зачем же вам ее оскорблять? И вы этого не сделаете, конечно!.. Ведь вы ее любите?

— Она заботилась обо мне, как самая добрая мать!

— Ну, вот... Значит, вы ее любите и не захотите ее обидеть... Вы ее любите?

— Она была ко мне всегда так нежна!

— Отвечайте же на мой вопрос, Мишель: любите?

— А разве он что-нибудь значит, этот вопрос?

— Да! Я вижу, наконец, что правду мне говорят о вас со всех сторон, — растерянно говорит Эмилия, — а я ошиблась!.. Я позорно ошиблась!

И она порывисто встает со скамейки, вырывая руки.

— Зачем же вы встали, Эмили? — медленно и негромко говорит поэт, снова находя свою рукою ее руку. — Посидим еще. Очень прозрачная ночь!.. А потом я вас провожу домой...

— Я не хочу домой!.. Я пойду туда... на бал!.. Он еще не скоро окончится... Не понимаю, зачем вы меня увели оттуда!.. Там было куда веселее!..

И она порывается итти, но поэт удерживает ее за руку.

— Посидим еще немного, — так же медленно и негромко говорит он, — а потом я вас провожу на бал.

— Я не боюсь и одна!

— Нет, все-таки... могут попасться пьяные... Сегодня по случаю воскресенья и бала пьян целый Пятигорск.

— Я не боюсь пьяных!.. Мне теперь страшен только один человек: вы!

— Как, Эмили?.. Я, я?

— Да! Вы!.. Вы!...

— Вот видите, Эмили! — говорит он скорбно. — И вы еще будете говорить, пожалуй, что я вас чем-нибудь оскорбил!.. И вы еще не верили, что совершенно точно так же, как вас теперь, я могу оскорбить свою милую бабушку, которой уже восемьдесят слишком лет и у которой я — единственный... радостный луч в жизни! Она недавно прислала мне письмо... Она пишет уже через двое очков, но сама... Она писала: «Благословляю тебя и плачу!»...

— О чем же плачет? — недоумевает Эмилия.

— Не знаю!.. Всегда найдется, о чем поплакать с таким внуком, как я!..

Из ресторации Найтаки доносится гулкая музыка.

— Это еще не мазурка!.. Мы еще придем к мазурке! — торопится Эмилия. — Вставайте же!

— Всегда можно успеть притти к своей мазурке!.. Ваша мамá и сестры видели, как мы уходили, и беспокоиться не будут... Конечно, новый белый бешмет Мартынова очень красив (газыри особенно), но-о...

— При чем же тут этот несчастный бешмет Мартынова, не понимаю!

— И огромный кинжал с золотой рукоятью!

— Я иду!.. Я пойду одна!

— Что вы, Эмили?.. В такую святую, прозрачную ночь и снова в эту гнусную ресторацию?

— Снова!

И Эмилия, быстро вырывая руку, идет от скамейки.

— Хорошо, — встает поэт, — я подчиняюсь музе... На бал, так на бал!

— Я понимаю теперь! — обращивает к нему Эмилия прекрасное, омытое луною и оскорбленное лицо. — Я понимаю!.. Печорин — это вы!.. Это — ваш портрет!..

— Эмили, Эмили!.. Разве это так уже плохо?.. Не сердитесь!

И идя за нею, догоняя, он запеваёт вполголоса, как пьяный тенор:

— В столь по-оздний ча-ас!..

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На бульваре, разбитом около колодца серных вод, гуляли курсовые, больше военные из разных концов тогдашней России. Здесь были и действительно больные, жаждавшие исцеления, но гораздо больше было таких, которые приехали сюда повеселиться и если и пили воды, то только по убеждению, что вреда принести они не могут.

Девять часов утра. Важная, в седых буклях генеральша Мерлини с дочерью Зинаидой, которой невступно тридцать, стоит в группе с Мартыновым, Глебовым и юнкером Бенкендорфом и говорит, яростно брызжа слюною:

— Как хотите, господа, как хотите, но это, наконец, невыносимо!.. Отчего же его не поставят в рамки?.. Наконец, вы, его товарищи, могли бы... Хотя я не вижу чести для вас иметь такого товарища, но пусть, пусть!.. Отчего же вы ему не внушите?

— Что же мы можем ему внушить? — улыбается Глебов.

— Приличия,— вот что!.. Приличия!.. Вот в чем он нуждается, этот парвеню!.. Ведь он—плебей почти!.. Если бы не эта старая дура Арсеньева, которой некуда девать денег, попал бы он в гвардию?

— В некоторых кругах Петербурга его ценят, как стихотворца,— замечает юнкер Бенкендорф, но это только еще более раздражает старуху.

— Стихотворца! — брызжет она. — Подумаешь!.. Кто же из нынешних молодых людей не пишет стихов?.. Все пишут, но прячут... Прячут, а не... печатают! Вот вы-то, — обращается она к Мартынову, — при вашей благовоспитанности, не суете их, конечно, каждому в нос, а я вполне уверена, что ваши стихи...

Но тут из боковой аллеи выходит тот, о ком она говорит,—Лермонтов, а рядом с ним Лев Пушкин, и ее ненавидящий взгляд поэт встречает преувеличенно веселым взглядом. Потом он наклоняется к Пушкину и шепчет ему что-то на ухо и хохочет звонко, отчего болезненно морщится Зизи.

Они проходят, а Мерлини почти умоляюще дотрогивается до локтя высокого Глебова, брызжа еще сильнее:

— Вот! Видели?.. Да неужели же никто не осадит эту кобру?.. И скажите же мне, наконец, зачем он здесь?.. Его на фронт послали, а не сюда!.. Его в Чечню, в действующий отряд!.. Он даже и права не имеет быть здесь!.. Я наводила справки: строжайшая бумага была на его счет из Петербурга!

И, обратясь к юнкеру Бенкендорфу, она внушает:

— Напишите хоть вы вашему папá, граф!.. Это немыслимо! Это преступно! Ослушаться приказаania его величества!.. Я сегодня же напишу мужу, чтобы он известил кого следует!

— Но, видите ли, — говорит Глебов, — со стороны Лермонтова тут все по форме... Свидетельство от врача у него есть... Ильяшенко остаться ему разрешил...

— Ильяшенко! Рамоли этот!.. И какое свидетельство он мог достать? От кого?

— От Баркляя... О том, что он болен...

— А-а! Болен?.. Если ты болен, то лежи!.. Лежи, если болен, а не шляйся! Вот вы—больны, вы ранены, вы были в плену у горцев — и вы ведете себя скромно... Нет, я вижу,—вы на его стороне!.. Я вижу!.. Нет самолюбия у современной молодежи! Не ожидала!

И, повернувшись резко к Мартынову, молчаливо стоящему, она атакует его:

— Но я уверена, что вы-то, по крайней мере, мужчина, а не тряпка! Как же вы ему спускаете?.. Ведь по всему Пятигорску ходят его карикатуры на вас!.. Ужасные!.. Стыдитесь!.. Он — ваш закадычный друг, говорят, но я, простите меня, не понимаю такой дружбы!.. Это—подчинение какое-то наглости явной, а вовсе не дружба!

Зизи надоело это. Она морщится еще сильнее.

— Мама́, вы так кричите! — говорит она. — И пойдете, наконец,—что же мы стоим!

Снова проходят мимо Лев Пушкин и Лермонтов, и, бросая в улыбающееся лицо поэта ненавидящий взгляд, генеральша Мерлини со своей свитой уходит к колодцу.

— Место чисто,—говорит Пушкин.—Давайте сядем... Однако она вас люто ненавидит, Мишель!

— О, пятигорская горгона!.. Мы с нею любим друг друга взаимно... и я даже меньше, чем она... Не хотят понять мамаша тех возвышенных чувств, какие мы питаем к их дочкам, и спешат, ужасно спешат с развязкой романов... Они все одинаковы, сколько я видел...

— Увы!

— Теперь медуза эта хочет, кажется, умертвить Глебова... Бедняга от раны ослабел, потерял много крови, и—чем черт не шутит,—пожалуй, его озизят!

Однако мимо них, сидящих, проходят теперь двое пожилых военных в штаб-офицерских чинах: один волочит правую ногу, другой выбрасывает левую,—и поэт мгновенно меняет тон.

— Они! — оживляется он. — Полный ремонт полкового конного состава!

Скромные служаки говорят между собою о служебном:

— И вот тут, изволите видеть, я получаю приказ: «Прибыть немедленно в полк. Выступаем 10-го утром»... Положение? — ищет сочувствия волочащий ногу.

— Да-а!.. Пиковое, я вам доложу!—сочувствует ему ногу выбира-
сывающий.

— Не иначе, как в самый разгар романа!—говорит Лермонтов,
обмениваясь с ним честью.

— Не повезло!—вздыхает Пушкин.

И только чуть промелькнули мимо них непослушные ноги, оба
заливаются хохотом.

Приходит к колодцу полная низенькая дама с двумя дочками
и говорит, сильно грассируя:

— Когда я проживала здесь в 18-м году, еще совсем маленькой
девочкой, здесь совсем не было такого устройства... Никакого буль-
вара, никаких беседок, никаких аллей...

— Никакого Пятигорска,—продолжает Лермонтов.

Но дама не из тех, что слушают только себя:

— Ошибаетесь!—говорит она, обернувшись:—Пятигорск был!—
и плавно проходит, а вслед ей оба хохочут.

— Вот она—моя «Тамбовская казначейша»!.. Постарела, распол-
нела, но так же мило картавит!.. И уж две дочки!

Проходят два небольших мальчика, одетых, как кадеты, с гувер-
нером. Кадет постарше ведет на цепочке сеттера.

— А-а! Вот она!.. Это — та самая собачка!.. — оживляется Лер-
монтов. — Как ее зовут?

— Лорд, ваше благородие!—отвечает старший кадет.

— Прекрасно!.. Вот что, — тут где-то гуляет... или он у колодца
пьет воду... корнет гвардии, князь Трубецкой... Не знаете его?

— Никак нет!

— Не знаем,—подтверждает и младший кадет.

— Ну, хорошо... Вам его покажут,— вы спросите... Подведите
к нему вашего Лорда и скажите торжественно: «Вот он!»... Больше
ничего... ни одного слова... Поняли?

— Поняли,— отвечает младший кадет, а старший отчеканивает:

— Так точно!

— Идите.

И оба мальчика в военной форме поворачиваются с прищелкой
каблуков и отходят, а гувернер, тощий старик, недоумело поднявши
брови, спешит за ними.

— Ха-ха-ха!.. А если они его найдут и скажут?— спрашивает
Пушкин.

— Зачем же тогда и говорилось? — спрашивает Лермонтов.

— А что! — перестает вдруг смеяться Пушкин. — Я говорил вам,
что Обдыёновы собирались!.. Вот они уже здесь... Идут!

— Это они? Генерал с дамами?

— Они!.. Я прячусь за вас!..

— Хо-ро-ши!

Под руку с женою, а жена, плотно сцепившись с дочкой, прохо-
дит мимо генерал-лейтенант Обдыёнов, грузный, красный, с седыми
баками, бренчащий шпорами, рокочущий жирным голосом, постуки-

вающий на ходу пальцами, попадая подушечка в подушечку, и звучно чмыхающий большим ярким носом.

Лермонтов и Пушкин, вставая, отдают ему честь, при чем Пушкин старается прикрыть верхнюю часть лица рукою.

— Не беспокойтесь, господа, — рокочет Обыдёнов кивая, и продолжает жене и дочери: — И вот... Алексей Петрович... Ермолов... говорит мне... «Послушай, братец!».

Они проходят, а Лермонтов обдаёт соседа смеющимся взглядом:

— Слыхали?.. Необыкновенная привязанность к Ермолову!.. Даже с женой о нем говорит!

Это сказано слишком громко, и Пушкин пугается:

— Что вы!.. Услышит!..

— И?.. Из этого выйдет что-нибудь необычайное, мой Левушка?

В это время дочь Обыдёнова, девица лет двадцати двух, оглянувшись назад, узнает Пушкина и говорит что-то матери. Та тоже пытается поглядеть назад, но Обыдёнов, ступая уверенно и неуклонно, увлекает ее вперед.

— Кончено! Я открыт! — смеется Пушкин. — Он-то никого не видит, как тетерев на току, но девицы глазасты... Не подходить — неловко, а подойти — тоска!

— Он в тысячный раз говорит о том, «как Ермолов», а перед этим в тысячный раз говорил, «как князь Паскевич»... и несчастные индюшки эти должны терпеливо слушать! — говорит почти с испугом поэт.

— Пошли к колодцу! — вытягивает между тем голову в их сторону Пушкин. — Что? Хороша? Зовут Ниной... Хороша?

— Не знаю!.. Я их начал бояться, этих невест... Есть же такие смелые люди: женятся!

— Гм... Что же тут страшного, Мишель?

— В лягушке тоже нет ничего страшного, однако, я видал храбрых настоящих, обстрелянных, — и они от лягушки прыгали в сторону... Та-ко-ой делали пируэт!.. Так и я... Вы знаете, какой самый страшный сон видел я в своей жизни?

— Что вас женят? — догадывается Пушкин.

— Что я уже женат!.. И давно женат!.. В холодном поту проснулся... На меня маленького здесь же вот, в Пятигорске, гадала бабушке какая-то цыганка... «Погибнет, — нагадала, — от злой жонки!»... А? Как вам нравится, Левушка?.. От злой жонки!.. Теперь позвольте мне спрятаться за вас!

— Что? Злая жонка?

Проходит доктор Ребров в круглой летней шляпе, худощавый, с жидкой бородою и нетвердой, но быстрой походкой. Костюм клетчатый. Рядом с ним — его дочь-подросток Настя.

— Летучий голландец! — кивает на Реброва Пушкин. — А у девочки локти пришиты к бокам... значит, скрытная!

— Папа! Да погодите же!.. Не могу догнать! — спешит за ними старшая дочь Реброва, Нина. — Почти бежала, а они все идут!.. Не могу же я кричать во все горло!

Лермонтов усиленно прячет голову за голову Пушкина, но она все-таки узнает его и вскрикивает: «Ах!» — но тут же поспешно идет дальше, потом оборачивается, улыбается и кивает ему головою.

— Лермонтов привстает и прикладывает к козырьку указательный палец.

— Кто это? Злая жонка? — любопытствует смеющийся Пушкин.

— Нет, — это только Нинет Реброва.

— Она недурна... даже очень... Тут положительно выставка невест!

— Нет спасенья!.. Очень мала земля!.. Живешь из любопытства, не будет ли чего нового, но ни-ко-гда ни-че-го не бывает!

— У вас был роман с этой Ниной?

— Не могу назвать этого романом... Тогда был у меня роман, — это в прошлом году здесь же, — с Аделью Гоммер де-Гелль, — французской поэтессой, обворожительной женщиной... А Нинет по этому поводу, говорят, рыдала целую ночь и плакала целый месяц... Но для женщины слезы — очень здорово! Гораздо лучше пятигорских вод!.. Вид у нее цветущий... Может быть, она не совсем еще уверена, что это я, — иначе она сейчас же повернула бы обратно.

— Вы так думаете?.. Почему?

— Будет бояться, чтобы я не ушел... А так как от колодца, — посмотрите, — идет совершенно теперь серная, как адская бездна, мадам Мерлини, то я не уйду нарочно!.. О, незлобивая!.. Я ведь еще год назад сказал, что не люблю ее!.. Идет!

Нина Реброва, подходя поспешно, говорит радостно:

— Вы?.. Я шла и думала... И вдруг — вы!

Поднявшись вместе с Пушкиным ей навстречу, вздыхая, говорит Лермонтов:

— Я.. А это Пушкин... Мой друг.

— Ах!.. Я слышала! — краснеет Нина.

— Еще бы!.. Многие слышали!.. Вы очень похорошели за этот год, Нинет!

— Да-а?..

— И стали зна-чи-тельно старше!

Волнуясь и конфузаясь, обращается к Пушкину Нина:

— Вот! Всегда он такой!.. Неисправим!..

— Он невозможен! — подхватывает Пушкин. — Он положительно невозможен!

Генеральша Мерлини и Зизи проходят мимо теперь уже без свиты. Глядя на них, Лермонтов начинает вдруг хохотать неожиданно резко и громко.

— Почему вам так весело? — недоуменно спрашивает Нина.

И, глядя не на нее, а на Пушкина, отвечает поэт:

— Потому что теперь они возненавидят меня смертельно!

(Окончание следует)

А р б а т

НИКОЛАЙ ДЕМЕНТЬЕВ

Славный парень,
Подпольщик из Польши, зовут
Тротуары и стекла манят.
Дай горячую руку,
И в сорок минут
Добредем по Москве на Арбат.

На дома, на дворы
И на золото свай
Вниз обрушился он — истукан,
И китайским фонариком
Мчится трамвай
Вперескок, по его позвонкам.

В переулки
Костистые ребра врубя,
Он, стараясь в глаза не глядеть,
Мне завидует
И ненавидит тебя,
Как собака хозяйскую плеть.

Потому что в домах —
Темноты антрацит,
Потому что — одиннадцать лет
В меблированных залах его
Мертвецы
Коньяком прожигают скелет.

Целый день они рыщут,
Сосут и томят,
Только вечером встанут во мгле,
И надбровные дуги себе
Насурмят,
На ключицы натянут колье.

Подведут
Исслезенные тленьем глаза...
Разве это из Гофмана?.. Нет!
Полюбуйся, как счастлив,

Румян и пузат
Этот тщательно бритый брюнет.

Сколько гордости
В скрипе начищенных краг,
Как томительно в пальцах хрустит
Накрахмаленный пук
Казначейских бумаг —
Ими он подкупает и мстит...

Мы с окраин глядим,
Мы стоим сторожа,
И под нами страна - исполин
Насторожена,
Чтобы не выела ржа
Маслянистые бицепсы
Наших машин.

Крепки в тюрьмах решетки,
Замки не гремят...
Но пока над землей воронье,
Славный малый,
Подпольщик из Польши, —
Арбат —
Это — черное горе мое.

Каждым шагом в него
Я коплю динамит,
Гнева взрывчатый капсуль храню..
Комсомолец, подпольщик из Польши,
Пожми
На прощанье мою пятерню.

Наши — от роду двадцать —
Не годы, а риск.
Не забудь, уходя за кордон:
Крепче стискивай горло у сытых...
Борись.
Вы без нас, мы без вас — пропадем.



Г р о з а

СЕРГЕЙ СПАССКИЙ

Но жизнь, шатаньем зарева
Взбиваясь вдалеке,
Ушла разговаривать
На новом языке.
Пора. Сданы экзамены,
И поезд разбитной
Грохочет, обдан пламенной
Кавказскою весной.
И я влекусь, пока еще
Нелепо молодым,
За кругозор сверкающий...
— Не дым ли там? — Да, дым
Попоной рваной тянется,
Бесцветя горизонт.
Пути размыты. Станция.
— Не фронт ли здесь? — Да, фронт.
И значит, поезд вкрутится
Сквозь стрелок острия
В гремучую распутицу
Окопного житья.
Нет, рано. Это облако,
Не дым, но бирюза.
Лохматым пухнет обликом,

Ширеет. Быть грозе,
Уже по крыше катятся
Грома. И — капель всхлип,
Орешников сумятица,
Атака пьяных лип.
Как рыжим пивом полная,
Клокочет мгла вокруг,
И ставит клейма молния
На холм, на лес, на луг.
И отвечают дали ей,
Свинцово громоздя
Засады туч, баталией
Ветров, стрельбой дождя.
То вспененною кущею
Дерев, пучком огня —
Я чувствую — грядущее
Мое летит в меня.
Сквозь вымытое дочиста
Окно, рьяна, груба
Гроза мне шлет пророчества
— Покоя нет.

Борьба!



Живая ночь

Десятое звено „Кашеевой цепи“

МИХАИЛ ПРИШВИН

Красное солнце

Всегда, если самого внезапно схватит сильная боль, вдруг открывается слух на боль у других людей. В их словах слышится шорох, будто это не слова, а в замерзающей реке быстрогобегающая вода шелестит тонкими, острыми льдинками заберегов. И забывается время в природе. Широко открываются глаза, спрашивая, весна это или осень, весенний мороз-утренник схватывает прибережную воду или кончает привольное житье всей твари кузнец-зазимок?

Ум ничего не может ответить. Так бывает всегда, что, когда весна придет к самому себе, не помнишь числа; глаз не мерит, ум не считает, не можешь сказать себе, конец это или начало, смерть или любовь.

Тогда бывает, что и сильный человек, в другое время умевший крепко молчать, вдруг, как ребенок, спрашивает первого встречного о трудных случаях в своей жизни и рассказывает все о себе. До крику бывает потом стыдно вспомнить об этих слабых минутах, вспомнишь... и как-будто всего насквозь прокололо иглой. У нас множество таких людей, застигаемых внезапной болью. Оттого на каждой железной дороге, почти во всяком вагоне можно слышать исповедь одного человека другому, совсем ему незнакомому.

Нет, не зазимок, это весна половодья начиналась в природе. Солнце, большое, красное, опускалось в грязно-кисейную мглу. Молодой человек с невыносимой болью в ясных глазах слушал вагонные разговоры, и на лице его, как на тихой воде, рябью отражалось скрытое, даже иногда за козлиным смешком, и самим неизвестное, привычное страдание затертых жизнью пассажиров последнего класса. Он отвернулся к окну, к солнцу, но и большое красное солнце в кисейной мгле, казалось ему, тоже, как люди, чем-то болело. Большое солнце не отвечало молодому человеку, не могло ответить: оно было солнце.

От вида этого расплывшегося в красно-кисейной мгле огромного красного солнца молодому человеку стало много больнее. В это время с верхней полки, лежа на подушке в красной насыпке, прикрытый серым люстриновым пиджаком, на него внимательно смотрел, казалось бы, самый неинтересный пассажир: какой-то рябой человечек в синей косоворотке. Упорный взгляд его привлек, наконец, внимание молодого человека, он взглянул в это лицо и ничего в нем не открыл: ни боли, ни радости жизни. Человечек показался ему как вещь, что-то в роде мелькающих в окне железнодорожных значков, приметных только специалистам путейского дела. Но тот этого мгновенного взгляда только и ждал. Поймав его, он сказал:

— Осмелюсь побеспокоить, не Алпатовой ли Марии Ивановны сынок будете?

Досадливо и даже как бы с ненавистью ответил Алпатов:

— Не все ли вам равно, чей я сынок, зачем вам это нужно?

— Очень виноват перед вами, так и предчувствовал, что побеспокою, и долго не осмеливался заговорить. Да ведь скушно! А уж с кем, как не с вами, поговорить: вы такой ученый, и я такой маленький.

Алпатову стало совестно.

— Откуда вы сами и как меня знаете?

Человечек очень обрадовался, быстро спустился с верхней полки и сел у окна против Алпатова.

— Я краснорядец, Павел Филиппович Черномашенцев. Матушка вам про меня ничего не изволили сказывать?

— Не помню, нет... с каким-то в Красных рядах толстовцем она, помню, любила беседовать и долго с ним носилась. Собаки там у вас в красных рядах были страшные привязаны. Целы собаки?

— Собаки-то целы, да я больше там не служу, и в толстовцах не состою, а матушка ваша это обо мне вам говорили.

Алпатов еще раз искренно извинился. Рябой человечек быстро его к себе привлекал.

— Вот бы спросить вас, — осмелился краснорядец, — как люди живут за границей.

— Как! И это вы знаете, что я за границей был?

— Ну, как же, я все про вас знаю. Бывало, матушка придет в Красные ряды и непременно ко мне, я два стула готовлю, для них и для вас, и раскладываю разные материи, вырезаю образчики, занимаю приличным разговором, и потом начинаем торговаться: ваша матушка — ух! — не передадут лишнего, но любезные чрезвычайно, и, когда замечают, что из-за ситца начинается промеж нас в роде как неудовольствие, вдруг переходят на разговоры религиозно-нравственные. Я же вопросами этими в то время болел и читал, даже сам переписывал запрещенное сочинение графа Толстого — «Крейцерову сонату». Вот матушка ваша, хитрые, как только в торге нашем случится

заминка, на мое слабое место и ударят: «Лев Толстой, — скажут, — проповедует прекращение человеческого рода», и в этом роде поведут и поведут. Я заступаться, ну-те, а, в конце концов, матушке вашей и спущу копеечку, вот, извольте видеть, с каких лет я вас знаю и, можно сказать, слежу за вами неустанно.

— Следите?

— Слежу с восхищением с самого того раза, как вы убежали из первого класса гимназии открывать какие-то забытые страны.

Алпатов обрадовался, как ребенок, и сказал:

— Лучше этого путешествия у меня ничего не было в жизни и, верно, не будет. А, впрочем, вы мне даете мысль: почему бы в крайней беде, когда уж ничего больше не останется, не попробовать опять вернуться к этой забытой стране.

— Вот видите, как я все ваше знаю: матушка, бывало, все-то рассказывает о вас, и все я слушаю. Барышня у вас жила... вот только забыл, как это вы ее называли.

— Марья Моревна?

— Вот, вот, Марья Моревна! Мальчиком вы поклялись Марье Моревне снять с людей Кашееву цепь. Очень я вами заинтересовался, и с тех пор, как ни встречу с вашей матушкой, непременно у нас разговор о вашей судьбе, все знаю, — и как вы страдали за ваши идеи в тюрьме, и как потом уехали за границу. Знаю даже, что и теперь вас беспокоят, слышал сейчас, контролеру сказали, в Петербург едете, и обрадовался: значит, с вас уже сняли теперь запрещение в'езда в столицу?

— Еду потихонку, — сказал Алпатов и так по-детски доверчиво улыбнулся, будто маленькую шалость свою открыл другу с просьбой никому не рассказывать.

— Вылитая вы матушка ваша, — улыбнулся и краснорядец.

— Я к невесте своей еду в Петербург, — еще более откровенно и неожиданно сказал Алпатов.

— Ну-те?

— Еду вот. А у вас была невеста, вы семейный человек?

— Я матушку свою содержу, еще тетка-дьяконица с кучей детей на моих руках, пришлось отказаться от собственного счастья. Невеста, знаете, все-таки ведь заменима...

— Как заменима?

— Очень просто: с одной разошлись, успокоились и выбираете другую по собственному вкусу и даже очень спокойно, а матушка у нас у всех бывает одна, и она раньше нас приходит в мир, и у всех матушка бывает одна единственная. Извините за нескромность, а вам сколько годков исполнилось?

— Много, даже совестно сказать...

— И не говорите, я к тому это, что интересуюсь, как вы обходили наш коренной вопрос,—ведь у вас все выходило необыкновенно

в другом,—не может быть того, чтобы вы, как все, по нужде имели женщину, а теперь, когда можно стало создать положение, собираетесь вступить в законный брак с образованной женщиной и ту оставляете другому для временного пользования.

— Нет, нет,— живо отозвался Алпатов,— я всегда был против этого. Меня, видите ли, мальчиком в публичный дом привели, и я там напугался на всю жизнь. Потом студентом я поверил в близкую перемену всей жизни и ждал женщину будущего. В нашем кружке все были такие: мы временно отказывались, только временно...

— Ну-те-с временно, а как же и того?

— Вы хотите сказать, как я буду устраиваться с моей действительной невестой? Она пришла ко мне не из будущего, а из прошлого. Она говорит, что та женщина будущего — только моя мечта, и я в ней живой вижу только свою мечту и совершенно ее не понимаю. Мне кажется, она ее даже и ненавидит, как свою соперницу. Но сейчас она пишет мне, что со мною живет все ее лучшее, я не утерпел и еду к ней, хотя, казалось, в последний раз мы с ней разошлись навсегда.

Алпатов вдруг остановился и понял, что рассказывать этого ему не следовало, что сейчас он что-то потерял безвозвратно. Со страхом посмотрел он на краснорядца, и ему стало еще хуже: краснорядец отчего-то преобразился, лицо его было строгое, глаза умные и неласковые... А поезд как раз в это время остановился, и в тишине послышался разговор. Кто-то рассказывал откровенно, так же, как и Алпатов, другому и, верно, тоже незнакомому, свою жизнь, и незнакомый человек после каждой фразы, настроенный перед этим мерным гремящим поездом, говорил: «Так!»

— Я говорю жене: «Давай сдадим комнату».

— Так!

— «Я, — говорит жена, — согласна». Сделали объявление.

— Так!

— Приходит жилец. Осмотрел комнату, понравилась. Говорю жене: «Согласна пустить?» Посмотрела на него и отвечает: «Согласна».

— Так!

— Пустили. Жилец живет. Я хожу на фабрику, ухожу и прихожу.

— Так!

— Вот раз пришел я на работу. Хватился я, — забыл кисет с табаком. И вернулся домой.

— Так!

— Вернулся я, друг мой, домой. В жилецкой комнате нет никого. Перехожу я к жене...

— Так!

— Перехожу я, милый мой, к жене, а она под ним.

— Под ним!

Поезд тронулся и заглушил разговор. Алпатов сидел, весь залитый лучами огромного красного солнца, сходящего к самым верши-

нам темного леса. Краснорядец жутко глядел на него и как-будто чуть-чуть подмигивал.

— Сколько на свете неразрешимых вопросов, — сказал он, — семейных и говорить нечего. Слышали разговор? И вы вот такой прелюбопытно ученый, вам все-таки легче, а у меня вопросы на каждом шагу. Вот сейчас солнце садится такое большое и красное, я думаю, почему оно красное? Вы, наверно, это знаете, объясните мне, почему это?

В первую минуту Алпатов обрадовался и приготовился этим разговором о солнце погасить свой стыд. Но когда он хотел начать рассказ о преломлении лучей в парах воды, посмотрел на краснорядца, глаза его не были такими наивными, как бывают обыкновенно у простых людей, начинающих интересоваться знанием. Краснорядец этот не просто спросил: он издевается. И все-таки надо было ответить.

— Посредством знания, — сказал он, — мы можем постигать только причины явлений, а сущность их науке недоступна. Вас не удовлетворяет, конечно, если я отвечу, что красный цвет солнца при закате бывает от преломления лучей в парах воды.

— Это я еще и в церковно-приходской школе учил. Выходит, вы ничем не отличаетесь от меня, хотя и получили высокое образование.

Серыми маленькими глазками, как стальными клинками, краснорядец впивался в ясные глаза Алпатова все глубже и глубже, вызывая в них новую боль.

Спасаясь от призрака человека-насекомого, растущего с каждой минутой, Алпатов отвернулся к окну: там, в насыщенном парами воздухе весны половодья, большим кораблем, тяжело справляясь с противным воздушным течением, летели на родину дикие гуси.

— Гуси, гуси летят! — крикнул кто-то, захлебнувшись от радости.

Многие бросились к окнам, и все заговорили о весне, о земле, о семенах.

— Вот гуси летят, — сказал краснорядец, — и всем стало весело, а ведь гуси о нашем удовольствии и не мечтают, им некогда думать про Кашееву цепь и спасти людей, им бы только долететь, у них у каждого от перелета мозоль под крылом, не думают, а спасают: всем удовольствие, все стали веселые и добрые.

— Где вы научились своей философии?

— В полицейском управлении, — спокойно ответил краснорядец, — на должности агента по делам политическим.

У Алпатова дрогнула рука, лежавшая на саквояже: там были и письма ее, и фотография, и сухие розы, и ее белая шаль.

— За чемоданчик не извольте беспокоиться, я вас душевно понимаю, я доложу только, что вы ездили на свидание с невестой, и там это даже понравится, в провинции у нас совсем не как в столице, у нас тут по-семейному: кровь-то все-таки родная.

Алпатов, подавленный, с глухой злобой сказал:

— Не родились же вы агентом?

— Не рождался, но и не от себя стал: приехала, видите ли, дьяконица с кучей детей, жена моего любимого брата. Собственно, через эту самую дьяконицу я мечту свою потерял и придумал, как вы изволили сейчас сказать, философию: смотрел из окна полицейского управления на гусиный перелет и придумал.

Агент приподнялся, зевнул, залез на свою верхнюю полку и, лежа, тихо сказал:

— Как весна-то задержалась, свет апрельский, а снега все еще бселяются, зато и пустит же сразу! Солнце-то красное, я по-своему понимаю, к чему было: гусь пошел, и в эту ночь все оборвется. Так вот, молодой человек, и у вас весна задержалась, и вдруг все пошло. Не дай бог вам, как и мне, с мечтой своей тоже попасть в полицейское управление.

Алпатов молчал совершенно подавленный; опустив голову, долго сидел неподвижно и, когда послышался сверху ровный храп, взял свой небольшой сак и вышел. Было уже совсем темно, поезд подбирался к какой-то захолустной станции. Он не знал, какая это станция, не поинтересовался даже взглянуть.

Он просто выходит в темную неизвестность. Так бывает у людей иногда на последнем распутье, идет один, вовсе ни о чем не загадывая, а потом вдруг оказывается, его паровоз переехал. Но бывает и совсем по-другому. Это у нас на земле совершается над человеком страшный суд, где защитником и обвинителем бывают то кровь, то мысль... Прошло много поездов, Алпатов все сидел на лавочке и не решался. Наконец, подошел последний, и он встал...

Странный крик раздался в огромных болотах, окружающих станцию. Его нельзя передать никакими словами, это ни на что не похоже, и мало кто может сказать, какое живое существо в природе так странно кричит. Сторож станции знал этот крик и понимал хорошо, что он значит: это ранней весной среди ночи заяц решается крикнуть от любовной радости.

Была ночь у людей. Светил ярко исходящий месяц. Птицы узнавали в этом свете луны конец ночи и начало утреннего света, или, может быть, они ошибались? Началась таинственная лесная песня, похожая на спокойный грустно-ласкающий ропот потока. Со всех сторон большим кольцом окружали маленькую станцию баюкающие звуки: весь горизонт пел.

— Как тетерева-то бормочут, — сказал кто-то невидимый в темноте, — а лягушки еще не выползали.

— Нонче все поползет, — ответил ему голос с полотна.

Какие же это звуки милые, где их слышал, кто это поет? Знакомые, родные, забытые...

И вспомнилось Алпатову, как он в детстве уехал на лодке открывать забытые страны: какая живая ночь тогда была на реке, сколько удивительных птиц пролетало и каким ароматом веяло с берега! Но

самое главное было потом по возвращении в гимназию: все так потешались и так верно доказывали, что все это было обман, и забытых стран никаких нет, и невозможно открывать страны гимназистам на лодках. А, между тем, несмотря на эти доказательства, в глубине души оставалась полная уверенность в своей правоте, и что если бы взяться как-то иначе за дело, то можно бы и открыть...

И вот теперь бояться некого, терять нечего, страшные экзамены по латинской грамматике сняты только во сне, и если навсегда оставить мысль о невесте, то не нужно и никакого положения в обществе. Почему бы теперь на остаток не пожить самому, как-будто нигде не учился, ничего еще не достиг.

Что это, птицы поют?

«Пойду-ка поближе, узнаю».

И пошел по шпалам в ту сторону, откуда звуки были сильнее. С каждым шагом ясней и ясней вставало перед ним детское путешествие в забытые страны, и росло все больше и больше доверие к милым, родным, ласкающим звукам.

— Кто идет? — спросил сторож.

— С поезда, — ответил Алпатов.

— Куда?

И совершенно теми же словами, как тогда, в детском путешествии, он ответил:

— Иду на мельницу. Можно пройти?

И теперь было так же удачно, как и тогда. Сторож сказал:

— Пройдешь; дорога еще держит.

И все это было для Алпатова, как-будто на вопрос сторожа «Куда идешь?» он ответил: «Иду открывать забытые страны», и сторож сказал: «Иди, забытая страна тут возле».

Идет все дальше, звуки все ближе. Полотно поворачивает в сторону. Идет по ледяной дороге. Начинаются кусты, потом деревья между ними, и лес, и опять кусты с редкими высокими деревьями, большая проталина, и вот тут звуки совсем уже близко, и... вдруг он их узнал. Переходит проталину, ставит ногу на белое, проваливается, и с хлопаньем больших крыльев все разлетается. Он провалился до шеи в ледяную воду, выбирается и действует, как тогда, в детском путешествии. Вспоминаются большие хвойные деревья и на них всегда сухие торчки. Ощупью находит сосну, обламывает сучки, достает из сумки спички, зажигает, и освещается большая сушина. Разгорается костер.

— Теперь гори все!

Горят бумаги и сухие розы, и роскошная белая, шелковая, шитая гладью шаль...

— Гори все!

Долго не может оторваться от карточки и разглядывает ее, прислонясь к кусту можжевельника при свете костра. Сколько раз казалось ему это лицо двойным, скрывающим ведьму. Какая это ведьма, просто милая девушка, счастье...

И бросает счастье в огонь.

Нет, в лесу огонь не в камине: это почти тот самый огонь, о котором в великой борьбе догадался наш предок по молнии. Это не каминная шутка, это с а м огонь,—и беспощадный, и добрый. Вои там в красном свете показываются рога, да, в лесу не бумажный принцип зла, а если является чорт, то с рогами, и если покажется бог, то с бородой...

Счастье сгорает. Нога поскользнулась. Интеллигентный человек падает на куст можжевельника, и тот его держит, подпирая мохнатыми лапами. Лежит на спине, как в кресле, — куст держит. Повертывается на бок, — хорошо, прочно держит. Видит, как загорается край сумки с ее письмами. Закрывает глаза и засыпает.

Т о к

Проталина с кустом можжевельника была в запольи села С п а с - в о - м х а х, на яру у реки. Тут, на старом осечище, спасовцы взяли когда-то три урожая и ляду забросили. Как-будто робея перед новой сечей и пожаром, лес обсевал осторожно заброшенные полосы: возле самого леса молодь засела часто, как конопля, и к середке все меньше и меньше. Тут были березки маленькие, как трава на забытых полосках. В этой середке лесной чащи, на лядах, по старому осечищу, у реки высоко над поемными неприступными болотами, у самого куста можжевельника, всегда, каждую весну, непременно токовали тетерева, и тут старинный охотник Чурка всегда ставил свой весенний шалаш.

Птицы, обманутые светом исходящего месяца, в этот раз слетелись много раньше положенного им предрассветного часа. Месяц померк, они бы тут и придремнули в ожидании света, но пришел человек и их испугал:

Сквозь тонкий сон охотник Чурка слышал бормотанье тетеревей в непоказное время, и его тоже, как старого тетерева, беспокоил свет исходящего месяца. Старый два раза слезал с полатей поглядеть в окошко, не пора ли отправляться на ток, и оба раза его хватал бес за ребро. Оба раза молодая вдовая сноха Паша хорошо огрела его рочагом. Наконец, видно самой немоту, взбеленная гневом, встала, зажгла огонь и села за кросна.

Что она, быть может, нарочно хотела его подразнить? Известно, как молодая баба кросна ткет: пристукнет голыми руками, и запрыгают груди, как снопы на пожарном ветру, подберет подол, да двинет ногами, так и пойдет у старика дурь через голову в пятки.

Что он делал там на полатах, что показал... Как глянула туда молодуха своими черными блестящими глазами-бобинами, будто молнии в разные углы поскакали, и—в печку! Взяла рочаг, достала посудину, отлила в ковш кипятку и шарк на полати в самое место.

— Вот тебе, не дразни, окаянный!

Бросилась вон, а за ней с воем, не забыв и ружье, пустился и Чурка.

Разахалась в чуланчике Авдотья Тарасовна, не убил бы ее милую дочку старик: с ним станется. Но Паша скоро возвращается.

— Матушка, зачем вы спите в чуланчике?

— Доченька, я же тебе добра хочу... ну, много ли ему жить осталось? все твое будет...

— Матушка, вы не знаете, я с мужем только три ночи спала, и он пожалел меня: я девушка.

— Дурочка, так же еще лучше, так родная кровь не смешается.

— Грешно, матушка.

— Всякую тварь, дочка, надо жалеть, трудно им переносить, чужих, и то бабы жалеют, а своего-то пожалеть богом указано. Что ты из гордости себя будешь беречь, так это своя утеха, а пожалеешь человека, так богу доходней будет.

— Нет, матушка, у меня выходит по-своему.

— Вот и горе, доченька, все вы теперь по-своему хотите жить. Покойница жена его тоже по-своему хотела... под благовещенье отказала. Наш старый батюшка шунал ее, шунал за это: «Не в праве жена мужу отказать, хоть и под благовещенье, это с него взыщется, а не с тебя, ты ему отказала, а он... согрешил, теперь его по гроб жизни прекать будут в деревне и смеяться».

Паша улыбнулась, вспомнив, как деревенские мальчики смеются над Чуркой:

Чурка телочку пасет, пасет, пасет,

Телка хвостиком трясет, трясет, трясет...

— Матушка, неужели же мне, девушке, после этого не будет зазорно?

— А я-то сама, ня-ж, не жалею тебя? Ну, говори, что вы там с ним не поделили?

— Он мне с полатей...

Паша матери шепнула на ухо. Авдотья Тарасовна громко:

— Во кобель!

— А я его кипятком ошпарила. Ну, как я так его погубила?..

Засмеялась Авдотья Тарасовна.

— А вы меня за него прочили...

— Эх, ничего-то не понимаешь ты... мало ли что люди болтают, я тебе только счастья хотела: после него нам все останется. А об этом ты не сумлевайся нисколько, им кипяток, вот как яйцо об стену уда-ришь, так и им кипяток, все скатится. Другое боюсь, как бы его обида не взяла, возмет себе назло какую-нибудь старушонку и женится, а нас с тобой выгонит. Про то же не сумлевайся. Как ты от него увернулась?

— Месяц светил ярко, он за мной с ружьем бежит, месяц вдруг померк, стало темно, я в ров, он через перескочил и в лес поскакал.

— Слава тебе, господи, вот хорошо-то, что месяц померк. Ну, иди, спи, не сумлевайся, почувствуется, придет шелковый, ихнего брата тоже надо учить, это хорошо, поделом, ему так и надо.

И Авдотья Тарасовна весело засмеялась, приговаривая:

— Во кобель, во кобель, ну, и поделом же ему!

Когда месяц померк, Чурка в лесу вдруг пришел в себя, долго ругался, чесался, хлебнул из лужи холодной воды и вовсе одумался. Только сказал: «Вот бабы», и, отложив расплату до утра, пошел к лядам на старом осечище.

Это у охотников самое последнее дело, если в ночь перед охотой хоть мало-мальски в бабьи дела замешаешься: никогда не будет удачи. Всю жизнь не случилось Чурке ночью свой шалаш потерять, и тут вот как раз и вышла беда: где-то стороной, должно быть, мимо самого шалаша в сердцах прокатил и в такой залез рогульник и чепушняк, грязь по колено и вокруг все колпашник, прошлогодняя высокая некое. И главная беда,—как залез в колпашник, с неба заблеяло барашком.

— Ну, божий баран закричал,—сказал Чурка,—сейчас и тетерева забормочут. Ежели сейчас не попаду в шалаш,—пропала охота. И-их, бабы, и сладки же вы, ну и будьте же вы прокляты!

Испытал последнее средство от баб на охоте: снял штаны и омылся холодной водой, после стал к дереву, перекрестился, огляделся и сразу заметил под яром верхушку залитого водой девятиголового дуба: как заметил, все сразу стало понятно, и к шалашу своему прямо, как в дом, пришел. Подстелил елового лапнику, заделал разные щелки, устроился, сел, прислушался, и вот опять навождение: ну, вот, хоть конец отсеки, а где-то спит человек, посапывает, похрапывает, нет такого зверя в лесу, чтобы с заливом храпел: человек и человек! А как он может быть тут, человек, весною, в полую воду, ночью? Или это какой-нибудь невиданный зверь забежал и уснул?

Прислушался. Нет, не бывает на свете таких зверей, чтобы храпели с заливом.

«Не Обезьян ли?» — пришло ему в голову.

В это время опять показался месяц.

— Опять обманул, — ругнулся Чурка на месяц, — будет же свет, ай так и останется?

При свете месяца он оглядел всю осечину и так решил в уме, что Обезьян спит не иначе, как в кусту можжевельника.

— Попытать разве счастья?

И стал собираться ползти, но уж такая задалась неудачная ночь: только выполз из шалаша, под ним что-то трр-р-есь!

Обезьян перестал храпеть. Чурка пятиться, пятиться, и задом вполз обратно в шалаш.

Затих. Стал дожидаться, пока опять захрапит.

Раздался странный крик. Его нельзя передать никакими словами, это ни на что не похоже, и мало кто может сказать, какое живое существо в природе так странно кричит. Чурка знал хорошо: это ранней весной в своей любовной радости так заяц кричит.

Заяц вышел на светлинку возле самого куста можжевельника. За первым другой вышел, третий, четвертый... Они шли, как лесные

актеры, на свое обычное представление при месяце, и с отпарин на склоне яра к реке, верно, для их актерского дела уже зарождался первый туман.

Там, в струйках тумана, ползла и лисица, красный зверь, и, высунув мордочку из куста на поляну, устроилась тут смотреть на заячьё представление.

Из куста можжевельника между сучками смотрел лесной гость. Из шалаша—Чурка, большой любитель таких представлений.

Кажется, зайцы в этот раз играли сцены христианского смирения: один выскочил на серединку светлинки и — бац другого по щеке. Тот сел на задние лапки и подставил другую щеку. Разбойник одумался, тоже сел на задние лапки и просит прощения. Так долго сидят, и, видно, кроткому зайцу скучно стало жить без разбойника, смотрел, смотрел на раскаянного и — бац его сам по щеке, бац по другой. Разбойник все терпит. Вдруг, между ними зайчиха, и скок на нее кроткий заяц. Ну, этого разбойник уже не мог вытерпеть и с такой силой стал тузить и за это, и за прежнее свое смирение, что кроткий заяц, только начавший линять, в один миг из белого сделался серым. А большая зайчиха все стоит и дожидается, когда же у них кончится потасовка и можно ей будет хоть с кем-нибудь спариться: с кротким, с разбойником, ей не до этого, ей теперь все равно. Вот тут осенний познушок, маленький зайчик, и притом еще хроменький, пробует приладиться к зайчихе. Это все замечают, и все принимают тузить познушка, маленького, хроменького: он виноват во всех грехах заячьего мира, и, если даже не виноват, должен взять грех на себя и пострадать.

Лисица, красный зверь, все ползет и ползет, прикрываясь началом тумана, еще первого в этом году, ползет, ползет и—скок! Зайцы,— все кто куда, и только хромой познушок не мог скакать, добрался до сопки, высшей точки яра, покрытой прошлогодними цветами и всегда сухими бессмертниками. Лежит себе там смирно и смотрит открыто на красного зверя, и тот, — вот чудо! — больше не ползет, а только изумленно и, видно, с большим страхом медленно подается вперед, переступая с лапки на лапку.

Заяц смотрит.

Красный ближеет, ожидает обыкновенное: побежит, а он схватит, все живое смерти боится, побежит непременно.

И нет, не бежит, глядит смерти прямо в лицо.

Красный нюхает его, а он все глядит.

Видно, зайчик умер от страха.

Красный поджимает хвост и убегает.

Внизу у реки собираются лунные туманы, заканчивая собой мистерию победы смерти. Но туманы ошибаются: заяц слишком много терпел в действительной жизни, его гоняют и люди, и собаки, и лисицы, и совы, ему не до мистерии.

Хромой вскакивает, садится на задние лапки и умывается: он перехитрил красного зверя. Сходятся и все другие актеры, и начинается второе представление.

Лежащему в кусту можжевельника кажется: зайцы разыгрывают его самого. Вот он а выходит на полянку со всеми своими поклонниками. Все они в котелках, аккуратные, приличные люди. Она подходит к своему прежнему жениху, лежащему теперь в кусту можжевельника, и спрашивает голосом перелетной кукушки: «Узнаешь эту картинку?»—«Да, я знаю»,—говорит он, но не он, теперешний, а окончательно уже отделенный от Я, конченный аккуратнейший деловой человек, и рассказывает своему первому Я, что п о л о ж е н и е он себе составил очень хорошее, женился, и вот что вышло из этого: привязались поклонники, с женой он почти не остается наедине, а, впрочем, он очень занят и так это у всех: он достиг всего совершенно, как все, и этим сознанием вполне удовлетворяется.

«Неужели это я сам? — думает лежащий в кусту можжевельника, — неужели это я так умер?»

И с таким любовным вниманием смотрит на зайчиков в котелках, так он жалеет их бедных. Вот за то, что он мог все умершее пожалеть, полюбить и простить, она окончательно говорит ему настоящим прежним своим голосом.

— Успокойся, поверь, зайцам никогда не удастся тебя разыграть до конца, потому что с тобой осталось мое лучшее, и ты воплощаешь его в жизни, побеждая вместе со всею весной Кашееву цепь.

Вдруг тень пролетевшей совы страшно испугала зайцев. Все бросились огромными прыжками кто куда и, отбежав на хорошее расстояние, стали на задние лапки посмотреть, как сова, и увидели: сидит на елке чурбаком и фи-ло-соф-ствует... Проклятая философия! Зайцы бросились в лес.

Чурка тоже с большим любопытством смотрел на заячье представление, и, не будь у него в голове этого Обезьяна, уж он так не пропустил бы лисицу, хотя и линияую, не пожалел бы заряда на красного зверя, но уж очень хотелось ему поглядеть при свете, какой Обезьян, и не стал его пугать выстрелом.

Кулик высоко просвистел, этот уж никогда не ошибается. Ему уверенно ответила ведьминым хохотом белая куропатка. И вот, наконец, токовик, старый тетерев, крикнул свои таинственные заклинания тьмы на Чу, на Фы и на Ши.

Чурка забыл Обезьяна, собирается с духом, надувается и тоже, как тетерев, шипит три заклинания тьмы на Чу, на Фы и на Ши.

Токовик сразу снимается с места на дереве и летит биться с соперником. С громким хлопанием крыльев падает он возле самого Чуркина шалаша и повторяет свои заклинания на Чу, на Фы и на Ши.

При заклинаниях тьмы начинает чуть-чуть приподниматься край серого одеяла с востока, и ничего тут еще никому не понять, какое сложится утро.

Птицы спешат на ток, садятся на деревья, смотрят сверху на токовика и спускаются на токовище. А серое одеяло еще приподнимается, и тут, оказалось, надо спешить: праздник давно уже начался. Тогда, став против этой лучезарной полоски, токовик поднимает вверх свою хвостовую лиру, голову опускает к самой земле. Напряженно краснеет на голове его огненный гребень-цветок, крылья страстно трепещут, касаясь земли, и так он начинает свою серенаду. Поет и движется по кругу, как светила, как весь мир, и первосвященником проходит в святые ворота с приподнятой лирой, неся огненный цвет у самой земли. Все младшие делают, как токовик, их отдельные серенады сливаются, и вот эта их хоровая песня во славу расцветающей от солнца земли далеко, за версты, наполняет души случайно не спящих людей тоской о настоящей родине в какой-то забытой стране.

«Вот оно что! — догадался человек, лежащий в кусту можжевельника, — вот она где моя родина, я не один». И, затаив дыхание, стал при начинающем свете ближе и ближе все узнавать и открывать в забытой стране.

Казалось, начинается утро одной только славы горячему солнцу, на светлом уже метнулись два огромных крыла, и уже крикнул журавль: «Да будет свет!» — как вдруг вместо солнечных лучей, закрывая всю светлую полосу, показались громады синих кораблей, все затемнили и скрыли под серое. Как длинные волосы, серое спустилось на лучезарность восхода, и план на сегодня был установлен: день был назначен серый, теплый, самый лучший для перелета птиц, для оживания коры, движения сока в березе, омовения корешков озими, и для всего был нужен такой полноводный хозяйственный день.

— Квох-квох-квох! — закудаhtала в кусту хозяйственная тетеревиная курочка.

Поющие рыцари прекратили свою серенаду. Довольно, она их услышала, она тут вблизи, довольно: они готовы теперь отдать жизнь за нее. В последний раз они совершили свои заклинания тьмы на Чу, на Фы, на Ши и, подпрыгнув, бросились в бой за свою прекрасную даму.

— Квох-квох! — умоляет их курочка.

Никто ее больше не слушает. Она выходит из кустов на самое токовище, потеряла всякий стыд и каждого зазывает к себе в кусты. Но все от нее отвертываются: ведь она только серая курица, а они бьются за прекрасную даму.

— Я был прав, — шептал сидящий в кусту можжевельника, — я не один: вот оно откуда пошло!

Она просит жизни, а они обгадряют свой брачный наряд. В бою за недостижимое, вечное, готовы найти свой конец. А ей бы сесть на яйцо и сохранить на земле жизнь тетеревиного рода.

— Это и у нас было так! — удивляется все больше и больше сидящий в кусту можжевельника, — я вовсе не маленький, я пропустил свое из-за большого.

Неподалеку от тока сидит в кусту один Черныш, он не может творить заклинания тьмы на три стороны, крикнет «Чу!» и как подавился. У него в суставе крыла есть слабая точка, и драться ему невозможно за прекрасную даму. А серая курочка вон сама просится, вон сама бежит к его кусту. Смешно и глупо драться за прекрасную даму. Он просто берет себе курочку и с ней убегает дальше в глухие кусты.

— Но ведь это может сделать каждый из тех больших и сильных легко, — шептал, думая о всем, лежащий в кусту можжевельника,—и я тоже всегда могу, и это от меня не ушло! Кто же это наговорил, будто самки достаются сильнейшему? Берет просто хитрый, кто умеет рассчитать и примериться...

— Так это все была песня моя! — воскликнул громко лежащий на кусту можжевельника.

И приподнялся с своего сурового ложа.

А Чурка, не сводя глаз с куста, давно его держит на мушке, для него вкачена в ствол свинцовая медвежья пуля.

— Чорт с ним, с этим током, — шепчет себе Чурка и ползет к спящему в кусту Обезьяну.

И до чего же раскипелся ток: не сразу обращает внимание на ползущего, ужасного, старого, без шапки, лохматого, с седой бородицей до самой земли.

— Но это же настоящая горилла ползет! — сказал другой, поднимая голову.

Ток в миг разлетелся.

Горилла осела.

Зверь-Обезьян был в картузе, и сапог торчал из куста. Чурка пришел в память и приподнялся на задние ноги.

Тот в кусту сел.

Между ними какая-то малая пташка летела из далеких стран, будто она последние силы теперь собрала, поднялась, и упала, опять поднялась, и так все вперед и вперед, за одной другая, за этой третья, и еще и еще... С восторгом узнавая далеких своих детских друзей, смотрел на пташек Алпатов, насчитав их уже более ста, когда зверь ползущий поднялся и оторопелым голосом спросил:

— Ты чего это там?

— Какие-то птички...

— Это фиалки летят.

— Фиалки — это цветы.

— То цветы, а то пташки.

— Чего ж ты не стрелял? были тетерева, приходили зайцы, лисица...

Вспомнив о пропущенной дичи, Чурка, наконец, и совсем приходит в себя.

— Да ты что, дурачок ли какой, или как тебя считать, откуда ты взялся?

— Я из города вышел, места себе ищу, да вот заблудился, могу патоку гнать и деготь.

— Чистый деготь?

— Всякий могу, и патоку,—сладкое и горькое. Могу ситцы красить..

— Ситцы! И охотник?

— Нет. В детстве очень любил, теперь, наверно, и стрелять разучился. Дай-ка скорей ружье, попробую, вон утки летят.

Алпатов взял ружье и выстрелил в уток. Как мальчик, старый Чурка бросился за упавшей уткой, веселый и, как это всегда у охотников, сразу влюбленный в товарища, — сказал:

— Ну, брат, вижу не брешешь, можешь гнать чистый деготь. Как же, я его спрашиваю, можешь ли стрелять, а он говорит: в детстве!—и на вот, утку на лету враз отпустил. У нас на заводе приказчик был, вот тоже стрелок, Иваном Семенычем звали, не слыхал про него?

— Иван Семеныч? Нет. Может быть, Иван Евдокимыч?

— Будет брехать: Иван Семеныч. Ну и морда же была у него, вот какое рыло, вот рыло!

— Какое же у него было рыло?

— Да в аккурат, как твое, тоже брат родной, тоже нарыльный был.

Птицы маленькие без перерыву проносились в воздухе, трясогузки, раскачивая длинными хвостами, перескакивали с кочки на кочку, рассыпались коротенькой песней веселые зяблики, на каждом дереве играл певчий дрозд, и распушенный чепушил скворец.

— Ты как насчет баб? — спросил Чурка.

— Что-о?

— Как к тебе бабы?

— Ну, вот еще, о чем завел. Не сказал я еще тебе: я водку умею курить.

— Водку умеешь? Ну, брат, ты теперь из нашего края так не уйдешь. Завтра же пойдем с тобой за реку на завод: тебя там озолотят. Хорошо тебе будет, народ вокруг нас водочку любит.

— Счастливый ты человек!

— Ня-ж не счастливый, трех праведных жен замотал, а неправедных и не пересчитать. Только это счастье, чтобы бабы любили, можно бы каждому получить. Хочешь тебя научу?

— Ну?

— Очень даже просто: вот видишь, под водой сейчас зеленая травка пузырьки пускает — это значит, теперь лягушка проснулась. Вот как мало-мальски земля обогреется, пар пойдет, и лягушка на лягушку полезет, тут и тебе надо... тогда на всю жизнь пойдет счастье.

Последние слова услышал другой человек: он в полдерева на елке сидел и выслушивал в дупле зимовалых пчел.

— Это счастье, — сказал он, — от весеннего теплого воздуха.

И спустился с дерева.

Человек был тоже не молодой и борода у него закрыла все лицо, виднелись только нос и глаза.

— Овчинники, — сказал Чурка Алпатову, — они у нас все пчелами занимаются, это дядя Григорий, ихний вожак.

Дядя Григорий поклонился Алпатову. Чурка стал ему рассказывать сначала, как он храп услышал в кусту можжевельника, и стал подползать, и как разговорились о бабах, и он дал ему верный совет.

— Это счастье, — повторил дядя Григорий, — от весеннего теплого воздуха. — Муха, червяк, всякий болотный гнус от мороза не умирают, а только засыпают и от весеннего теплого воздуха опять начинают чудить: им смерти нет. А пчелы и муравей умирают, как человек, трудятся и умирают.

— Приятель! — сказал Григорий и взял Алпатова за рукав, — как умерла у меня жена, дела у меня не убавилось, а прибавилось: те же овчины, та же лошадь, корова, овченки, и нас не двое, а я один стал. Да вот, бывало, домой приду, — мне бабья журьба не дает отдыху. А теперь как приду домой... тишина! Тут полюбил я пчелу, стал размышлять, и мне открылся свет. Всему дивлюсь теперь и за жизнь свою благодарю.

Григорий понизил голос:

— И плотским грехом не занимаюсь.

Услыхав последние слова, Чурка зевнул и ответил:

— Конечно, вы овчинники, дух у вас в избе постоянно тяжкий, ну, а как мы охотники, живем на вольном воздухе...

Чурка не договорил и вдруг крикнул:

— Гляди, река пошла!

Это мог только Чурка заметить: река тихо пошла. Но скоро все зашумело, заскрипело, зарычало, и льдина полезла на льдину. Показался на гатях народ. Где-то за рекой колокол ударил, и народ валил к ледоходу, как в церковь к обедне. Все смотрели на Алпатова и дивились ему, а Чурка рассказывал всем, как этот человек ночевал в лесу, и не простой человек: может гнать чистый деготь, патоку и водку, сладкое и горькое...

Между тем, на одной плывущей льдине оказалась корова. Тогда все забыли про Алпатова, и многие бросились вниз корову спасать. Потом показалась плывущая дорога совсем с вешками. Дорогу узнали и проводили. Проплыла баня и даже сарай...

Алпатов видел на льдинах свое: как Снегурочка проплыла и вслед за ней царь Берендей, видел, плыли грязные льдины одна за одной, как звенья разбитой Кашеевой цепи. А великий художник, управляющий переменной цветов, ему говорил:

— Друг, земля моя усеяна цветами, и тропинка вьется по ней, как-будто и нет конца ароматному лугу. Я иду влюбленный в мир и знаю: после всякой и самой суровой зимы приходит непременно весна, и это наше. Цвет — это наше, это явное, это день, а крест — одинокая ночь, зима жизни. Я художник и служу красоте так, что и сам страдающий бог, роняя капли кровавого пота, просит: «Да минует меня чаша сия». Я призван украсить наш путь, чтобы несчастные забыли свои зимний крест и дождались новой весны.

Конец «Кашеевой цепи».

П о э з и я

Д. БРОДСКИЙ

Ты — в голосах,
Несущихся с вокзала,
Которым даль заведомо тесна,
Предупреждая версты, приказала
Им петь по расписаниям — весна.

Ты — машинист, путёвку получивший,
Манометров и рычагов — сердца.
Дебаркадер, где в час отхода выше
Хлопковый пар и теплая пыльца.

Ты — вечером тот самый отблеск свежий
Камней и скверов...
И недаром ты
Являешься весною с побережий
Морских и гонишь льдины сквозь мосты.
Земля дрожит от грохота трамваев,
Не остывают стекла от зари,
Внезапно, как бы недоумевая,
Взрываются над сквером фонари.

Скрываются деревья, и на лужах
Настоена до блеска чернота.
И фонари, как в нимбах,
В полукружьях
Глубоких глаз — трамвайная чета.

И кажется, им тяжелы проходы,
Над ними исчезают провода,
Они плывут, плывут, как пароходы,
Вдоль мостовых, где тихая вода.
И отражаются, и в плавном звоне
Тасуются, рябятся, — посмотри.
Спит циферблат, и годовы не клонит,
Собою освещенный изнутри.

Ты — марш знамен, и молнии парада,
Автобус пригородный и шоссе,

Где загорают дачные ограды,
И тишина скользит на колесе.

Но месяц — два в командировку с'ездив,
И в гул родной являешься опять,
Опахивать меня ветрами с'ездов,
Докладами и цифрами сверкать,
Не уставать — и, как состав далекий,
Свистать, задымленная, для того,
Чтобы тебе салютовали строки, —
Тобою поднятое торжество!

Поход вещей

ВИКТОР ГУСЕВ

Державин сказал бы: «смежаю я вежды»,
А я говорю: в голубой прозодежде,
Машинной походкой, сухая, как порох,
Ритмичная ночь наступает на город.

Простуженный чай замерзает в стакане,
Пружины поют в довоенном диване.
И я наблюдаю начало похода
Предметов
 домашнего
 обихода.

Как рыцарь блестящий, как лебедь печальный,
Плывет по паркету задумчивый чайник;
Плывет командиром, и тащатся следом
Бутылка и рюмка — два вечных соседа,
И примус, как клятва, избит и затаскан;
И фронт замыкает шекспировой маской, —
Пройдохой Фальстафом, — с остатками жара:
Пузатая тень моего самовара.

А ночь иностранной мелодией плещет.
Плывут по паркету знакомые вещи,
Встают у кровати моей на посту
И, мглою одеты, растут и растут.

И я говорю им обиженно колко:
— Позвольте! Вам место на кухонных полках. —
Но вещи вещают, большие, как тучи:
— «Мальчишкой любил ты нас больше и лучше,
Играл ты, из старых кастрюль создавая
Развалины Рима и горы Алтая;
Ты вырос. Глаза твои стали тихи,
И в комнату нашу вселились стихи.
Ну что ж! Совмещать тебе будет не лишним
Кипенье созвучий с шипеньем яичниц.

Весенними льдинами тают года.
Мы видим — любимая входит сюда.
Ликуют созвучья! Но злее и резче
В углах ухмыльнутся ехидные вещи.

Уверен их ход, бесконечен их танец,
Домашней хозяйкой любимая станет,
И высохнет песен веселая смута
Под сладостным игом больного уюта».

И мне в этих стенах становится тесно,
И рыбою бьется и сердце, и песня.
Вещам говорю я: — Уйдите теперь же! —
Но чайник вскипает и зол, и рассержен,
И хобот его покрывается пеной,
И комната — цирком, и скатерть — ареной,
И песня — бичем,
а я сам — укротитель!

Соседи проснулись. Соседи, простите!
А вещи? — Их мучает черная зависть,
Они убегают, во тьме огрызаясь.
Но песня быстрее!

Настигла!

И вот

Смиряются вещи, и кончен поход,
И утро о жизни и смерти поет.

1928 г.

Хождение по мукам.

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

(Окончание ¹).

Окна докторской квартиры находились по-провинциальному невысоко над землей. Среднее было раскрыто. Телегин подскочил к нему. На асфальте лежала длинная, как циркуль, человеческая тень и еще длиннее—от нее—тень от винтовки.

Все это произошло в какую-то долю секунды. Ручка входной двери повернулась, и в кабинет вошли сразу, плечо о плечо, двое молодых мещанского вида, в картузиках, в вышитых рубашках. Сзади них моталось рыжебородое, вегетарьянское лицо Говядина. Первое, что увидел Телегин, когда они кинулись в кабинет, — три направленных на него револьверных дула.

Это произошло в следующую долю секунды. Опытом военного человека он понял, что отступать, имея на плечах сильного и не разбитого противника, — неблагоприятно. Перебросив браунинг в левую руку, он сорвал с пояса, из-под френча, небольшую гранатку, — ту самую, к которой было прикручено письмо Гымзы, и, весь налившись кровью, завопил, срывая голосовые связки:

— Бросай оружие!

И возглас этот, весьма понятный, и весь вид Ивана Ильича были столь внушительны, что молодцы смешались и несколько подались назад. Вегетарьянская физиономия метнулась в сторону. Еще секунда была выиграна... Телегин со взмахнутой гранаткой навис над ними:

— Бросай...

И тут случилось то, чего никто из присутствовавших, а в особенности Телегин, никак уже не мог ожидать... Немедленно вслед за вторым его окриком, за ореховой одностворчатой дверью, ведущей из кабинета во внутренние комнаты, раздался болезненный крик, женский голос воскликнул что-то с отчаянной тревогой... Ореховая

¹) В этой книжке мы даем окончание романа «1918 г.», являющегося первой книгой второй части трилогии. Вторая книга «1919 г.» и третья книга «1920 г.» будут также печататься в «Новом Мире».

дверца раскрылась, и Телегин увидел Дашины безумно расширенные глаза, пальчики ее, вцепившиеся в косяк двери, худенькое лицо, все дрожащее от волнения.

— Иван!..

Около нее очутился доктор, схватил ее за бока, утащил, и дверца захлопнулась... Все это мгновенно перевернуло наступательно-оборонительные планы Ивана Ильича... Он устремился к ореховой двери, со всей силой плечом толкнул ее, что-то в ней треснуло, — и он вскочил в столовую... Он все еще держал в руках орудия убийства... Даша стояла у стола, схватилась у шеи за отвороты полосатого халатика, горло ее двигалось, точно она глотала что-то... (Он заметил это с пронзительной жалостью). Доктор пятился, — вид у него был перепуганный, вз'ерошенный.

— На помощь! Говядин!—прошипел он измятым голосом. Даша стремительно побежала к ореховой двери и повернула в ней ключ.

— Господи, как это ужасно!

Но Иван Ильич понял ее слова по-иному: действительно, ужасно было ворваться к Даше с этими штуками. Он торопливо сунул револьвер и гранатку в карманы. Тогда Даша схватила его за руку. — Идем. — И увлекла в темный коридорчик, а из него — в узкую комнату, где на стуле горела свеча. Комната была голая, только на гвозде висела Дашина юбка да у стены — железная кровать со смятыми простынями.

— Ты одна здесь? — шопотом спросил Телегин. — Я прочел твое письмо.

Он оглядывался, губы, растянутые в улыбку, дрожали. Даша, не отвечая, тащила его к раскрытому окну:

— Беги, да беги же, с ума сошел!..

Из окна неясно был виден двор, тени и крыши сбегających к реке построек, внизу — огни пристаней. С Волги дул влажный ветерок, остро пахнувший дождем... Даша стояла, вся касаясь Ивана Ильича подняв испуганно лицо, полуоткрыв рот...

— Прости меня, прости, беги, не медли, Иван, — пробормотала она, глядя ему в зрачки.

Как ему было оторваться? Сомкнулся долгий круг разлуки. Избежал тысячу смертей, и вот глядит в единственное лицо... Он нагнулся и поцеловал ее. Холодные губы ее не ответили, только затрепетали:

— Я тебе не изменила... Даю честное слово... Мы встретимся, когда будет лучше... Но — беги, беги, умоляю...

Никогда, даже в блаженные дни в Крыму, он не любил ее так сильно. Он сдерживал слезы, глядя на ее лицо...

— Даша, пойдем со мной... Ты понимаешь. Я буду ждать тебя за рекой, — завтра ночью...

Она затрясла головой, отчаянно простонала:

— Нет... Не хочу...

— Не хочешь?..

— Не могу...

— Хорошо, — сказал он, — в таком случае я остаюсь. — Он отодвинулся к стене... Даша ахнула, всхлипнула... И вдруг остервенело накинулась на него, схватила за руки, опять потащила к окну. На дворе скрипнула калитка, осторожно хрустнул песок. Даша в отчаянии прижалась теплой головой к рукам Ивана Ильича...

— Я прочел твое письмо, — опять сказал он. — Я все понял.

Тогда она на секунду бросила его тащить, обхватила за шею, прильнула к лицу всем лицом:

— Они уже на дворе... Они тебя убьют, убьют...

От света свечи золотились ее рассыпавшиеся волосы. Она казалась Ивану Ильичу девочкой, ребенком, — совсем такой, как тогда ночью, когда он раненый лежал в пшенице и, сжимая в кулаке кусочек земли, думал об ее непокорном и беспокойном, таком же хрупком сердце...

— Почему не хочешь уйти со мной, Даша? Тебя здесь замучают... Ты видишь, что здесь за люди... Лучше — все бедствия, но я буду с тобой... Дитя мое... Все равно, — ты со мной в жизни и смерти, как мое сердце со мной, так и ты...

Он сказал это тихо и быстро из темного угла. Даша закинула голову, не выпуская его рук, — у нее брызнули слезы...

— Верна буду тебе до смерти... Уходи... Пойми, я не чистая, я не та, кого любишь... Но я буду, буду...

Дальше он не слушал, — его опьянила бешеная радость от ее слез, от ее слов, от ее отчаянного голоса... Он так стиснул Дашу, что у нее хрустнули кости...

— Хорошо, все понял, прощай, — шепнул он. Кинулся грудью на подоконник и через секунду, как тень, соскользнул вниз, — только легко стукнули его подошвы по деревянной крыше сарая.

Даша высунулась в окно, — но ничего не было видно: тьма, желтые огоньки вдали. Обеими руками она сжимала грудь, там, где сердце... Ни звука на дворе... Но вот, из тени выдвинулись две фигуры. Пригнувшись, побежали наискосок по двору. Даша закричала, так пронзительно, страшно закричала, что фигуры с разбегу завертелись, стали. Должно быть обернулись на ее окно. И в это время она увидела, как в глубине двора через конек деревянной крыши перелез и скрылся Телегин.

Даша упала на кровать ничком. Лежала, не двигаясь. Так же стремительно вскочила, пошарила свалившуюся туфлю и побежала в столовую...

В столовой стояли, готовые к бою, доктор с маленьким никелированным револьвером и Говядин, вооруженный наганями. Оба наперебой спросили Дашу: «Ну, что?»... Она стиснула кулачок, бешено взглянула в ружьиные глаза Говядину:

— Негодяй, — сказала она и потрясла кулачком перед его бледным носом, — вас-то уж расстреляют когда-нибудь, негодяй!

Длинное лицо его передернулось, стало еще бледнее, отчего борода повисла, как неживая. Доктор делал ему знаки, но Говядин весь уже трясся от злобы:

— Эти штучки с кулачком бросьте, Дарья Дмитриевна... Я далеко не забыл, как вы однажды изволили ударить меня, кажется, даже туфелькой... Не те времена, Дарья Дмитриевна, кулачок ваш спрячьте... И вообще бы советовал не пренебрегать Говядиным...

— Семен Семенович, теряете время, — перебил доктор, продолжая делать знаки, но так, чтобы Даша не видела.

— Не беспокойтесь, Дмитрий Степанович, Телегин от нас не уйдет...

Даша крикнула:

— Вы не посмеете! (Говядин сейчас же загородился стулом.)

— Ну, мы там увидим, — посмеем, или нет... Предупреждаю, Дарья Дмитриевна, в «штабе охраны» очень заинтересованы лично вами... После сегодняшнего инцидента ни за что не ручаюсь... Не пришлось бы вас потревожить...

— Ну, уж вы, кажется, начинаете завираться, Семен Семенович, — сердито сказал доктор, — это уже слишком...

— Все зависит от личных отношений, Дмитрий Степанович... Вы знаете мое к вам расположение, мою давнишнюю симпатию к Дарье Дмитриевне...

Даша мгновенно побледнела. От усмешки лицо Говядина все перекивилось, как в дурном зеркале. Он заморгал рыжими ресницами, пытаясь вложить в свой взгляд как можно больше значительности. Взял фуражку, в дверях еще раз скривился и вышел, напрягая затылок, чтобы со спины не показаться смешным. Доктор сказал, садясь к столу:

— Страшный человек этот Говядин...

Даша ходила по комнате, хрустя пальцами. Остановилась перед отцом:

— Где мое письмо?

Доктор, пытавшийся открыть серебряный портсигар, издал шипение сквозь зубы, ухватил, наконец, папироску и мял ее в толстых, все еще дрожавших пальцах...

— Там... Чорт его знает... В кабинете, на ковре...

Даша ушла, сейчас же вернулась с письмом и опять остановилась перед Дмитрием Степановичем. Он закуривал, — огонек плясал около кончика папироски:

— Я исполнил мой долг, — сказал он, бросая спичку на пол. (Даша молчала.) — Милая моя, он — большевик, мало того, — контрразведчик... Гражданская война, знаешь, не шуточки, тут приходится жертвовать всем... На то мы и облечены властью, народ никогда не прощает нам слабостей. (Даша, неспеша, будто в задумчивости, на-

чала разрывать письмо на мелкие кусочки). Является, — ясно, как божий день, — выведать у меня, что ему нужно, и при удобном случае меня же уколошить... Видела, как он вооружен? С бомбой... В девятьсот шестом году здесь, на углу Москательной, у меня на глазах разорвало бомбой губернатора Блока... Посмотрела бы ты, что от него осталось, — туловище и кусок бороды. — У доктора опять затряслись руки, он швырнул на пол окурки, закурил новую папироску. — Я всегда не любил твоего Телегина, очень хорошо сделала, что с ним порвала...(Даша и на это смолчала). И начал-то с примитивнейшей хитрости, — видишь ли, заинтересовался, где ты... Но я сразу же растерялся, сунул ему твое письмо...

— Если Говядин его схватит...

— Никакого сомнения, у Говядина превосходная агентура... Знаешь, Даша, ты с Говядиным слишком уж резко обошлась... Я понимаю тебя... Но вам надо помириться... Говядин — крупный человек... Его и чехи очень ценят, и в штабе... Время такое, — мы должны жертвовать личным... Для блага страны, — вспомни классические примеры... Ты ведь моя дочь, правда, голова у тебя хотя и с фантазиями, — он засмеялся, закашлялся, — но неглупая голова...

— Если Говядин схватит его, — сказала Даша хрипло, — ты сделаешь все, папа, чтобы спасти Ивана Ильича...

Доктор быстро взглянул на Дашу, засопел. Она сжимала в кулаке клочки письма. Голова ее была низко опущена:

— Ты ведь сделаешь это, папа?

— Нет! — крикнул доктор, ударяя ладонью по столу. — Нет! Глупости! Желая тебе же добра... Нет!

— Тебе будет трудно, но ты сделаешь, папа...

— Ты девочка, ты просто дура! — заорал доктор. — Телегин негодяй и преступник, военным судом он будет расстрелян...

Даша подняла голову, серые глаза ее загорелись так нестерпимо, что доктор, сопнув, занавесился бровями... Она подняла, как бы грозя, кулачок со стиснутыми в нем бумажками.

— Если все большевики такие, как Телегин, — сказала она, — стало-быть, большевики правы.

— Дура!.. Дура!.. — Доктор вскочил, затопал, багровый, трясущийся. — Большевиков твоих, вместе с Телегиным, надо вешать! На всех телеграфных столбах... Кожу драть заживо! В нужниках топить в их собственном дерьме...

Но у Даши характер был, пожалуй, покруче, чем у Дмитрия Степановича: она только побелела, подошла вплотную, не сводя с него нестерпимых глаз:

— Мерзавец, — сказала она, — что ты беснуешься? Ты мне не отец, — сумасшедший, растленный тип!

И она швырнула в лицо ему обрывки письма...

Этой же ночью на рассвете доктора подняли к телефону. Грубоватый, спокойный голос проговорил в трубку:

— Довожу до сведения, что близ Самолетской пристани, за мучным лабазом, только-что обнаружены два трупа — помощника начальника контрразведки Говядина и одного из его агентов. Все.

Трубку повесили. Дмитрий Степанович разинул рот, захватывая воздух, и повалился тут же около телефона в сильнейшем сердечном припадке.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Армия Сорокина, разбив лучшие в Доброармии войска Дроздовского и Казановича, изменила первоначальному плану ухода за Кубань и вместо этого, повернувшись под Кореневской на север, начала наступление на станцию Тихорецкую, где находился штаб Деникина.

Десять уже дней длилась беспощадная битва. Одушевленные первыми успехами, большевики сметали все заслоны перед Тихорецкой. Казалось, теперь ничто не могло остановить их стремительного движения. Деникин спешно стягивал разбросанные по Кубани силы. Ожесточение было так велико, что каждая стычка кончалась штыковой резней.

Но с той же стремительностью в Сорокинской армии шло и разложение. Обострялась вражда между кубанскими полками и украинскими. Украинцы и старые фронтовики по пути наступления опустошали кубанские станицы, не разбирая, за белых они стоят, или за красных: все равно здесь была не своя земля. Никакими силами сорокинский штаб не мог остановить разгоревшихся, голодных, не спавших десятки сутки победителей...

Все понятия путались. Станичники с ужасом видели, как из-за края степи в тучах пыли надвигаются полчища. И вот молодой сажился на коня и уходил к Деникину, старый с бабами, детьми и скотом бежал отсиживаться в овраги.

Станицы поднимались против Красной армии. Кубанские полки кричали: «Нас на убой посылают, а иногородние нашу землю грабят... Не хотим!»... Начальник штаба армии, Беляков, бешено крутился в водовороте событий, — он только схватывался за голову: цела ли она еще на плечах. Еще бы! Стратегия летела к чорту. Вся тактика была в острие штыка да в революционной ярости. Дисциплину заменяло неотвратимое, стремительное движение всех войсковых масс... На главнокомандующего Сорокина страшно было и смотреть: эти дни он питался спиртом и кокаином, — глаза его воспалились, лицо почернело, он сорвал голос и, как обезумевший, пер вперед на плечах армии.

Случилось неминуемое. Добровольческая армия, прокаленная насквозь, до единичного стрелка, стальной дисциплиной, поражаемая и отступающая, но, как механизм, послушная воле единого командо-

вания, снова и снова переходила в контратаки, зацеплялась за каждую удобную складку земли, холодно и умело выбирала слабые места противника. И вот 25 июня под Выселками, в 50 верстах от Тихорецкой, разыгрался последний, десятый день битвы.

Позиции войск Дроздовского и Казановича были даже хуже, чем в предыдущие дни. Здесь красным удалось выйти в тыл всей группе Дроздовского. Добровольцы попадали почти в такой же мешок, как большевики под Белой Глиной... Но Красная армия была уже не та, что десять дней назад. Страстное напряжение падало, упорство противника вселяло недоверие, сомнение, отчаяние, — когда же конец, победа, отдых?

В четвертом часу дня красные бросились в атаку по всему фронту противника, охваченного почти со всех сторон (в треугольнике—Журавская, Выселки, хутор Малеванный). Удар был неистовый. Кругом по всему горизонту ревели пушки. Густые цепи шли, не ложась. Напряжение, нетерпение, ярость достигли высшего предела...

Так началась гибель армии Сорокина. Первая волна наступающих была расстреляна и уничтожена в штыковом бою. Следующие волны смешались под огнем среди трупов, раненых, падающих. И тогда случилось то, чего нельзя ни учесть, ни постигнуть, ни остановить, — все напряжение сразу сломилось. Больше нехватило сил, нехватило страсти.

Холодная воля противника продолжала наносить расчетливые удары, увеличивая смятение противника. С севера марковцы и конный полк, с юга конница Эрдели врезались в перемешавшиеся полки. Поползли режущие огнем броневики, задымили бронепоезда белых. Тогда началось отступление, бегство, бойня. К четырем часам вся степь в южном и западном направлениях была покрыта отступающей, уничтоженной, как единая сила, армией Сорокина.

Начштаба Беляков силой повалил главнокомандующего в автомобиль. Налитые кровью глаза Сорокина были выпучены, рот — в пене, черной рукой он еще сжимал расстрелянный револьвер. Огромный автомобиль бешено промчался по трупам и скрылся за холмами.

Главная часть Красной армии уходила на Екатеринодар и затем по левому берегу Кубани на станицу Невинномысскую. Часть бросилась на запад, к Тимашевской. Туда, слышно, подходил из Тамани Ковтюх и бил добровольцев.

Действительно, красные войска, занимавшие Таманский полуостров (численностью в три колонны по 10—12 тысяч штыков в каждой), отступали на соединение с войсками Екатеринодарского района. Организованные казачьими офицерами в камышах и плавнях отряды станичников теснили их со всех сторон. По станицам уже начали вешать коммунистов и советы. Тысячи иногородних с детьми и скарбом бежали под защиту таманцев.

Двигаясь к Екатеринодару, Ковтюх с первой колонной Таманской армии разбил и растрепал конницу генерала Покровского. Но дошел

только до Тимашевской. Все дороги и базы были уже отрезаны. Армии приходилось спешно уходить из окружения по черноморскому побережью на Новороссийск и дальше на юг в горы.

Деникина теперь ничто уже не могло остановить. Легко расчищая путь, он со всеми силами подошел к Екатеринодару, и первого августа после ожесточенного штурма взял его. Так закончился «Ледяной поход», шесть месяцев назад начатый Корниловым с кучкой офицеров.

Екатеринодар стал белой столицей. Богатейшие области Черноморья были очищены от всего, что бродило и бушевало. Оставался Новороссийск, но и он пал в конце августа. У генералов, еще недавно самолично искавших вшей в рубашке и дрогнувших под дождем в истлевших шинелишках, возродились великодержавные традиции, старый имперский размах.

Прежний кустарный способ ведения войны путем добывания оружия и огневого снаряжения с бою или налетом на большевиков был, разумеется, неприменим для новых, обширных планов. Нужны были деньги, широкий приток оружия и снаряжения, постановка интендантской части для большой войны, мощные базы для наступления в глубь России.

Нужно было просить помощи и поддержки у Антанты. Для этого первая белая заповедь гласила: верность союзникам и продолжение войны с немцами до победного конца. Немецкий главный штаб слишком поздно понял неизбежность такой ориентации Доброармии. Только когда Кутепов десятого июля взорвал железнодорожный мост у станции Куцевка, открыто разрывая всякую связь между Ростовом и Кубанью, немецкое командование спохватилось: взрыв моста произвел на них сильнейшее впечатление. Представитель германского правительства на-Дону майор фон-Кофенгаузен вызвал в Ростов атамана Краснова и серьезно поговорил с ним о неприятных тенденциях деникинского штаба. Атаману Краснову также мало нравились успехи Деникина, его повышающийся великодержавный тон. (В тесном кругу атаман называл добровольцев не иначе, как «странствующие музыканты».) Фон-Кофенгаузен предложил ему в противовес Доброармии формировать на Дону и на юге Воронежской губернии «особую южную армию», подчиненную непосредственно Краснову, обещал широкий кредит и материальные средства. Атаман с восторгом согласился. Началось формирование трех корпусов — Астраханского, Воронежского и Саратовского. Всеми силами переманивали офицеров из Доброармии. В сентябре главнокомандующим «Южной армией» был назначен престарелый генерал Николай Иудович Иванов, тот самый, который полтора года назад шел из ставки спасать царя и так и не дошел до Петрограда. На новом посту Николай Иудович внезапно понес такой вздор, что в Новочеркасске сначала все растерялись, потом поспешили его отставить, — оказалось, что старик уже давно сошел с ума от российских потрясений...

Англия и Франция быстро поняли всю важность кубанских побед Деникина. Интересы этих стран были различны и противоречивы. Англию чрезвычайно устраивало ослабление и расчленение России, владевшей мощным нефтяным бассейном и вечно нависавшей жутким призраком на рубеже Гималаев. Франции нужна была Россия сильная и богатая, угрожающая Германии. Миллиарды французских денег были вложены в угольные разработки Донецкого бассейна, в украинскую промышленность, в уральские заводы, в сибирские рудники. Но эта разноречивость целей лежала далеко в будущем, а пока и Англия и Франция с большим удовлетворением следили за тем, как Деникин бьет армии большевиков. Сошлись на ближайшей цели, — уничтожения русского революционного правительства, не желающего продолжать войну с немцами. Первая и главная забота была в разгроме Германии, поэтому надо было, — какого чорта, в самом деле, — заставить Россию снова драться. Англия взяла на себя заботу о Кавказе и о русском Севере—Архангельске и Мурмане; Франция—о южной России, с черноморскими гаванями.

Эпоха домашней междоусобной борьбы кончалась, — в игру вступали извне мощные силы.

Особенная и неожиданная опасность встала перед германским главным штабом сейчас же после первых июньских побед Деникина, когда Сорокинская армия, занимавшая фронт по железной дороге,— Батайск—Тимашевская, — обнаружила неустойчивость и нервность. Большевики были врагом, связанным по рукам и ногам Брест-Литовским договором. Деникин оказывался врагом, — еще не изведанным и не изученным и ничем не связанным. С разгромом Сорокинской армии Деникин выходил к Азовскому морю и к Новороссийску, где с первых чисел мая находился весь русский военный флот.

Со стороны Черного моря немцы не были защищены. Покуда флот находился в руках большевиков, они были спокойны, — на всякое его враждебное действие они ответили бы переходом через украинскую границу, — на Курск—Москву, на Полтаву—Смоленск. Но пятнадцать эскадренных миноносцев и два дредноута в руках Деникина были уже серьезной угрозой превращения Черного моря во фронт мировой войны. Эти соображения усугублялись успехами чехо-словаков в Поволжье и Сибири. Всею германскому тылу грозило острое неблагополучие.

Десятого июня германское правительство пред'явило Совету Народных Комиссаров ультиматум о переходе всего черноморского военного флота из Новороссийска в Севастополь, где находился немецкий гарнизон, — для интернирования флота до окончания мировой войны. Срок исполнения назначался девятнадцатого июня. В случае неисполнения Германия угрожала наступлением на Москву.

Приходилось покориться, — воевать с немцами было нельзя, но и флота отдавать нельзя. Из Москвы выехал в Новороссийск представитель правительства Вахрамеев и на собрании делегатов от флота в присутствии всех командиров предложил единственный выход: Совнарком пошлет открытое радио с приказом флоту итти в Севастополь и сдаваться немцам, но этого приказа не слушать и до срока всем судам топиться на новороссийском открытом рейде.

Делегаты выслушали Вахрамеева, — он предлагал самоубийство. Повесили головы старые моряки. Но — податься некуда: у флота не было ни угля, ни нефти, ни запасов огневого снаряжения. На западе и севере стояли немцы, с востока приближался Деникин, на рейде чертили пенные полосы перископы германских подводных лодок. И делегаты решили, — флот надо топить, но все же перед этим страшным деянием поставить судьбу его на голосование всего флотского экипажа.

Начались многотысячные митинги в Новороссийской гавани. Трудно было понять морякам, глядя на ошвартованные, с погасшими трубами серо-стальные гиганты — дредноуты «Воля» и «Свободная Россия», на покрытые военной славой быстроходные миноносцы, еще недавно шнырявшие, как волчья стая, по турецким берегам, на сложные переплеты бащен и мачт, высоко громоздившихся над гаванью, над толпами народа, — трудно было представить, что эти, почти живые, существа, пловучая родина моряков, опустятся на дно морское без единого выстрела, не сопротивляясь, погибнут от своей же руки.

Не такие были головы у черноморских моряков, чтобы спокойно решиться на самоуничтожение. Много было крикано исступленных слов, бито себя в грудь кулачищем, рвано тельников на татуированных грудях, растоптано фуражек с ленточками... От утренней зари до вечерней, когда закат облагривал лилово-мрачные воды не своего теперь, проклятого моря, где напрасно гнили русские косточки, — густые толпы моряков, солдат и прочего люда волновались по всей набережной. Командиры судов и офицеры смотрели на дело по-разному: большая часть склонна была итти в Севастополь, — сдаваться, меньшая, во главе с командиром эсминца «Керчь», старшим лейтенантом Кукелем; понимала неизбежность гибели и все огромное значение ее для будущего. Они говорили: «Мы должны покончить самоубийством, на время закрыть книгу истории Черноморского флота, не запачкав ее...»

На митингах решали утром — так, вечером — эдак. Больше всего было успеха у тех, кто, хватив о землю шапкой, кричал:

— Товарищи, чихали мы на москалей. Нехай их сами топнут. А мы нашего хвота не отдадим. Будем с немцем биться до последнего снаряда...

— Урррра! — ревом катилось по гавани...

Особенно сильное смятение началось, когда за четыре дня до срока ультиматума примчались из Екатеринодара председатель ЦИК'а Черноморской республики Рубин и представитель армии Перебийнос,

саженного роста, страшного вида человек с четырьмя револьверами за поясом. Оба они, — Рубин в пространной речи, Перебийнос — больше рыча и потрясая оружием, — доказывали, что ни отдавать, ни топить флота не можно, что в Москве сами не понимают, что говорят, что Черноморская республика доставит флоту все, что ему нужно, — и нефть, и снаряжение...

— У нас на фронте дела такие, что лучше и не надо, — кричал Перебийнос, — на будущей неделе мы суку Деникина раздавим, мокрого места не останется... Братишечки, не можете сейчас драться с немцами — и не надо... Корабли не топите, — вот что нам надо... Чтобы мы на фронте чувствовали, что в тылу у нас могучий флот... А будете себя топить, то я от всей Красной армии категорично заявляю, — мы этого предательства перенести не можем, и мы с отчаяния повернем свой фронт на Новороссийск, в количестве сорока семи тысяч штыков, и вас, братишечки, всех до единого поднимем на свои штыки...

После этого митинга все пошло вразброд, закружились головы. Команды стали бежать с кораблей куда глаза глядят. В толпе все больше появлялось темных личностей, — днем они громче всех кричали, чтобы биться до последнего снаряда, а ночью все теснее кучки их подбирались к опустевшим миноносцам, готовые броситься, покидать в воду команду и грабить...

В эти дни на борт миноносца «Керчь» вернулся Семен Красильников.

Семен чистил медную колонку компаса. Вся команда работала с утра, скребя, моя, чистя миноносец, стоявший саженьях в десяти от стенки. Горячее солнце всходило над каменистыми холмами, в безветренном зное висели флаги. Семен старательно надраивал медяшку, стараясь не глядеть в сторону гавани. Команда убирала миноносец перед смертью.

В гавани дымили огромные трубы дредноута «Воля». Орудия со снятыми чехлами сверкали. Черный дым клубами поднимался к небу, и корабль, и дым, и крыши города, опрокинутые, отражались в зеркальном заливе.

Семен, присев на голые пятки, тер, тер, тер медяшку... Этой ночью он держал вахту, и так ему было горько, раздумавшись: зря заехал сюда... Зря не послушал брата и Матрены... Смеяться будуг теперь: «Эх, скажут, дюже ты повоевал с немцами, — пропили флот, братишки»... Что ответишь на это? Скажешь: «Своими руками почистил, прибрал и утопил «Керчь».

От «Воли» к судам бежал моторный катер, махали флагами. Вот контр-миноносец «Дерзкий» отвалил от стенки, взял на буксир «Беспокойного» и медленно потащил его на рейд. Один за другим, лениво, как больные, уходили эскадренные миноносцы: «Поспешный», «Живой», «Жаркий», «Громкий»...

Затем в движении настал перерыв. Осталось восемь миноносцев, на них не заметно было никакого движения. Семен глядел теперь на светло-серую, с ржавыми потеками по бортам, многобашенную громаду «Воли». Глядела туда и вся команда, бросив швабры, суконки, брандспойты. На «Воле» развевался лениво флаг командующего флотом капитана первого ранга Тихменева.

— Уйдет, — сказал кто-то из матросов. — Уйдут... Сволочи...

— Испугались...

— Предатели...

За «Волей» на якорях стоял второй, такой же величины, дредноут «Свободная Россия». Но он, казалось, дремал спокойно, весь прикрытый чехлами, на палубах не видно было ни души. По берегу двигалась толпа вслед уходившим миноносцам. От мола отчаянно гребли к ним какие-то лодки. И вот, ясно в безветренной гавани раздались боцманские свистки, на «Воле» загрохотали лебедки, полззли вверх мокрые цепи, облепленные илом якоря. Нос корабля стал заворачивать, переплеты мачт, трубы, башни двинулись на фоне городских крыш.

— Ушли... К немцам... Эх, братишки... В плен... Что вы сделали?..

Тогда на мостик миноносца «Керчь» вышел командир, с большим облупившимся носом на черно-загорелом лице. Провалившиеся глаза его следили за движениями «Воли». Перегнувшись с мостика, он командовал:

— Поднять сигнал...

— Есть поднять сигнал, — во всю глотку ответил Семен, бросаясь к ящику с сигнальными флагами.

Матросы одобрительно закачали головами. На мачте «Керчи» взлетели пестрые флажки, — затрепетали в небесной лазури. Их сочетание обозначало:

«Судам, идущим в Севастополь: позор изменникам России»...

На «Воле» не ответили на сигнал сигналом, — не пожелали заметить. «Воля» скользила мимо военных судов, оставшихся верными чести, — безлюдная, опозоренная... «Заметили». — Семен ахнул... Двенадцатидюймовое орудие на ее кормовой башне поднялось, как указательный палец, башня с двумя пушками повернулась в сторону миноносца... У Семена подошвы приросли к горячей палубе... Но орудия пошевелились и замерли...

Развивая ход, «Воля» обогнула мол, и скоро горделивый профиль ее утонул за горизонтом, чтобы через много лет стоять обезоруженной и заржавленной в далекой Бизерте.

Командующий флотом Тихменев настоял на своем и выполнил формальный приказ Совнаркома: дредноут «Воля» и шесть эскадренных миноносцев сдались в Севастополе на милость. Экипаж и офицеры были отпущены на свободу.

Матросы разбрелись кто куда, — на родину, по домам. Рассказывали про то, что рука не поднялась топить корабли, а больше всего испугались сорока семи тысяч черноморских красноармейцев, посуливших поднять на штыки весь Новороссийск.

Дредноут «Свободная Россия» и восемь эскадренных миноносцев остались в Новороссийском порту. На завтра истекал срок ультиматума. Над городом плавали кругами германские самолеты. На рейде, среди играющих под солнцем дельфинов, выныривали германские подводные лодки. В Темрюке, неподалеку, слышно, высаживался немецкий десант. А на набережных, не расходясь, круглые сутки бушевали митинги, и все напористее кричали какие-то штатские личности:

— Братишки, не губите себя, не топите флота...

— Офицеры одни хотят топить флот, офицеры все до одного купленные Антантой...

— В Севастополе в декабре покидали в воду офицеров, что же сейчас боитесь?..

Тут же на место крикуна кидался агитатор, рвал на груди рубашку или тельник:

— Товарищи, не слушайте провокаторов... Уведете к немцам флот, они вас же будут расстреливать из этих пушек... Не отдавайте оружия имперьялистам... Спасайте революцию... Спасайте мировой пролетарят...

Вот тут и разберись: кого бить? кого слушать? А на место агитатора вылезал солдат из Екатеринодара, весь обмотанный оружием, опять грозил сорока семью тысячами штыков... И к ночи на восемнадцатое июня многие команды не вернулись на суда, — скрылись, разбежались, попрятались, ушли в горы...

Всю ночь миноносец «Керчь» переговаривался световыми сигналами. «Свободная Россия» отвечала, что принципиально готова топиться, но команды на ней осталось меньше сотни из двух тысяч, и вряд ли можно будет даже развести пары, отойти от стенки. Миноносец «Гаджи-Бей» промигал, что на нем все еще идет бурный митинг, появились девки из города со спиртом, очевидно, подсланные, и возможен грабеж судна. На миноносце «Калиакирия» остались командир и судовой механик. На «Фидониси» — шесть человек. О том же сигнализировали миноносцы «Капитан Баранов», «Сметливый», «Стремительный», «Пронзительный». Полностью команда находилась только на «Керчи» и «Лейтенанте Шестакове».

В полночь к «Керчи» подошла какая-то шлюпка, и дерзкий голос оттуда позвал:

— Товарищи моряки... С вами говорит корреспондент «Известий ВЦИК'а»... Только-что получена телеграмма из Москвы от адмирала Саблина: ни в каком случае флота не топить и в Севастополь не итти, а ждать дальнейших распоряжений...

Матросы, перегнувшись с фальшборта, молча всматривались в темноту, где качалась лодка. Голос продолжал доказывать и уговаривать... Командир, выйдя на мостик, перебил его:

— Покажите телеграмму Саблина.

— К сожалению, осталась дома, сейчас могу привезти...

Тогда командир громко проговорил, растягивая слова, чтобы было слышно:

— Шлюпке с правого борта отойти на полкабельтовых. Ближе не подходить...

— Извиняюсь, товарищ,—испуганно и дерзко закричал голос,— вы не желаете слушать распоряжений центра, я буду телеграфировать...

— В противном случае буду топить шлюпку, — спокойно пробасил командир. — Вас возьму на борт. За действия команды не отвечаю. Возможен самосуд...

Со шлюпки на это ничего не ответили. Потом осторожно плеснули весла. Очертание лодки утонуло в темноте. Матросы засмеялись. Командир, заложив руки за спину, сутулый, худущий, ходил по мостику, вертелся, как в клетке.

Эту ночь мало кто спал. Лежали на палубе, мокрой от росы. Нет-нет, поднимется голова и скажет слово, и сон летит от глаз, говорят вполголоса. Вот уже побледнели звезды, занялась заря за холмами. С берега пришел мичман Анненский, командир «Лейтенанта Шестакова», сообщил, что команды бегут не только с миноносцев, портовых буксиров и катеров, но и на коммерческих кораблях не осталось ни одного матроса: неизвестно, чем буксировать суда на рейд. Командир сказал:

— Мичман Анненский, ответственность лежит на нас, — чего бы это ни стоило, мы утопим корабли.

Мичман Анненский тряхнул головой. Помолчали. Потом он ушел. Когда заря разгорелась над заливом, «Лейтенант Шестаков» медленно отделился от стенки, таща на буксире «Капитана Баранова», и начал выводить его на внешний рейд к месту потопления. Миноносцы держали на мачтах сигнал:

«Погибаю, но не сдаюсь».

Скоро они скрылись в утреннем тумане. Все суда казались теперь опустевшими. Стальная громада «Свободной России» приросла к стенке, — непонятно, какими силами ее можно было сдвинуть с места. Дымили трубы только на «Керчи». Несмотря на ранний час, толпы народа бежали на набережные, полоска мола была облеплена черно, как мухами. У кораблей начиналась давка, лезли на плечи, срывались в воду.

Семен Красильников стоял на часах у сходен. В шестом часу из толпы протолкался небольшой, красный от возбуждения, человек в зеленой солдатской рубашке, застучал каблуками по сходням:

— Здесь старший лейтенант Кукель? — крикнул он Семену. Румяное лицо его с маленьким сморщенным ртом было в поту, голубые,

веселые, круглые глаза выпучились на Семена, загородившего путь штыком. Он живо похлопал себя по бокам, по груди, вытащил и предъявил мандат на имя представителя центральной советской власти Ф. Ф. Раскольникова. Семен, улыбаясь, опустил штык:

— Проходите, товарищ Раскольников...

Командир сошел ему навстречу и стал рассказывать о почти безнадежном положении дел. Он говорил обстоятельно и неспеша. У Раскольникова вертелись глаза от нетерпения:

— Ерунда, бывали в переделках похуже... Я уже говорил с моряками, настроение превосходное... Сейчас достану вам буксиры, все, что нужно... Устроим митинг... Обойдется, как нельзя лучше...

Он потребовал катер и ушел на «Свободную Россию». Оттуда начал мотаться в катере от берега к берегу. Семен видел, как его зеленая рубашка повисала на штурмовых трапах коммерческих пароходов, как он, выскакивая на берег, нырял в толпу, и оттуда неслись крики, поднимались руки. «Вот, дьявол, — бойкий», — думал Семен. В одном месте тысячи глоток заревели «ура». Несколько шлюпок, набитых моряками, отвалили от стенки, пошли в глубину гавани к заржавленному небольшому пароходу, и скоро из трубы его повалил густой дым; он снялся с якоря и подошел к «Свободной России». Еще на одной шхуне заплескались паруса. Вернулся «Лейтенант Шестаков» и взял на буксир второй миноносец.

В десятом часу толпа понаперла к сходням «Керчи». Как-будто настроение снова менялось к худшему. К борту протискивались какие-то черномазые оборванцы, у каждого — корзина с колбасой и хлебом. Скаля зубы, они подмигивали морякам, показывали в корзинах бутылки со спиртом. Даже у Семена началась тоска в животе. Тогда командир приказал убрать сходни и отдать концы. «Керчь» отошел от соблазна на середину гавани, откуда и наблюдала за буксированием миноносцев.

Ржавый пароход, казавшийся скорлупкой, пыхтя и дымя, сдвинул, наконец, «Свободную Россию», и она величественно поплыла мимо тысячных толп. Многие снимали шапки, как перед гробом. Она благополучно миновала боны, ворота в гавань и удалялась в глубину рейда. Опять ждали немецких аэропланов и перископов, но небо и море были спокойны. В гавани оставался только миноносец «Фидониси».

Снова в толпе начался водоворот, и черная икра голов сбилась у стенки, где стоял «Фидониси». К ней подходила парусно-моторная шхуна, чтобы взять на буксир. Из толпы полетели камни навстречу шхуне, хлопнуло несколько револьверных выстрелов. Седоволосый человек, взобравшись на фонарь, кричал: «Братоубийцы, Россию продали... Армию продали.. Братцы... Что же вы смотрите... Последний флот продают...»

Толпа заревела, выворачивая камни. Несколько человек перескочило через борт «Фидониси». Тогда быстро к берегу подошла

«Керчь», — колокол на ней пробил боевую тревогу, орудия зрячими жерлами повернулись на толпу, командир закричал в мегафон:

— Назад! Открываю огонь!

Толпа попятилась, отхлынула, завизжали раздавленные. Поднялась пыль, и берег опустел. Шхуна взяла на причал и увела «Фидониси».

«Керчь» медленно шел следом до места, где на рейде лежали все корабли на легкой зыби. Свистал в мачтах синий ветер. Командир держался обеими руками за перила мостика. Был четвертый час дня. «Керчь» обошел с правого борта «Фидониси», командир сказал одно только слово, — черной тенью мелькнула из аппарата мина, пенная полоска побежала по зыби, и вот, как раз посередине, корпус «Фидониси» приподнялся, разламываясь, косматая гора воды и пены взлетела из морской бездны, тяжелый грохот прокатился далеко по морю. Когда гора воды опала, на поверхности не было «Фидониси», ничего кроме пены. Так началось потопление.

Подрывные команды открывали на миноносцах кингстоны и клинкетты, отдраивали все иллюминаторы на накрененном борту, и перед тем, как садиться с тонущей палубы в шлюпку, зажигали Бикфордов шнур, чтобы взорвать десятифунтовым патроном турбины и цилиндры. Миноносцы быстро скрывались под водой на многосаженной глубине. Через двадцать пять минут рейд был пустынен.

«Керчь» полным ходом подошел к «Свободной России» и изо всех аппаратов выбросил тремя залпами мины. Матросы медленно сняли фуражки. Первая мина ударила в корму, — дредноут качнулся, охваченный потоками воды. Второй залп попал в борт. Сквозь тучу пены и дыма было видно, как закатились мачты. Дредноут боролся, будто живое существо, еще более величественный среди ревущего моря и громовых взрывов... Семен глядел, глядел и, всхлипнув, упал лицом в руки... Матросы сопели... У старых моряков ползли слезы. Командир весь высох в эти минуты, остался у него один нос, протянутый к гибнущему кораблю. Ударил последняя мина, и «Свободная Россия» начала переворачиваться вверх килем... Она сделала еще усилие, будто приподнимаясь из воды, и быстро ушла на дно в пенном водовороте.

От места гибели «Керчь» пошел, развивая предельную скорость, на Туапсе. Под утро команда была высажена в шлюпки. После этого он послал радио:

«Всем... Погиб, уничтожив часть судов Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии. Эскадренный миноносец «Керчь».

Он открыл кингстоны, взорвал машины и затонул на пятнадцатисаженной глубине.

На берегу Семен Красильников говорил с товарищами, — куда теперь итти? Думали, думали так и эдак и сговорились итти на Астрахань, на Волгу, где, слышно, Раскольников формирует речной военный флот для борьбы с чехами и белогвардейцами.

По горным тропам и бездорожью, преследуемые по пятам колонной генерала Покровского, окруженная повально восставшими станицами, Таманская армия под командой Ковтюха пробивалась кружным путем на верховье Кубани.

Путь лежал через Новороссийск, занятый после гибели флота немцами. Поезда таманцев подошли неожиданно, — войска с песнями проходили через город. Немецкий гарнизон, не понимая их намерений, бросился на суда и обстрелял морскими орудиями заднюю колонну и заодно заседавших на хвост ее пьяных и озверевших станичников.

Из предосторожности немцы покинули город, и он, когда Ковтюх, отбиваясь, ушел, был занят казаками и затем регулярными войсками белых. Гнездо большевиков было отдано на поток и разорение. Матросов, красноармейцев и просто жителей — поплотше — вылавливали и без суда вешали на телеграфных столбах. Ломовые извозчики свезли в те три дня тысячи трупов в море. Новороссийск стал белым портом: перспективы Деникина разворачивались. Через два месяца в его гавани бросят якоря французские дредноуты и английские крейсера.

По голодному побережью Таманская армия, отягощенная обозами пятнадцати тысяч беженцев, дошла до Туапсе и оттуда круто свернула на восток, на Белореченскую. Деникинцы гнались по пятам, впереди все ущелья и высоты были заняты повстанцами. Каждый день разворачивался в тяжелый бой, и в нем добывались патроны и оружие. Истекая кровью, огрызаясь, умирая от голода, армия сползала в сырые ущелья, взбиралась на скалы, таяла и шла, не останавливаясь. Ковтюх, тучный и страшный видом человек, шел с первой колонной, пробивавшей лбом дорогу.

Однажды к нему привели отпущенного генералом Покровским пленного красноармейца с письмом генерала к Ковтюху, написанным с военной простотой:

«Ты, мерзавец, опозорил всех офицеров русской армии и флота тем, что решился вступить в ряды большевиков, воров и босяков; имей в виду, что тебе и твоим босякам пришел конец. Мы тебя, мерзавца, взяли в цепкие руки и ни в коем случае не выпустим. Если хочешь пощады, то-есть за свой поступок отделаться арестантскими ротами, тогда я приказываю тебе исполнить мой приказ: сегодня же сложить все оружие, а банду, разоруженную, отвести на расстояние 4—5 верст западнее станции Белореченской. Когда это будет выполнено, немедленно сообщи мне на четвертую железнодорожную будку...»

Ковтюх, читая это письмо, пил чай из консервной банки. Он посмотрел на босого, в распоясанной рубашке, в драных портках красноармейца, уныло стоявшего перед ним:

— Го... ты, братец, — сказал ему Ковтюх, — как же ты мне передаешь такие письма?.. Уйди с глаз долой в свою часть...

И в эту же ночь Ковтюх нанес генералу Покровскому страшный удар, опрокинул и гнал конницей его части и, прорвавшись на Белореченскую, вышел из окружения. В конце сентября Таманская армия

появилась под Армавиром, занятым деникинцами, взяла его штурмом и в станице Невинномысской соединилась с остатками армии Сорокина.

Закаленные в боях таманцы послужили ядром, которое начало обрастать боеспособными силами. Здесь впоследствии сформировалась новая, на новых началах, так называемая Одиннадцатая Северо-Кавказская армия, впервые подчиненная Реввоенсовету.

Потеряв после разгрома под Выселками и Екатеринодаром влияние в армии, хлебнув бешеного хмеля военной славы и озлобленный неудачами, несчастный Сорокин отступал все дальше и дальше на восток, крутясь, как щепка в водовороте того, что еще недавно именовалось дивизиями, бригадами, полками. Теперь это были дикие толпы, бегущие при первых выстрелах противника. Их влекло одно — поскорее оторваться от висящей за плечами смерти, уйти, куда глаза глядят. Нескончаемые толпы дезертиров брели по терским степям, по древней дороге народов, покрытой полынью и курганами.

Из-под Екатеринодара ушло около двухсот тысяч войск и беженцев. Те, кто остался, были зарублены, повешены, замучены станичниками. В каждой станице качались трупы на пирамидальных тополях. Красным мстили теперь без пощады, не опасаясь их возврата. Во всем краю выжигали самое имя большевиков.

Сорокин был рожден революцией. Он звериным чутьем понимал таинственные законы ее движения, знал ее взлеты и отчаянные падения. Он не руководил отступлением, — это было бы бесполезно. Стихия устремлялась на восток, — она остановится, когда у белых ослабнет упорство преследования.

Ему оставалось только мрачно глядеть в окна вагона, ползущего по выжженным степям мимо курганов древних пелазгов, кельтов, германцев, славян, хозар... Личный конвой охранял его поезд, так как проходившие эшелоны кричали:

— Братишки, командиры нас продали, пропили, бей командиров, мы своих убили.

Начштаба Беляков приходил в купе, вздыхал и осторожно начинал говорить туманные слова о невозможности дальнейшей борьбы. «Революция имеет свои фазы, — постоянно повторял он, поглаживая ладонью большой лоб, — подьем прошел, против нас выступают уже стихийные силы. Мы боремся не с офицерами только, а со всем народом. Нужно во-время спасти завоевания революции... Спасти хотя бы компромиссным миром... И он приводил убедительнейшие примеры из мировой истории...

— За деньги, что ли, меня хочешь купить, подлец? — только и отвечал на это Сорокин. Попадись ему Деникин сейчас в руки, — с'ел бы живьем. Но всего злее разгоралось его сердце на товарищей, членов черноморского ЦИК'а, бежавших из Екатеринодара в Пятигорск. Они только и знали, что «изыскивали меры, обезоруживающие

диктаторские намерения Сорокина»... Не исполняли срочных приказов. Всюду вмешивались, лезли со своим бородатым Марксом в самую душу главнокомандующего.

В последнее время Сорокин снова начал злоупотреблять спиртом. В купе его появилась и Зинка, блондиночка, — в этом опять чувствовалась забота Белякова. Зинка была все такая же розовенькая и соблазнительная, только голосок ее несколько осип, все ее шелковые кофточки и гитару сперли в обозе. Обращение ее с главнокомандующим стало более вольным и смелым.

По ночам, когда опускались шторы в купе и Сорокин впадал в мрачный восторг хмеля, Зинка, побренчав на балалайке, принималась нести ту же бурду, что и Беляков: про близкий конец революции, про блистательную судьбу Наполеона, умевшего найти переход от террора к империи, и прочее, и прочее... У Сорокина начинали светиться глаза, бешено билось сердце, гоня в мозг пылающую кровь пополам со спиртом... Он срывал штору и глядел в окно, в ночную темноту, где ему чудились отблески его горячечной фантазии...

Натиск белых становился слабее, Красная армия зацепилась, наконец, за левый берег верхней Кубани и села в окопы. В это время из Царицына вернулся через киргизские солончаковые степи командир Первой Железной дивизии Дмитрий Жлоба с тринадцатью грузовыми автомобилями. Он привез 200 тысяч патронов и приказ командующего Десятой армией Ворошилова, народного комиссара Сталина и председателя реввоенсовета Минина — двигаться кавказским войскам на север, на помощь Царицыну, где счастливо развивались операции Особой Южной армии атамана Краснова, пробивающегося на соединение с чехо-словаками и Сибирью.

Сорокин наотрез отказался выполнить приказ. Но им воспользовались украинские полки, которым надоело воевать на чужой земле. Они снялись с фронта. На уговоры и угрозы Сорокина они чихали. И только Жлобе, бывшему родом из Полтавы, удалось остановить часть войск: он говорил с ними рассудительно и неспеша, по-мужицки, — похвалил их, похвалил себя. Украинцы увидели, что это не кто-нибудь, а батько, и послушались. В войсках заговорили о Жлобе. А вскорости он проявил себя, на-голову разбив сильную офицерскую колонну под Невинномысской и заняв станицу. За это все Сорокин люто возненавидел его.

Поздравив с победой, он назначил его командующим частью фронта и в тот же день тайно приказал разоружить Первую Железную дивизию, а Жлобу и весь командный состав расстрелять, будто бы за белобандитский заговор. Во-время узнав о тайном приказе, Жлоба со своей дивизией, пополненной украинцами, снялся с фронта и пошел солончаковыми степями, сыпучими песками на Царицын, исполняя приказ реввоенсовета десятой армии. Тогда Сорокин об'явил его вне закона, вменил в обязанность каждому красноармейцу застрелить его и запретил кому бы то ни было снабжать Железную дивизию

фуражем. Но Жлоба ушел, ни одна рука не поднялась застрелить его. Когда в пути надобился фураж, он въезжал в село, снимал шапку-кубанку и со слезами на глазах просил у сельского исполкома сена, овса и хлеба, объясняя рассудительно и неспеша, что не он, Жлоба, изменник, а белобандит и предатель главнокомандующий Сорокин.

Вскороости пришло и второе испытание для сорокинского честолюбия: из-за гор появился Ковтюх, которого считали погибшим, и с налета взял Армавир, отбросив белых за Кубань. Прокаленные в походе, преданные вождям таманцы иначе и не разговаривали не со своими, как через плечо; начальники колонн неохотно исполняли распоряжения Сорокина, а то и вовсе не слушались. Три таманских колонны вошли костью в растрепанную сорокинскую армию, и она укрепилась теперь на линии Армавир—Невинномысская—Ставрополь. Была осень, шли затяжные и кровопролитные бои за обладание богатым городом Ставрополем. Всюду во главе дрались таманцы. У деникинцев также появилась новая сила — белый партизан Шкуро, отчаянной жизни проходимец и вояка, сформировавший из всякого головорезного сброда Волчью дивизию, жившую грабежом.

Штаб главнокомандующего перешел в Пятигорск, Сорокин больше не появлялся на фронте,—наступали новые порядки, на Кавказ проникала власть Москвы, чувствовалась с каждым днем все цепче. Началось с того, что краевой комитет партии постановил образовать повсеместно теперь вводимый военно-революционный совет. С Москвой Сорокин не потягался, пришлось подчиниться. В реввоенсовет были избраны члены: Одарюк, Петренко, Мансуров, — все новые люди, — затем — Сорокин и председателем — Ян Полуян. Власть главнокомандующего переходила к коллегии. Сорокин понял, что дело идет о его голове, и стал бороться.

Он знал, что ему не доверяют ни в партийных органах, ни в ЦИК'е, что на него послан донос народному комиссару и что он сможет держаться и победить только крайними мерами. На заседаниях реввоенсовета он сидел мрачный и молчаливый, когда брал слово, то бешено отстаивал каждую букву. И ему удавалось проводить все, что он хотел, потому что в Пятигорске были сосредоточены верные ему войсковые части. Его боялись и—не напрасно. Он искал случая показать власть и нашел его. Командир второй таманской колонны Матвеев заявил на войсковом съезде в Армавире, что отказывается выполнять боевые приказы главнокомандующего. Тогда Сорокин потребовал у реввоенсовета головы Матвеева. Он угрозил полной анархией в армии. Спасти Матвеева было нельзя. Его вызвали в Пятигорск, арестовали и на площади перед фронтом он был расстрелян. Буря пронеслась по полкам таманцев, они поклялись отомстить.

Был сформирован новый штаб при главнокомандующем. Белякова отстранили совсем, и Сорокин не отстаивал его, понимая, что на этом может сорваться. Начштаба сдал дела и деньги и явился на квартиру

к бывшему другу за объяснениями. Сорокин ходил по комнате, заложив руки за спину. На столе горела жестяная лампа, стояла нетронутая еда, бутылка. За окном в быстро гаснущем сухом закате темнел огромный Машук.

Мельком взглянув на вошедшего, Сорокин продолжал ходить. Беляков сел у стола, опустил голову. Сорокин остановился перед ним, дернул плечом:

— Водки хочешь? По последней. — Он хрипло хохотнул, быстро налил две рюмки, но не выпил и опять заходил. — Твоя песенка спета, брат... И мой совет — уноси отсюда поскорее ноги... Я за тебя заступаться не буду... Завтра назначу комиссию для ревизии твоих дел, понял? По всей вероятности, расстреляем...

Беляков поднял к нему лицо, серое, осунувшееся, провел ладонью по лбу, и рука упала:

— Ничтожный, маленький человек, вот ты кто, — сказал Беляков. — Напрасно я тебе отдавал всю душу... Сволочь ты, — ревизию... Задницу коммунистам лижешь... А я его в Наполеоны прочил... Вошь...

Сорокин взял рюмку, — зубы застучали по стеклу, выпил. Заходил, сунув руки в карманы черкески. С размаха остановился:

— Ревизии не будет. Убирайся к чорту. Что я тебя не застрелил сейчас, — помни, это за твои заслуги... И оцени сейчас, оцени...

Ноздри его стали забирать воздух, губы посинели, он весь задрожал, сдерживая бешенство...

— За разговор спасибо, Беляков... Приму к сведению... Спасибо за откровенность... Но, видно, плохо меня знаешь...

Беляков слишком хорошо знал характер Сорокина: не сводя с него глаз, он стал пятиться к двери и быстро захлопнул ее за собой... Ушел он задним ходом через двор, и той же ночью скрылся из Пятигорска.

Час за часом, выпивая рюмку за рюмкой, Сорокин продумал всю ночь. Бывший друг отравил его каплей презрения, но яд был страшен, страдания невыносимы... Он закрывал грязными руками лицо: прав, прав Беляков... В июне был наполеоновский размах, а кончилось — заседаниями в военной коллегии, вечной, оглядкой на московских партийцев... Беляков не свое сказал... Так говорят в армии, в партии... И Деникин, ох, Деникин!.. (Он припомнил, и сейчас во всю глубину жала пронзила его одна статеечка в екатеринодарской белогвардейской газете — интервью с Деникиным: «Я думал, передо мной лев, но лев оказался трусливой собакой, наряженной в львиную шкуру... Впрочем, это меня не удивляет, — Сорокин был и остался малограмотным, ординарным казачьим офицером в чине хорунжего...»)... Ох, Деникин...

Сорокин стискивал руки, кроша зубы от скрипа... Кинуться на фронт, увлечь всю армию, опрокинуть, гнать, топтать конями офицеров, жечь с четырех концов станицы... Ворваться в Екатеринодар... Приказать привести к себе Деникина, как был бы взят с постели, в подштанниках... А что, не вы ли это, Антон Иванович, упражнялись

в заметочках для газеты насчет ординарного хорунжего? Он перед вами, почтеннейший... Теперь как же, — ремни вам будем вырезать из спины или хватит с вас полторы тысячи шомполов?»...

Сорокин стонал, отгоняя навязчивый бред мечтания.. Действительность была темна, неопределенна, тревожна, унижительна... Надо было решаться. Старый друг, начштаба, сослужил ему сегодня последнюю службу... Сорокин подходил к окнам, куда легкий ветер доносил горькое, сухое веяние полынных степей. Темная багровая полоса утренней зари, еще не светясь, проступила в мрачном небе. И снова виднелась лесистая громада Машука... Сорокин усмехался: ну, что ж, спасибо, Беляков... Ладно, — колебания, нерешительность — к чорту... Задницы у товарищей лизать не будем... И в эту ночь Сорокин решил «играть ва-банк».

В ближайшие дни реввоенсовет Кавказской армии после долгих колебаний проголосовал, наконец, наступление. Тылы перебрасывались в Святой Крест, армия сосредоточивалась в Невинномысской, и оттуда предполагалось движение на Ставрополь и Астрахань, чтобы войти в соприкосновение с Десятой армией, дравшейся под Царицыном. Это был как раз тот план, который Жлоба привез из Царицына, едва не поплатившись головой.

Взятие Ставрополя было поручено таманцам. Все пришло в движение, — тылы двинулись на северо-восток, эшелоны — на северо-запад. Политруки и агитаторы рвали голосовые связки, поднимая настроение в частях, бросая зажигающие лозунги. Начальники колонн выехали на фронт. Пятигорск опустел. В нем оставались только правительство — ЦИК Черноморской республики и Сорокин со своим штабом и конвоем. В суматохе никто не заметил, что правительство, в сущности, отдано на добрую волю главнокомандующему.

Вечером, возвращаясь с вокзала в сопровождении вестового, Сорокин пустил коня крупной рысью, и, сворачивая на площадь, толкнул лошадью какого-то сутулого, широкого человека в кожаной куртке. Тот покачнулся, схватился за бедро, где висел у него наган. Сорокин гневно сдвинул брови и узнал Гымзу — начальника особого отдела третьей дивизии... Он должен был находиться на фронте... Гымза снял руку с кобуры. Взгляд его полуприкрытых бровями глаз показался странен... Такой взгляд был у Белякова при последнем разговоре... На темном, как голенище, обритом лице Гымзы вдруг забелели зубы усмешкой... У Сорокина закатилось сердце, — и этот смеется!..

Он так стиснул шенкеля, что конь, храпнув, рванулся, унес главнокомандующего в сумрак улицы, где бляело, трясло огузками, возвращаясь с поля, пахучее баранье стадо. Это было в ночь на тринадцатое октября. Сорокин вызвал к себе начальника конвоя, и тот, оглядываясь на окно, сказал шопотом, что Гымза, действительно, сегодня приехал в Пятигорск и предложил ЦИК'у вызвать с фронта две роты для охраны... — «Дураку понятно, товарищ Сорокин, против жого эти меры»...

Когда над темным и заснувшим Пятигорском, над каменистыми вершинами пяти гор разгорелись во всю красоту осенние звезды, — конвойцы Сорокина тихо, без шума, вошли в квартиры председателя ЦИК'а Рубина, членов—Власова и Дунаевского, члена реввоенсовета Крайнего и председателя Чека Рожанского, взяли их из постелей, вывели с приставленными к спине и груди штыками за полотно железной дороги, и там, не приводя никаких оснований, расстреляли.

Сорокин стоял в это время на площадке своего вагона. Он слышал выстрелы, — пах-пах, пах-пах-пах, — пять ударов в ночной тишине. Затем послышалось тяжелое дыхание, подошел, облизывая губы, начальник конвоя. «Ну?» — спросил Сорокин... — «Ликвидированы», — ответил начальник конвоя и повторил фамилии убитых.

Поезд отошел. Теперь главнокомандующий на крыльях летел на фронт. Но быстрее его летела весть о небывалом преступлении. Несколько коммунистов из краевого комитета, еще вчера предупрежденные Гымзой, раньше Сорокина выехали из Пятигорска на автомобиле. Тринадцатого они созвали в Невинномысской фронтовой с'езд. И в то время, когда Сорокин появился перед частями своей армии, — великолепный, как восточный владыка, окруженный сотней конвойцев, с трубачами, играющими тревогу, со скачущим впереди личным знаменем главнокомандующего, — в это время фронтовой с'езд в Невинномысской единогласно объявил Сорокина вне закона, подлежащим немедленному аресту, препровождению в станицу Невинномысскую и преданию суду.

Главнокомандующему закричали об этом таманцы, красноармейцы, раскрыв двери теплушек. Сорокин вернулся на станцию и потребовал к себе командиров колонн. Никто не пришел. Он просидел до темноты на вокзале. Затем велел подать себе коня и вдвоем с начальником конвоя ускакал в степь.

В реввоенсовете, где теперь осталось только трое, была большая растерянность: главнокомандующий пропал в степях, армия вместо наступления требовала суда и казни Сорокина... Но стопятидесяти-тысячная человеческая машина продолжала разворачиваться, ничего приостановить уже было нельзя... И двадцать третьего октября началось наступление Таманской армии на Ставрополь, и одновременно контрнаступление белых. Двадцать восьмого командиры всех колонн сообщили, что нехватает снарядов и патронов, и если их завтра же не подвезут, — рассчитывать на победу невозможно. Реввоенсовет ответил, что снарядов и патронов нет, «берите Ставрополь голыми штыками»... В ночь на двадцать девятое были выделены две штурмовые колонны. Под прикрытием артиллерии, стрелявшей последними снарядами, они подошли к деревне Татарской, в пятнадцати верстах от Ставрополя, куда был вынесен фронт белых. Над степью взошла луна мглистым медным шаром: это было сигналом, так как в армии не нашлось ракет... Пушки замолкли... Цепи таманцев без выстрела пошли к передовым окопам противника и ворвались в них. Тогда

заревели трубы оркестров, забили барабаны, и густые волны обеих штурмовых колонн под музыку, заменявшую им пули и гранаты, обгоняя музыкантов, падая сотнями под пулеметным огнем, ворвались во всю главную линию укреплений. Белые отхлынули на холмы, но и эти высоты были взяты неудержимым разбегом. Противник бежал к городу. Вдогон ему понеслись красные казачьи сотни. Утром тринадцатого октября Таманская армия вошла в Ставрополь.

На следующий день на главной улице увидели главнокомандующего Сорокина: сопровождаемый начальником конвоя, он спокойно ехал верхом, — был только бледен и глаза опущены. Красноармейцы, завидев, разевали рты, пятились от него: «Що те за бис с того свиту?»...

Сорокин соскочил с коня у здания Совета, где на двери еще висела полусорванная надпись: «Штаб дивизии генерала Шкуро», куда собирались уцелевшие депутаты и члены исполкома, — смело вошел по лестнице, спросил у шарахнувшегося от него военного, «где заседание пленума», появился в зале у стола президиума, надменно поднял голову и обратился к изумленному и растерянному собранию:

— Я — главнокомандующий Одиннадцатой армией. Мои войска на-голову разбили банды Деникина и восстановили в городе и области советскую власть. Самочинный войсковой с'езд в Невинномысской нагло объявил меня вне закона. Кто дал ему это право? Я признаю одну только власть Советов, и я хочу отчитаться только перед вами. Я требую назначения комиссии для расследования моих, якобы, преступлений. До заключения комиссии власти главнокомандующего я с себя не сложу...

Затем он вышел, чтобы сесть на коня. Но на лестнице неожиданно бросились на него шесть красноармейцев из третьего Таманского полка, свернули, скрутили руки. Сорокин молча, бешено боролся, командир полка Висленко ударил его плетью по голове, крича: «Это тебе за расстрел Матвеева, гадюка»...

Сорокина отвели в тюрьму. Таманцы волновались, боясь, чтобы он не вывернулся, не ушел как-нибудь от суда. На следующий день, когда Сорокина привели на допрос, он увидел за столом председательствующего Гымзу и рядом с ним Висленко и понял, что погиб. Тогда еще раз в нем поднялась вся сатанинская гордость, жадность жизни, он ударил по столу, ругаясь матерно:

— Так я же буду судить вас, бандиты, так вашу и так! Срыв дисциплины, анархия, скрытая контрреволюция!.. Расправлюсь с вами, как с подлецом Матвеевым!..

Висленко, белый, как бумага, рвя карман, вытащил револьвер и выпустил всю обойму в упор в Сорокина...

Дальнейшее движение из Ставрополя на Волгу не смогло осуществиться. Волчья конница Шкуро залетела в тыл и отрезала Таманскую армию от базы — Невинномысской и от центра — Пятигорска.

Деникин сосредоточивал все силы, окружая Ставрополь. Из Кубани были стянуты колонны Казановича, Дроздовского, Покровского, конница Улагая и новая конная кубанская дивизия, которой командовал бывший горный инженер, начавший прапорщиком мировую войну, — генерал Врангель.

Двадцать восемь дней дралась Таманская армия. Полки за полками гибли в железном кольце противника, богатого снаряжением. Начались дожди, не было шинелей, сапог, патронов. Помощи ждать было неоткуда: остальная часть Кавказской армии, отрезанная от Ставрополя, отступала на восток.

Таманцы метались в кольце, удары их были страшны и кровопролитны. Командующий Ковтюх свалился в сыпном тифу. Почти все лучшие командиры были убиты и ранены. Четырнадцатого ноября таманцы, наконец, прорвали фронт и, оставив Ставрополь, отошли в северо-восточном направлении на Благодатное. От героической Таманской армии остались теперь жалкие остатки, разутые и раздетые. Осенняя непогода остановила дальнейшее наступление белых.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Год тому назад, в октябре, народы, населяющие Россию, потребовали окончания войны, и кронштадтские моряки, сгустив все эти многомиллионные стоны и крики, — долой войну, долой буржуазию, длящую войну, долой военную касту, ведущую войну, долой помещиков, питающих войну, — в один внушительный и короткий взрев шестидюймового орудия, ударили с крейсера «Авроры» по Зимнему дворцу.

Когда этот выстрел, пробивший украшенную свинцовыми богами и мрачными вазами крышу ненавистного дома, разорвался в опустевшей царской спальне с неостывшей еще постелью, где истерическую бессонницу коротал Керенский, — кто мог предвидеть, что этот заключительный, казалось, голос революции, возвещающий войну дворцам и мир хижинам, прокатился из конца в конец по необъятной стране и, отдаваясь, как эхо, усиливаясь, множась, вырастая, взрвет бредовым ураганом...

Кто ждал, что страна, в исступлении и ярости, в клочья раздерет себя, обливаясь потоками крови; что мужики, побросавшие винтовки, снова поднимут их; что из кучки корниловских офицеров возникнет стотысячная деникинская армия; что бунт чехо-словацких эшелонов охватит войной на тысячу верст все Поволжье и, перекинувшись в Сибирь, вырастет в грозную монархию Колчака; что гражданская война, истребляя, будет множить противников; что блокада с британской настойчивостью охватит душным об'ятием советскую страну, и на долгое время на картах мира будут со злобным недоумением указывать на пустое место, занимающее шестую часть материков на глобусе...

Кто ждал, что Великороссия, отрезанная от морей, от хлебных губерний, от угля и нефти, голодная, нищая, в тифозном жару, изнемогшая от мировой войны, не покорится,—стиснув зубы, проклиная и мать, и бога, снова пошлет сынов своих на еще более страшные битвы... Год назад народ без памяти бежал с фронта, страна как-будто превращалась в безначальное анархическое болото, но в нем уже начали появляться внутренние силы сцепления, над утробным бытием поднималась косматая, с безумными глазами мечта о справедливости... Появились необыкновенные люди, каких раньше не видывали, будто их породила земля, как Вия, — и о делах их с удивлением и страхом заговорили повсюду...

Восемнадцатый год истекал. Осенние дожди шумели по незасеянным полям, растоптанным нивам. Студеный ветер посвистывал в пожарах. Ползли северные тучи над бесчисленными фронтами, где в мокрых окопах дрогли красные и белые.

Дела Москвы были очень смутные. В июле Мурманск и Архангельск были заняты бывшими союзниками; для приличия они посадили управлять населением седовласого идеалиста Чайковского с товарищами, — и бойко застучали английские топоры по девственным лесам Севера. В августе пала советская власть в сердце страны черного золота — в Баку. Здесь англичане вели себя много круче, чем на Севере: двадцать шесть комиссаров-большевиков, бежавшие в Красноводск, были арестованы там эсеровскими властями и по требованию выданы англичанам. Их повезли, будто бы, в Индию для изоляции, но на двухсотой версте от Красноводска высадили на рассвете из поезда и среди унылых, как преисподняя, пепельно-песчаных холмов, покрытых колючим саксаганом, расстреляли и зарыли сажень в тридцати от дороги. На Северном Кавказе было плохо, на нижней Волге еще хуже, — армия атамана Краснова наступала уже на юге Воронежской и Саратовской губерний. Сибирь, отрезанная чехо-словаками и народной армией КОМУЧ'а, закипала партизанщиной и атаманщиной. Японцы захватывали Сахалин, Владивосток, тянулись через Амур к Байкалу.

Изнутри советскую страну потрясали мятежи. Одновременно с восстанием в Ярославле (перекинувшимся затем в Муром, Арзамас, Ростов Великий и Рыбинск), но вне связи с ним в Москве взбунтовалась часть войск. Мятеж подняли левые социалисты-революционеры, потерявшие к этому времени все места в Совете Народных Комиссаров и удержавшие в Центральном Исполнительном Комитете лишь 20 мест. Партия левых эсеров отказывалась ратифицировать Брест-Литовский мир, они были против «передышки» в революции, не верили в создание регулярной Красной армии. Они кричали, что «германский посол граф Мирбах диктует Совнаркому декреты»... Их лозунг был: «Долой соглашательскую политику. Да здравствуют независимые крестьянские советы. Да здравствует повсеместное восстание». Они любили рево-

люцию, как зрелище, опьяняющее душу. Они предпочитали оккупацию России немцами и — для себя — подполье, потому что это соответствовало их темпераменту метателей бомб. И самым странным было то, что эти романтики, отдавшие все силы и всю жизнь свою революции, не верили в творческие силы народа, порождаемые революцией.

Шестого июля двое из них, с подложной подписью Дзержинского на документах, пришли к графу Мирбаху и во время разговора выстрелили в него и бросили бомбу. Германский посол был убит последней пулей, попавшей ему в затылок в то время, когда он выбежал из комнаты. Вечером в тот же день в районе Чистых Прудов и Яузского бульвара появились вооруженные с ног до головы матросы и красноармейцы. Они останавливали автомобили и прохожих, обыскивали, отбирали оружие и деньги и отводили в особняк Морозова, в Трехсвятительском переулке, в штаб Попова, командующего войсками восстания. Здесь уже сидел под арестом Феликс Дзержинский, который сам приехал в этот особняк в поисках убийцы Мирбаха. Весь вечер и часть ночи происходили аресты. Был захвачен телеграф. Но приступать к решительным действиям против Кремля еще не решались. Войск было около двух тысяч, они расположились фронтом от Яузы до Чистых Прудов. Небольшая часть — балтийские моряки, личный отряд Попова, — действовала решительно, с темпераментом. Остальные плохо понимали, зачем нужно арестовывать большевиков, мутить город, воевать друг с другом, и — кому это все нужно.

Защитой Кремлю в эту ночь служили лишь телефоны да древние стены. Войска стояли в лагерях на Ходынском поле, часть была пущена по случаю кануна Ивана Купала. Настроение в Кремле становилось чрезвычайно нервным. Все же под утро командующему округом Муралову удалось стянуть около 800 бойцов, три латышских батареи и броневики. В семь утра он пошел в наступление на Мясницкую часть и разбил пушками особняк Морозова в Трехсвятительском переулке... Было много шума, но мало жертв: армия левых эсеров бежала переулками, задними дворами в направлении Курского вокзала. Центральный комитет сдался большевикам. Попов, губастый юноша с сумасшедшими глазами, в бессильной злобе скрылся из Москвы. Он был объявлен врагом народа. Через год он появился у Махно — начальником контрразведки — и прославился изощренной жестокостью и пытками.

Мятеж был подавлен в Москве и на Волге. Но мятеж таился повсюду, мятеж становился стихией: бунтовали против большевиков, против немцев, против белых. Деревни шли на города и грабили их. Города свергали советскую власть. В Херсонщине появился новый батько, лютый соперник Нестора Ивановича Махно, — атаман Григорьев. На Киевщине люди сбегались к еще более серьезному батьке — Петлюре. Начиналась эпоха независимых республик; они вырастали и лопались, как дождевые грибы, иные можно было обскатать верхом от зари до зари.

Советская власть напрягала все усилия, чтобы овладеть анархией. И в это время ей был нанесен страшный удар: тридцатого августа, после митинга на заводе Михельсона, за Бутырской заставой, правая эсерка Каплан (из организации человека с булавочкой в виде чрепа) стреляла и тяжело ранила Ленина.

Тридцать первого на улицах Москвы видели отряд людей, одетых с головы до ног в черную кожу, — они двигались колонной посреди улицы, неся на двух древках черное знамя, на котором было написано одно слово: «Террор»... День и ночь на заводах Москвы и Петрограда шли митинги. Рабочие требовали самых решительных и крайних мер: столицы умирали без хлеба и топлива, революция раздиралась анархией, удушалась растущими, как прибой, армиями белых.

Пятого сентября московские и петроградские газеты вышли с заголовком:

«Красный террор!»

... Предписывается всем Советам немедленно произвести арест правых эсеров, представителей крупной буржуазии и офицерства и держать их в качестве заложников... При попытке скрыться или поднять восстание, — немедленно применить массовый расстрел безоговорочно... Нам необходимо немедленно и навсегда обеспечить наш тыл от белогвардейской сволочи... Ни малейшего промедления при применении массового террора...»

В городах в то время скудно давался свет, целые кварталы стояли темными. И вот обитатели зажиточных квартир с ужасом увидели красноватые, накаляющиеся волоски электрических лампочек... Отряды вооруженных рабочих пошли по этим предсмертно освещенным домам... У ворот застучали автомобили Чека...

Непосредственно угрожающим Москве был чехо-словацкий фронт под Казанью. Разношерстные, наполовину партизанские, красные войска, около пятнадцати тысяч, стояли выше Казани за мостом у Свяжска, заслоняя наступление чехов на Нижний-Новгород.

Но мало кто верил, что они удержатся, если чехи хорошенько поднапрут. Поглядывая на осенние тучи, на посиневшую Волгу, бойцы раздумывали о своих деревнях, где ветер задирает солому на крышах, крапивой зарастали дворы и гнила картошка на огородах. Тяжело было месить грязь лаптями, дрожать, как мокрая собака, в окопах, еще тяжелее думать, что войне этой, разорению — нет конца-краю.

Сидя на крутом берегу Волги, где тянулось богатое село Верхний Услон, держа между колен заржавленную винтовку, мужики глядели вниз, — там, за туманом, проступали древние стены, татарские башни Казани. Там поголовно все горожане были вооружены, даже стриженные гимназисты. Нередко орудийный снаряд оттуда, свистя чортовой

птичкой, долетал до Услона и падал в Волгу. Ну, где было одолеть мужикам такую силу? Напрасное занятие...

И, — только смеркалось, — по кустам, по канавам, утопив где-нибудь оружие, уходили партизаны из-под Свияжска. Домой. Повоевали,—будет... По ночам серые тучи над Казанью озарялись лиловатым светом, — горело множество электрических огней. В городе не уставали праздновать избавление от пятиконечной антихристовой звезды.

И вот в августе по приказу Центрального Комитета партии было мобилизовано в Москве и Петрограде несколько десятков крупнейших коммунистов, ответственных товарищей, и в поезде Троцкого отправлено под Свияжск. Поезд с террористами медленно двигался, ломая по пути вольный или невольный саботаж железнодорожников, — все были вооружены и подчинены жесткой военной дисциплине. Днем и ночью производились ложные тревоги, чтобы приучить теоретиков марксизма, бывших подпольщиков, к духу войны.

Так была брошена, едва ли не последняя, ставка на бытие революции. Коммунисты вышли на станции Свияжск, и суровый, беспощадный режим террора проник в армию. Отвага и доблесть стали обязанностью. За нерешительность, за недостаток храбрости отвечали жизнью. Непокколебимыми мерами вводилась дисциплина. Из разстрелянных и самостийных отрядов сформированы были полки и дивизии, — обуты, одеты, проагитированы насковзь и подчинены единому командованию реввоенсовета. Когда во время налета из Казани, белыге едва-было не захватили поезд Троцкого со штабом, и бывшие в нем несколько минут отбивались револьверными выстрелами и жестянками с консервами, — двадцать четыре коммуниста, отступившие, покинув пулеметы, от предмостного укрепления и тем позволившие белым перебежать мост, были в тот же день расстреляны перед фронтом за недостаток мужества. Отныне жизнь каждого принадлежала революции, естественный страх за жизнь был заклеен словом шкурничество.

Прибывший с юга Раскольников формировал и вооружал речной флот. Из Кронштадта пригнали по Мариинской системе мелкосидящие миноносцы. В речных боях были разбиты и зажжены несколько теплоходов белой флотилии, —они горели огромными кострами, озаряя на десятки верст Поволжье, соломенные деревеньки на глинистых обрывах, купола и крыши Казани.

Девятого сентября флоту и Пятой армии, как называлась теперь свияжская группа, был отдан приказ о наступлении. Десятого чехи очистили Казань, отступая с богатой добычей на Симбирск и Самару. Белогвардейские отряды сопротивлялись недолго. Все, кто мог, бежали на лошадях, на барках, пешком. Ужас перед красным террором был так велик, что город опустел в одну ночь. Люди пробирались берегами Волги, бечевыми тропками, по лесам и горам. На сотни верст бредли странные фигуры, оборванные, с узелком и палочкой, — все, что осталось от бывшей жизни,—робко стучались в деревенскую

ставню, прося Христа ради ломоть хлеба; тряслись, полубезумные, в поле у шипящего под дождем костра; падали от истощения, — и посейчас еще девки, идя по грибы, спотыкаются на оскаленный череп или на поросший мхом кожаный чемодан, набитый истлевшими керенками. С Казани началась сумасшедшая эпоха эвакуаций. В девятнадцатом году она охватит сотни городов, и люди, насколько возможно, приспособятся, привыкнут к ней, как ко всему на свете...

Иван Ильич Телегин исполнил данное ему Гымзой поручение. Как испытанный боевой офицер, он под Свяжском был назначен командовать полком. и всю осень провел в тяжелых боях.

Со взятием Казани произошел как-будто некоторый перелом в военном счастье. Пятая армия успешно развертывала наступление на Самару. Оживились и другие фронты. Но все это было лишь началом великой борьбы, только развертыванием сил, подготовкой перед девятнадцатым годом.

Восьмого октября Иван Ильич ехал шагом на грязной лошаденке впереди полка по Дворянской улице в Самаре. Миновали площадь с памятником Александру Второму, — его опять спешно заколачивали досками... Еще пять домов... Иван Ильич опустил голову: он знал, что увидит, и все же, когда увидел, — сердце его сжалось тоскливо. Все стекла во втором этаже, в квартире доктора Булавина, были выбиты, — с верха Ивану Ильичу было хорошо видно: вот ореховая дверца, в которой тогда, как сон, появилась Даша. Вот — кабинет, на полу — изорванные книги, опрокинутый шкаф, на изломанном докторском столе винтом кто-то наложил, что в этих случаях полагается в доказательство величайшего презрения. И криво глядел со стены, затянутый пауками, портрет Менделеева... Где Даша? Что с ней? Тут уже никто, конечно, не мог ответить...

Катя Рощина прожила все это лето с семьей Красильниковых в стане у Махно. Она привыкла к вечной тревоге, к дикому кочевью: снимались, куда-то шли с обозом, боевые тачанки скрывались вдали, где-то слышался бой. Становились в селе или в лесу. Привозили раненых, и Катя перевязывала их. Зажигали костры. Махновцы пели страшные и страшные песни. Делили добычу. Подходил батько к костру, и черные глаза его, не мигая, глядели на Катю.

Но она не боялась его, — теперь-то уж не пошла бы стричь ему черные изгрызанные ногти, как в тот первый вечер, когда только Алексей Красильников и выручил ее от этого занятия. Тогда между батьком и Алексеем случился тяжелый разговор, — схватились за револьверы. Рознял их Каретник, батьков помощник, — покрыл обоих громовым матом. Алексей кричал:

— Какой ты анархист, вождь, ты — насильник, сукин сын!.. Эта женщина мне все равно, как родная сестра...

Так, родной сестрой, и не совсем сестрой, стала жить Катя с Кра- сильниковыми, — ездили в одной тачанке, ночевали в одной избе, у одного костра. Куда ей было деться одной без денег в такое время? Алексей, хотя и называл себя и своих разбойничками, держался с Катей степенно, повадки у него были крепко мужицкие. Громя одну усадьбу, он взял для Кати черную шелковую шаль и чернобурую шубку, и в обозе все стали думать, что Катя — Алексеева маруха, и не задевали ее.

Матрена, после отъезда во флот мужа, Семена, вдруг со страстью полюбила тихую, слабенькую, мечтательную Катю, — не то как ребенка своего, не то как блаженную, обиженную богом, и тверже Алексеевой была защита перед разбойничками...

К осени дела Махно пошли неважно: партизаны глядели на зиму, на печь... Завидят на хатах, на крышах дозревающие тыквы, потянут носом сытый дымок из трубы, — и лезет ленивый дьявол чесать затылок, просится у батюки домой. Армия редела. Однажды батюка напился пьяный, поехал с Каретником в село и, увидя там отпускников, так рассердился, что стал бить их нагайкой. Ничего не помогало. Немцы, очень злые на махновцев, посылали теперь сильные отряды против них, зорко охраняли города, теснили Махно ото всех хлебных мест. Простора гулять было мало. Украина, повидимости, надолго укреплялась за немцами и гетманом...

Темна вода в осенних хмурых тучах. Восемнадцатый год диким ураганом пронесся над Россией, — ничто не решилось и не закончилось. Разбились страстные порывы, угасали надежды. Снова — непроглядные ночи, мокрый снег, окопы на тысячи верст, как загнивающие рубцы на лице; хмурые деревни, где зажгли стародавнюю лучину, и по вечерам в избах рассказывали про такие страшные дела, что ребятишки плакали на печках. Впереди — саван долгой зимы. Чего было ждать? Быть может, России уже и нет совсем, пропала Россия? Только один ветер свистит в безвременьи...

Угасала надежда на гулкое, по всему миру, эхо революции. Не слышали, не поняли... Нехватило силы... Смущались даже твердые души. Атлантический океан пересекали бесчисленные транспорты, груженные американскими солдатами, паровозами и чудовищными пушками... «Мировая война, — едко посмеивались заокеанские журналы, — мировая война тяжела будет только первые пять лет»... Германцы, едва-было этим летом не ворвавшиеся в Париж отброшенные, в холодном отчаянии готовили новое усилие, страшнее прежних...

И вот произошло величайшее событие, круто повернувшее историю и Запада, и России. Девятого ноября в Германии началась революция, германская армия сказала: «Довольно! Мир!» Император Вильгельм бежал и на границе Голландий отдал пограничному офицеру свою шпагу.

Общежитие на Покровке

МИХ. ГОЛОДНЫЙ

Есть зданье на Покровке,
Угрюмое на вид,
Парадный ход неловко
Попрежнему скрипит.

Когда-то зданье это
Нам отдал Моссовет,
Там жили мы, поэты, —
Герои лучших лет.

Дни проводили в спорах,
А вечером впотьмах
Толкались в коридорах
И бредили в стихах.

А днем бывало мило!
К наркомам в гости шли.
И будущим томилась,
И прошлое кляли...

Теперь — ах, дорогие! —
Как вспомнишь, грудь болит!
Живут там все другие,
Другое их томит.

Чиновник финотдела!
Веселый почтальон!
Кому какое дело,
До будущих времен!..

Есть зданье на Покровке,
Угрюмое на вид,
Парадный ход неловко
Попрежнему скрипит.

Там двери на запорах,
Белье на чердаках,
Но стены в коридорах
Еще поют в стихах.

Подушки и перины,
Болтушки и бездарь,
За уши треплет сына
Ремесленник-кустарь.

Хрипит, гнусит шарманка,
Скрипит парадный ход,
Жена моя мещанка
Меня напрасно ждет.

Пройдешь, а в окнах пусто,
Не видно никого,
Пройдешь — и очень грустно
Не знаю, отчего.

Летят, гремят трамваи,
Авто смешно рычат,
Спешит толпа живая,
Назад, назад, назад.

Иду — и жмут умело
Меня со всех сторон...
Кому какое дело
До будущих времен!..

Есть зданье на Покровке,
Угрюмое на вид,
Там на посту с винтовкой
Товарищ мой стоит.

Глаза его открыто
Глядят по сторонам,
Поэт он знаменитый
По нашим временам.

Что видишь пред собою.
Товарищ постовой?
Доволен ли судьбою?
Доволен ли собой?..

Сверкают мостовые,
Дробят огонь в стекле,
А улицы кривые,
Как молния во мгле.

Товарищ мой любезный,
Всемирный гражданин!
Конечно, путь железный
Ты не прошел один?..

Воздушные трамваи
Все ускоряют ход,
Спешит толпа живая
Вперед, вперед, вперед.

Как в лихорадке тело,
В ушах и гром, и звон...
Кому-то было дело
До будущих времен.



Притчи А. А. Сырнева

Из неизданного романа Н. Г. Чернышевского

П. ЩЕГОЛЕВ

I

Николай Гаврилович Чернышевский был арестован 7 июня 1862 года и сразу же был отправлен в секретнейшую государственную тюрьму — Алексеевский рavelин Петропавловской крепости. Здесь он провел 688 дней, и отсюда 20 мая 1864 г. был отправлен на каторгу. Все время заключения Чернышевский провел за тюремным столом; он почти не гулял и, если не спал, сидел за столом и писал. Он знал два положения: «сизжу», и «лежу», и два занятия: «читаю» и «пишу», — больше пишу, чем читаю. Писал он действительно много, так много, что другого примера такой литературной деятельности не найти в истории знаменитых «заключений». По подсчету, сделанному мною, Чернышевский исписывал ежемесячно до 11½ печатных листов — при непрерывности работы (22 месяца под ряд!), количество непредставимое.¹⁾ Чернышевский делал переводы, составлял компиляции, писал научные работы и занимался беллетристикой. В тюремном литературном наследии знаменитого публициста на беллетристику приходится 68 печатных листов. Единственная вещь из тюремной беллетристики известна нам полностью: роман «Что делать?» Это написанное в каменном застенке произведение, которое только условно можно назвать романом; пользовалось поразительным успехом у современной молодежи и оказало мощное влияние на склад революционного мирозерцания эпохи. «Что делать?» было по времени первым беллетристическим произведением Чернышевского в крепости. Потом последовал длинный ряд беллетристических опытов, из которых и по настоящему день нам известны только жалкие отрывки. Все они хранились под строжайшим секретом в архиве III отделения, и только революция открыла их исследователям, но в печати они еще не появлялись. Самым крупным по размерам и значению опытом являются «Повести в повести» — произведение, задуманное в плане сказок «Тысяча и одной ночи»²⁾.

Чернышевскому необычайно нравился этот сборник арабских сказок. «Есть сказки не для детей, — пишет Чернышевский в предисловии. — Сборниками сказок больше, чем самим Данте, славилась итальянская литература эпохи Возрождения. Их очаровательное влияние господствует над поэзией Шекспира; все светлое в ней развилось под этим влиянием. Через Шекспира и мимо Шекспира влияние итальянских сказок проникает всю английскую ли-

¹⁾ См. мою статью «Чернышевский в рavelине». («Звезда», 1924 г., № 3) и мои предисловия к изданным в библиотеке «Огонька» книжкам Н. Г. Чернышевского «Тюремные рассказы» (1926 г.) и «Объективные очерки» (1927 г.).

²⁾ См. сообщение Абакумова в журнале «Казанский библиограф». (1921 г., № 2).

тературу. Я уже только очень поздно познакомился с итальянскими сборниками сказок. Мои грезы были взлелеяны не ими. Я в молодости очаровывался сказками «Тысяча и одной ночи», которые тоже вовсе не «сказки для детей»; много и много раз потом, в мои зрелые лета, и каждый раз с новым очарованием, я перечитывал этот дивный сборник.

Чернышевский дает литературный анализ своим «Повестям в повести». «Мой роман «Повести в повести» вышел прямо из моей любви к прелестным сказкам «Тысяча и одной ночи». Материал этого сборника — не мой материал; я, подобно всем, — европеец половины XIX века, содержание моей поэзии, как и вашей, поэзия новой Европы. Но влияние сказок «Тысяча и одной ночи» господствует в моей переработке этого материала. Даже форма перенеслась в мой сборник из арабских сказок. Как там рассказ о судьбе Шехеразады служит рамкою для сказок, вставляемых в него, так у меня «Рассказ Верещагина» служит рамкою для «Рукописи женского почерка». Мой Верещагин — не автор этой «Рукописи», — авторы ее — лица, чуждые ему, желающие подружиться с ним и уже в первой части романа успевшие приобрести дружбу его жены и дочери. Но эта разница чисто внешняя. Существенное отношение и там, и здесь одинаково: как там судьба Шехеразады связана с успехом ее сказок, так у меня жизнь Верещагина связывается с тем, нравится ли ему «Перл создания». Ясно, что и завязка эта чисто сказочная, и сам Верещагин — лицо чисто сказочное. Сказка, столь же чуждая всякой претензии казаться правдоподобною, как сказка о судьбе Шехеразады. Еще меньше этой претензии в «Перле создания»: его авторы — Свернев, Всеволодский, Крылова, Письмина — нисколько не скрывают того, что они рассказывают небывальщину, — каждый автор беспрестанно противоречит всем остальным, еще больше и усерднее заботится разрушать на следующей странице то, что сам написал на предыдущей, так, чтобы выходил бессвязный ряд отрывков, которые, повидимому, невозможно слить в одно целое. Эстетическую сущность своего приема Чернышевский характеризовал так: «Давать воображению самой читательницы, самого читателя играть переплавкою материала и сравнивать потом, удалось ли сплавить эти сливающиеся части в одно целое поэтичнее, чем слиты они последующими тетрадами «Перла создания» и отражением их в «Рассказе Верещагина». У многих очень часто, у некоторых, я надеюсь и желаю, почти постоянно, у каждой и каждого хоть иногда — будет удача в этой борьбе поэтичностью вымысла с Крыловой, Письминой, Сверневым, другими «авторами», рассказывающими о себе в «Перле создания». Сущность чистой поэзии состоит именно в том, чтобы возбуждать читающих к соперничеству с автором, делать их самих авторами».

Но дальше подбора отдельных звеньев, рассеянных эпизодов, повестей, сказок, рассказов дело не пошло. Чернышевский не справился со спайкой эпизодов, и роман остался незаконченным. Написана первая часть романа, вторая часть в беловой редакции даже не была завершена. Но отдельные рассказы свидетельствуют об умении автора справляться с формой, подделываться под форму, и утверждение Чернышевского, что в этом романе он только сказочник, а роман только произведение чистой поэзии, может быть принято лишь в тоне высокой иронии. Тонкой иронией звучит фраза: «Если здесь я сказочник, забывающий всякую гражданскую деятельность, думающий только о песнях любви и трелях соловья, о розах, лилиях и жасминах, то в других моих произведениях, в моих бесчисленных статьях я — публицист. Как публицист, я — предмет сочувствий и антипатий, более сильных, чем довольство или недовольство сказочником, поэтом». Ясно, что автор остается публицистом и в сказках. Не может не быть им «отставной титулярный советник Н. Чернышевский, семинарист, человек очень много учившийся, еще больше думавший о предметах очень серьезных, между прочим, о человеческом сердце, и о любви, и о поэзии, публицист очень суровый и чрезвычайно грубый», — так рекомендует себя сам Чернышевский.

II

Как бы ни были рассеяны отдельные звенья романа Чернышевского, как бы ни были они разноценны, можно нащупать связующую нить: это — мечта о новой морали, новом человечестве, попытка схематического построения нового, необыкновенного человека. После романа «Что делать?» Чернышевский стал сейчас же писать повесть «Алферьев». Начало этой повести воспроизведено в собрании сочинений, продолжение — в неизданном тюремном наследии. Сначала герою была выбрана фамилия «Шестаков», потом «Сырнев». В «Повестях в повести» появляется вновь Сырнев. Под разными именами все тот же герой — новый человек с новым кодексом нравственности. О нем говорят авторы повестей в романе Чернышевского; его биография, его характеристика занимают немало страниц. Это — мыслитель, применявший «беспощадную снисходительность» точного научного метода к явлениям человеческой жизни, человек, поступки которого неизменно соответствовали его убеждениям; беспристрастный исследователь фактов. Сырнев занимался высшим математическим анализом, он стремился овладеть им и развить для того, чтобы заняться перенесением его на нравственно-общественные науки. Любопытны аксиомы, выдвинутые героем Чернышевского: «Наука признала один только порядок пригодным для всех отраслей умственной деятельности: генетический порядок. Начинайте с происхождения коренных элементов положения, показывайте, как оно видоизменяется естественною комбинациею этих элементов, и результат всегда явится фактом «натуральным, не имеющим ничего странного». И другая аксиома: «Мелкие ошибки ставятся очень полезны, когда анализ обращает их в средство рассмотреть важность и благотворность принципа, ими нарушенного. Старайтесь замечать это,—вы приобретете опытность и станете вернее поступать в будущих, более важных случаях».

Сырнев является автором «Объективных очерков», вставленных в «Повести в повести». (Эти очерки появились в печати в 1927 году). Кроме них, в романе Чернышевского есть еще и «Притчи. Из сочинений А. А. Сырнева». Из этих притч мы воспроизводим вторую, озаглавленную «Проба пера». Она построена следующим образом. Первая часть — вступление; вторая — притча о «Носе», оригинальное окончание первой главы повести Гоголя «Нос»; третья содержит разговор главных персонажей романа о «наклейке» носа — Лидинки, Петра Ульяныча, Елисей Яковлевича. От «наклейки» носа переход к такой же подделке под Диккенса — «История Дженкинсона», которая и составляет четвертую часть «Пробы пера». Через много страниц после «Пробы пера» автор романа открывает, что предисловие, или первая часть, принадлежит действительно Сырневу, а остальные три части — Крыловой, одному из вымышленных авторов «Повестей в повести».

Чернышевский дает следующее любопытное пояснение о подделках под Гоголя и Диккенса, вложенное в уста Крыловой: «Я хочу посмеяться в обе стороны над тонкими ценителями талантов: пусть воображают, что мы не боимся сравнений с Гоголем и Диккенсом, — впрочем, конечно, и не боимся: люди не с тонким, а обыкновенным вкусом, вероятно, увидят разницу, но скажут, что шутки, которые мы пишем, все-таки не дурны. А серьезно, я желала бы напомнить: кто хочет судить о талантах новых писателей, тому очень полезно хорошо вчитываться во всякие, какие ему доступны, книги гениальных писателей — Гоголя, Диккенса, Жоржа Занда,—все равно. Почему это полезно? Между прочим и потому, что вообще, чем больше читать гениальных писателей, тем лучше. Притча о Дженкинсоне выбрана так, чтобы опять служила затруднением для тонких знатоков: во-первых, иной знаток и не сумел бы ее найти, потому что она взята не из «Пиквикского клуба»; второе,—если бы она была из него, тонким знатокам было бы не трудно сказать, хороша ли она: в «Пиквикском клубе» нет ни одной страницы, которая не была бы прекрасна. Но это взято из «Master Humphrey's»

Clock», где также выведены Пиквикк и его слуга. В «Master Humphrey's Clock» больше страниц плохих для Диккенса, чем написанных со всею силою его таланта; теперь вопрос: очень или не очень хорош рассказ о Дженкинсоне?» Вопрос оставлен без ответа.

Вслед за «Пробой пера» идет третья притча:

Мой характер

(А. А. Сырнева).

Все стараются развлекать и утешать меня.

Что из этого следует?

Из этого следует, что я должен утешать других.

Что из этого следует?

Очевидно, что этим определяется мой характер.

За характеристикой следует эпитафия из Гоголя: «говорят, что есть такие, которые могут приставить какой угодно нос», и начинается новая подделка под Гоголя же — VIII явление комедии «Игроки».

Четвертая притча озаглавлена: «Его характер. (Описание, сделанное его другом)», и снабжена эпитафией тоже из Гоголя: «Рекомендую моего Сашу. Прекрасный малый, добрая душа. Но еще ненадежен: девятнадцать лет; ну, что за лета? — Почти ребенок». Заметим, что Сырнев, перу которого приписываются притчи, умер 19 лет. К нему и его искусству пародии и относится следующая характеристика:

— Молод! Не по годам чин берешь; (Гоголь, том II, стр. 283)— меня, старика обижаешь, — говорю я и обращаюсь к вам, друзья мои, с гордостью указываю на автора и говорю:

— Хотите видеть чудо? Юноша девятнадцати лет, сын моей сестры, передривает с таким искусством, как ни один из игроков! Приезжайте к нам, и посмотрите. К вам выйдет человек почтенных лет, — это я. Вы отрекомендуетесь, скажете, что слышали, что бог наградил меня таким необыкновенным племянником. — «Да признаюсь», скажу я (и вам понравится то, что без всяких, понимаете, этих претензий и отговорок) — «да» скажу, — «точно, хотя дяде и воспитателю и неприлично хвалить собственного воспитанника, притом же племянника, но это, действительно, в некотором роде чудо. Друг мой! — скажу — поди-ка сюда! покажи гостю искусство! — Ну, вы увидите, юноша, просто ребенок, мне по плечо не будет и вам, если вы высокого роста, как я, и в глазах ничего нет особенного. Начнет он метать — вы просто потеряетесь. Это превосходит всякое описание!»

Притчи заканчиваются пятой притчей — трагическим аккордом.

Прощание

(Из дневника А. А. Сырнева).

Добрые! Добрые! Все шалят, смеются —
Для развлечения умирающего, —

смешного, быть может, но умирающего все-таки за вас, мои сестры, — умирающего смешно, быть может, но все-таки за вас, — умирающего с сердцем, уже начавшим жаждать любви, но еще не согретым любовью ни одной из вас.

Я был другом каждой из вас. Любите память мою.

6 апреля, (1864 г.).

А. Сырнев.

Это прощание с жизнью умирающего Сырнева написано 6 апреля заключенным в каземате Алексеевского рavelина. Исчезает схематический образ персонажа романа, и появляется образ живого героя, страдавшего (ему казалось, смешно страдавшего) за тех, кто находился за стенами рavelина. К ним доносятся из-за каменных стен трогательный призыв.

«Любите память мою».

П Р И Т Ч И,

ИЗ СОЧИНЕНИЙ А. А. СЫРНЕВА

Проба пера

Я желаю быть автором. Талант ли я, неизвестно. Но если и талант, то юный. Юный талант нуждается в ободрении и поощрении. Юному неталанту еще может пойти в прок назидание: «Не скрипи пером без толку». Испытаю, поощрят, или назидут меня почтенные люди с тонким вкусом.

Но что такое тонкий вкус? Это отчасти разъясняется тем, что я предполагаю, что когда-нибудь существовала сестра чьей-нибудь бабушки. Предположить, что она была сестра у моей бабушки, значило бы сделать гипотезу, в основательности которой многие могли бы усомниться. Но что хоть у чьей-нибудь бабушки была сестра, с этим, надеюсь, все согласятся.

Эта сестра чьей-нибудь бабушки знала толк в чае; сама пила, и своим гостям подавала чай, который считала хорошим. Ее гости также находили, что ее чай хорош. Некто был противного мнения, потому что имел очень тонкий вкус. Он находил, что чай сестры чьей-нибудь бабушки не очень хорош, потому что, говорил он, хороший чай бывает не такой, а вот какой,— и он очень подробно объяснял, какой чай бывает очень хорошим чай.

Однажды, сестра чьей-нибудь бабушки сказала этому некто, что теперь она достала превосходный чай, и пригласила этого некто откусать у нее этого чаю. Некто пожаловал. Сестра чьей-нибудь бабушки показала своему гостю-знатоку чай самого высокого сорта, положила в чайник. Когда чай настоялся, хозяйка налила гостю чашку,— тогда и мужчины пили из чашек,— налила и себе, но сама, заговорившись с гостем-знатоком, забыла пить, а гость и говорил и пил,—выпил чашку и похвалил. Хозяйка налила ему вторую чашку,— он пил, в это время вошло несколько человек других знакомых; гость-знаток пил и хвалил, они слушали с приятностью его рассуждения о том, что он имеет тонкий вкус, и что вот этот чай, который он теперь пьет, очень хорош; когда они выслушали это, хозяйка взяла чашки, чтобы наливать другим гостям,— тогда один из других гостей сказал: «Любопытно бы прежде заглянуть, каков этот чай в чайнике, — на столе мы видим банку липсина, — но в чайнике»... Тогда хозяйка открыла чайник и показала своему гостю-знатоку, что он пил и хвалил настой березовых листьев с липовыми листьями. Все другие гости не были удивлены этим. Что из этого следует?—Я говорю: неизвестно. Вы скажете: из этого следует, что хозяйка и все остальные гости были в комплоте против знатока с тонким вкусом.— Конечно, это следует, но я имел в виду вопрос более важный: что следует из того, что отвар березовых листьев с липовыми листьями оказался знатоку прекрасным чаем? И я говорю: что следует из этого, — неизвестно. Вы говорите: следует, что знаток не имел не только тонкого, но и никакого вкуса. Я говорю: неизвестно; может быть; но также может быть, что если березовые и липовые листья смешиваются в надлежащей пропорции, то получается отвар, которым я не угощу вас, потому что я сам пью то самое, чем угощаю вас,— но угощу знатоков. Но это только предположение.

Теперь сделаем другую гипотезу, обратную первому предположению. Вместо женщины: предположим мужчину, вместо старости—молодость. Что получаем?—Вместо сестры чьей-нибудь бабушки является внук чьей-нибудь сестры. Какая притча будет следовать из этого?—Противоположная первой. Но первая известна, потому и вторая сама собою разумеется. Например, можно предположить, что внук чьей-нибудь сестры бывший студентом, взял Цицерона, списал из него несколько страниц, поставил под этою выпискою свое имя и получил на этом листе письменное удостоверение знатока латыни, что Цицерон писал не такую хорошею латынью, какою писал внук чьей-нибудь сестры. Что из этого следует?—Из этого следует:

Притча о „Носе“

Если «Нос» тебе понравился,
Можем новый наклеить.

Вы хорошо помните повесть Гоголя «Нос». Сделаем пробу над нею.— Вы помните, когда Прасковья Осиповна объявила мужу, что не позволит ему ни минуты оставлять в ее комнатах нос майора Ковалева, Иван Яковлевич завернул этот нос в тряпочку, пошел на Исаакиевский мост, швырнул нос в воду, и думал, что теперь дело сошло с рук,—но вдруг увидел квартального надзирателя — и обмер, — а квартальный кивнул ему пальцем и проговорил: «А пойдика сюда, любезный»... — Вот, для примера мы и сделаем пробу наклейки носа на этом месте. Она делается только для людей с тонким вкусом, — люди с обыкновенным вкусом присутствуют при этой операции, и конечно, не без удовольствия, потому что люди с обыкновенным вкусом отличаются от людей с тонким вкусом тем, что не любят людей, подымающих нос.

Повесть Гоголя «Нос». (Сочинения Гоголя; изд. 1862, том III, стр. 184).

... квартальный кивнул ему пальцем и проговорил: «А подойди сюда, любезный».

Иван Яковлевич, зная форму, снял еще издали картуз и, подошедши проворно, сказал: «Желаю здравия вашему благородию».

— Нет, нет, братец, не благородию, — скажи-ко, что ты там делал, стоя на мосту?

— Ей богу, сударь, ходил брить, да посмотрел только, шибко ли река идет.

— Врешь, врешь, этим не отделаешься! Изволь-ко отвечать!

— Я вашу милость два раза в неделю или даже три готов брить без всякого прекословия, — отвечал Иван Яковлевич.

— Нет, приятель, это пустяки! Меня три цирюльника бреют, да еще и за большую честь почитают. А вот изволь-ко рассказать, что ты там делал?

Наклейка носа для людей с тонким вкусом.

... квартальный кивнул ему пальцем и проговорил: «А подойди сюда, любезный».

Иван Яковлевич побледнел, но постарался, по форме снявши картуз, бодро сказать: «Желаю здравия вашему благородию».

— Нет, нет, братец, не благородию, — скажи-ко, что ты там делал, стоя на мосту?

— Ей богу, сударь, ходил брить, да посмотрел только, шибко ли река идет.

— Врешь, врешь! Изволь-ко отвечать, что ты в воду бросил?

— Подметку, ваше благородие, лопни мои глаза, подметка у сапога отвалилась, ее и бросил, — отвечал Иван Яковлевич.

— Нет, приятель, это пустяки, вот мы в квартале посмотрим твои подметки, как они у тебя отваливались.

Иван Яковлевич побледнел... Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно.

Иван Яковлевич прибавил: ваше благородие, чтобы вас напрасно не труждать, я вашу милость два раза в неделю или даже три готов брить без всякого преко-
словия.

— Нет, приятель, не такое дело. Вот мы с тобой лучше в квартале поговорим.

Иван Яковлевич и сам увидел, что сказал не подходящее, и сделал правою рукою движение к сердцу, а левою в карман шаровар, куда также, по обычаю людей простого звания, клал то, что более подходит к обращению между понимающими людьми... Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, пока уж на другой день Прасковья Осиповна прибежала в квартал.

— Теперь поздно, матушка; вчера посылали тебе сказать,—что ты вчера не была? — сказал квартальный.

— Батюшка, отец милостивый, никак не могла вчера сколотиться, потому что занимать надо было, — а в нынешнее время где денег найдешь? — сами извольте знать. А то, что жь было вашу милость утруждать?

Квартальный видел, что Прасковья Осиповна женщина основательная, и ему было уж и на себя досадно, что погорячился вчера: «Что могу сделать для тебя, матушка, сделаю; но теперь уж не от меня зависит: дело началось. Одно тебе обещаю: буду хлопотать, чтобы поскорее кончили, и чтобы позволили тебе бывать у мужа».

Вот, и стала Прасковья Осиповна бывать у мужа. Но видит, что муж с каждым днем хилеет: хандра на него такая,—тоскует Иван Яковлевич.— «Да что это с тобою, Иван Яковлевич,—хуже бабы ты, прости господи,—солдаты ему говорят: — Что за важность, что посидишь месяц—другой,—ну, попарим тебя немножко, потому что без этого нельзя быть решению, — эка беда какая! А ты унываешь, — есть от чего!

— Сам не знаю, братцы мои, что со мной делается, — говорит Иван Яковлевич, — ведь чувствую, что пустяками кончится и не потому тоскую, чтобы вам не верил, а сам не знаю.

Видит это Прасковья Осиповна, и по тонкому женскому инстинкту поняла; потому что дамы и в простом звании гораздо тоньше мужчин, соответственно росту. Поняв причину болезни, Прасковья Осиповна пошла к начальству, говорить: «Если ваше благородие, позвольте слово сказать мое глупое, попросила бы я у вас милости, как вижу, что мой муж совсем к могиле своей приближается».

— Это правда, — смотритель говорит, — и мне очень жаль, видя человека хорошего: потому что хотя он и дурно поступил, но грех да беда с кем не живет? Только, что же нам делать? — Лекарь у него бывает, микстуру ему даем, по его званию, для мещанина, весьма и весьма достаточную. Больше ничего сделать не можем, хотя видим: не помогает.

— Не помогает ему микстура, ваше благородие, хотя мы вашими милостями к нему очень благодарны. Но как он к своему ремеслу был усерден, можно сказать, любовь имел, оттого его болезнь.

— Хорошо, матушка, — отвечал смотритель, очень добрый человек, хотя без одного уха, оставшегося под Лейпцигом, — взойду с представлением к начальству, потому что ты правду говоришь,—но эта просьба твоя не обыкновенная, сам разрешить не могу. Приходи завтра.

Прасковья Осиповна пришла на другой день.

— Нет, — говорит смотритель: — не может начальство этого разрешить, потому что это прежде, точно, всякие беспорядки допускались, а теперь закон уважается. В законе же не показано, чтобы арестант мог стражу брить. Ибо с одной стороны, может он совершить злодейство бритвою, и якобы, с другой стороны, вид мздоимства, потому что может почтено быть за вынуждение от нас. Но входя в его положение, по моему засвидетельствованию, что он человек смирный и трезвый, положили такую резолюцию, что родных до второго колена, которым вход к нему разрешается по закону, может брить невозбранно.

Прасковья Осиповна видела, что, действительно, начальство оказывает большое снисхождение к положению Ивана Яковлевича, и благодарила. Но затруднение состояло в том, что у Ивана Яковлевича не было в Петербурге никаких родственников. Дали ему бритву, мыло, все бреет себя по три раза в день, — на подбородке у него так чисто, как в кармане. И точно, это обращалось ему в пользу, — по крайней мере, не так быстро усиливалась болезнь. Но хил, очень хил, — не встает с постели, — так и бреется лежа. Прасковья Осиповна видела, что практика делает ему облегчение, но мало практики. Пошла опять к смотрителю, — «Позвольте, ваше благородие, детишек приводить».

— А у тебя с ним и дети есть? — спрашивает смотритель.

— Пятеро, ваше благородие, мал-мала меньше; старшенькой, Аннушке, шестнадцатый годок пошел, а младшего, Петеньку, только вот два месяца от груди отняла.

— Так чего лучше? — говорит смотритель: — и веди, пусть бреет с богом.

Прасковья Осиповна на другой же день привела всех пятерых детей к отцу. Иван Яковлевич очень обрадовался: вот уж точно, пригодились дети. — И все четверо младших были обриты без всякого сопротивления, но Аннушка была бойкая и довольная смазливая девочка, с одною особенностью: на правой руке у ней выросло шесть пальцев, чего однако нельзя назвать недостатком; потому она уж и перемигивалась по соседству; она заупрямилась: «Что это, маменька, осрамить хотите меня передо всеми. Из ума, должно быть, вы уж вышли?»

— Опомнись, бесстыжие твои глаза, — сказала Прасковья Осиповна: — для отца не хочет.

— А сами-то что? Небось, не подставляете свою-то голову.

— Дурища ты этакая! То я, а ты еще девчонка, на тебя кому смотреть-то! До свадьбы отрастут.

— Кому на меня смотреть! Не вам, известно!

— То-то, я уж и замечала, что твои шуры-муры... — но речь Прасковьи Осиповны приняла такое обличительное направление, которое неудобно для передачи здесь, потому что Прасковья Осиповна не любила церемониться в выражениях.

Обрив четыре головы, Иван Яковлевич мог даже сесть: до такой степени это помогло ему. И каждый день он брил всех детей, и стал заметно поправляться.

Но Прасковья Осиповна не отставала от Аннушки, так что для спасения своей головы Аннушка, по совету своего приятеля, на которого нескромно намекала Прасковья Осиповна, предложила вот какое средство:

— Вы думаете, маменька, что мне не жалко отца? Ан вот же нет, я сообразила лучше вас, как ему помочь: что нас мучить? Разве не слышите, Ваничке и Феклинке нельзя носа высунуть ни на улицу, ни на двор, все на смех подымают: «бритье! бритые! месяц идет! солнышко идет! Ванька, дай-ко в твою голову-то посмотреться, точно зеркало!» А вы бы, чем детей страмить, кошку дали бы ему брить, не все ли равно ему.

— С ума ты сошла, Анютка? Или на смех подымаешь родную мать, бесстыжая рожа! Как можно кошку, — кошка всего обдерет.

— Ну, обдерет! — Уткнуть ее головой да передними лапами в саложное голенище, — и не обдерет: зад весь брей, как хочешь, только задние лапы покрепче держать.

— Дура ты, как есть дура, Анютка.

— Ей богу, маменька; попробуйте. А то собаку.

— Дура, молчи.

Но рассудивши, Прасковья Осиповна увидела, что дочь советует недурно. Конечно, ни кошка, ни собака не годятся, но если смирное что-нибудь, — то очень можно; например, хоть бы барана или теленка — можно.

Пошла к смотрителю. Он тоже рассудил: умно. Но опять не мог разрешить своей властью, — доложил по начальству.

Просьба была благонамеренная. Противоречия с законом не усматривалось в ней, то-есть, явного противоречия: потому что хотя закон говорит только о родственниках до второго колена, воспрещая тем допускать посторонних; но можно было истолковать это так, что закон имел в виду только людей. Конечно, тут была некоторая натяжка, потому что в законе нет прямого указания, следовательно по точному смыслу воспрещение должно простирается и на животных. Но, с другой стороны, крысы, мыши почти всегда бегают по нумерам; а хотя бы и не было их, то летают мухи, и это не принимается за нарушение закона. Если же мухам дозволительно бывать у Ивана Яковлевича, то почему жь бы не допустить и барана? — Натяжка была, но небольшая. Итак, благодаря желанию начальства облегчить положение Ивана Яковлевича, не представилось затруднения со стороны закона. Но, обдумав, увидели другое неудобство: как тащить барана во второй этаж? — Трудно. Каждый день поднимать и спускать его — и хлопотливо, и может произойти неприличный крик, потому что баран животное глупое. Долго рассуждали, потому что все входили в положение Ивана Яковлевича: человек страдает невинно, единственно потому, что сбился в показаниях насчет подметки. Сначала сказал: «бросил подметку», а на другом допросе показал: «бросил старую тряпку, которая служила для отирания бритв». Так бы уж и стоять ему на подметке, — а он, по неопытности, сделал эту ошибку. Вышло важное противоречие в показаниях. Все жалели. Но помочь делу было нельзя, — закон ясен. Шло следствие о том, — подметка или тряпка. Но жалели; потому-то и рассуждали, нельзя ли найти облегчение для него. по просьбе Прасковьи Осиповны о баране. Долго не могли ничего придумать. Наконец, у пристава мелькнула идея, и недурная:

— Справедливо, господа, — сказал пристав, — что желательно было бы разрешить ему барана; потому что один баран в этом случае может принести столько отрады человеку, как доставили бы тридцать или сорок человек детей. Но столь же справедливо и то, что баран в настоящем деле, по несвойственности своих ног для хождения по лестницам, есть животное неудобное. Я думал бы вот как: удовлетворить просительницу и просителя и исполнить с нашей стороны долг человеколюбия козлом.

Козел может весьма удобно ходить по лестницам, для бритья же представляет не менее занятия, нежели баран. Как вы находите, господа?

Мысль была очень основательная и понравилась всем. Разрешили водить козла к Ивану Яковлевичу.

После этого здоровье Ивана Яковлевича стало быстро укрепляться: занятия, слава богу, довольно! Сидит себе и бреет козла с утра до ночи, едва успевает обрить всего, потому что старался брить аккуратно. И козел попался такой хороший, — впрочем, надобно опять отдать справедливость Прасковье Осиповне: она догадалась давать козлу рюмку водки после бритья, и

он понял это на третий же день, потому, был очень доволен своей судьбою. «Пусть бреет, за то выпивка дается» — стоял очень смиренно.

Когда подошла осень, Ивану Яковлевичу разрешили даже вовсе оставить у себя в нумере козла, потому что ему, выбритому с головы до хвоста, трудно было бы выносить холод. Зачем же простужать козла?

Так брил его каждый день Иван Яковлевич около года, и все это время был здоров, к общему удовольствию. Без козла, было бы ему тяжело; но с козлом он перенес невзгуду очень благополучно, — до самого решения. Решение вышло хорошее и справедливое: позволить Ивану Яковлевичу попрежнему заниматься своим ремеслом в своей циркульне на Вознесенском проспекте, по неприкосновенности его к мнимому носу, якобы, по молве, пойманному в воровстве и незаконном вступлении в брак с благородною девицею.

И точно: по следствию, дознано было, что происшествие с носом майора Ковалева происходило не совершенно в таком виде, как сначала разошлись — было неосновательные слухи, будто бы этот нос, без всякого паспорта отлучившись от майора Ковалева, обокрал купца Сизопятова на 400.000 рублей и купив на краденые деньги хороший дом, успел, как богатый жених, получить руку дочери статского советника Лыкова, — ничего этого не было, хотя действительно очень возможно было ожидать, что он способен и на такие низости, если решился прожить без паспорта и всякого вида. Может быть, у него и были подобные намерения, когда он сбежал от своего хозяина, но ничего такого не удалось ему сделать, и история была гораздо проще, чем разнесла-было ее молва. Теперь известно, что все дело ограничилось только следующими, маловажными событиями.

II

Коллежский ассессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами «брр»... — что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся, приказал подать себе большое, стоящее на столе зеркало. Он хотел взглянуть и т. д.

— Как вам нравится? Эта история хлопот Прасковьи Осиповны о здоровье мужа? — спрашиваю я людей с тонким вкусом, для которых тружусь.

Чтобы подбить их задор, Лидинька говорит: «Не знаем, как нравятся эти страницы людям с очень тонким вкусом, а мы находим, что они писаны с Гоголевским талантом. — Правда ли, Пьер?».

Петр Ульянович говорит: — Да.

— Как вы послушны Лидиньке, Петр Ульянович, — замечает Тисьмин — уж до чрезмерности; боитесь прибавить слово к тому, что она говорит, только поддакиваете. Это нехорошо. К чему скрывать свое впечатление? — Берите пример с меня. Ты что скажешь, Саша?

— Лидинька права: эти страницы писаны с Гоголевским талантом, — говорит Саша.

— Нет, Саша, ты ошиблась: Гоголю очень редко удавалось писать так; это талант сильнее Гоголевского. Что вы скажете? — обращается Тисьмин к остальным.

— Да, тут виден талант сильнее Гоголевского, — говорит Лизавета Сергеевна, ее муж и все остальные.

— В самом деле, Лидинька, вы взяли мужа в руки так, что он робеет сказать слово иначе, чем вы, — говорит Елисей Яковлевич: — лучше берите пример с Саши: видите, как свободно держит себя ее муж, не боится заметить ей, если думает, что она ошиблась.

— А вы боялись заметить, или просто не заметили, Елисей Яковлевич, что Саша моргнула мужу, чтобы он имел такую свободу? — говорит Лидинька.

Люди с тонким вкусом приходят в негодование от такого разговора: «Какое безвкусице! Равнять какого-то Сырнева с Гоголем! Ставить выше Гоголя!».

Дав излиться их справедливому негодованию, Елисей Яковлевич продолжает разговор:

— А что, Александра Евтроповна, каково идут ваши занятия английским языком? По-немецки вы говорите уж очень порядочно, — в один год, так овладели языком, и приобрели такой выговор, — я удивляюсь вам.

— Нашли чему удивляться, когда половину вечеров проводим вместе, — у вас в семье говорим больше по-немецки, чем по-русски! — говорит Лидинька. — Но вот на английском языке, действительно, видно, что Саша работает усердно.

— С тобой не работать бы, Лидинька, какая ты смешная! — говорит Саша. — Ничего, Елисей Яковлевич, учусь, читаю уж довольно свободно. Но это такой легкий язык.

— Довольно свободно! — говорит Лизавета Сергеевна. — Но какая она переводчица, Изабелла Гедеоновна, как она переводит Диккенса, — удивительно!

— Да, — говорит Лидинька, — у ней есть отрывок о циркульнике Дженкинсона, переведенный так, что надобно удивляться. Саша передала таким языком довольно трудный жаргон, которым говорит Самюэль Уэллер, что хоть сейчас вставляйте этот отрывок в Гоголя.

Люди с тонким вкусом начинают понимать наклейку носа. «Пиквиккский клуб» — тот роман Диккенса, в котором наиболее видна громадная сила его таланта. По содержанию есть у него романы выше истории приключений мистера Пиквикка, но, как художественное произведение, «Пиквиккский клуб» выше всего, что было написано прозой в XIX веке; а в «Пиквиккском клубе» — едва ли не самые лучшие страницы те, на которых рассказы милейших мистера Уэллера и его единокровного. По-русски, кроме «Повести о капитане Копейкине», нет ничего равного. Даже удивительный разговор двух дам о глазках и лапках едва ли так прекрасен.

Люди с тонким вкусом приходят в полное негодование, но наклеенный нос так длинен, что поднять его кверху — невозможно.

— Прочтите, пожалуйста, ваш перевод, Саша, — говорит Елисей Яковлевич (он у нас никого так не любит, как Диккенса).

— Извольте, — говорит Саша, — Самюэль Уэллер недавно познакомился с циркульником...

— С циркульником, Саша? А, теперь вспоминаю, — говорит Елисей Яковлевич: — а я уж было думал, что вы как-нибудь переименовали фамилию.

— То-то, и я что-то не помнил Дженкинсона, — говорит Нигулецкий.

— Нет, как можно! — говорит Саша: — я только передаю не Сем или Сам, а Сём, чтоб и по-русски имя младшего Уэллера звучало фамильярностью. А Дженкинсон — так и есть Дженкинсон.

— Ну, знаем, знаем теперь, читай же, вспомнили, — говорят все.

— Сём недавно познакомился с циркульником, и поэтому считает обязанностью деликатности сказать, — но тонким образом, — что он очень уважает почтенное ремесло циркульников. Теперь читаю:

История Дженкинсона

Сём довольно долго смотрел на циркульника.

— Только одного человека знал я из вашего ремесла, почтеннейший государь мой; но зато человек был хороший, — и уж как усерден был в своем занятии! Прекрасно! — Сём смотрел, а циркульник краснел: циркульник был очень скромн.

— Какое ж было его занятие? Больше по бритью, или больше по стрижке и завивке, смею спросить?

— И по той части, и по другой. К бритью была его страсть, можно сказать, а по стрижке с завивкою тоже был молодец. Все его удовольствие было в его занятии. Все деньги на медведей тратил, для медвежьего жира, как требуется по вашему ремеслу. Так они у него и ревут целый день, и зубами стучат: чувят, что жир с их братцев в банках стоит, а в окне на улицу их братцев головы поставлены. Они и ревут. А кроме того, им и то огорчение, что видят: с утра до ночи ходит по тротуару человек, вывеску ходячую носит, а на вывеске нарисован медведь в смертном чаше, а под медведем подписано, крупная такая, что «Вчерашнего числа убит новый медведь цирюльника Дженкинсона. Свежая медвежья помада лучшего сорта». Так вот их жизнь шла; и Дженкинсонова жизнь тоже шла. И только, вдруг у него в нутре расстройство вышло, и от этого самого он слег, и лежал, и долго; не может с постели вставать. Ну, что же: и больной имеет такое усердие к своему занятию, что когда тяжелее чувствует себя, значит когда потягчит ему, лекарь увидит это, обернется в переднюю-то комнату, где самая цирюльня, и говорит: «Тяжелее ноне вашему хозяину, бодните-ко медведей-то». Они и боднут медведей-то, — боднут, а медведи-то взревут; и как они взревут, Дженкинсон открывает глаза, — хоша бы ему как нельзя тяжелее было, и голос подает: «Это медведи ревут», — и полегчит ему.

— Эвто удивительно, — воскликнул цирюльник.

— В эвтом нет никакой удивительности, — сказал Сём: — натура того требует. Только, раз лекарь говорит: «Тоже, и завтра зайду, как всегда захожу», а Дженкинсон схватил его за руку и говорит: «Буду просить вас, скажите мне милость». — «С моим удовольствием, — лекарь говорит, — какую же?» — «Вот какую, — Дженкинсон говорит: — пожалуйста вы завтра небримшись, позвольте вас обрить». — «Хорошо», — лекарь говорит. — «Господь вас награди за это!» — Дженкинсон говорит. Приходит лекарь на другой день, — обрил его Дженкинсон, исправно обрил; и говорит лекарь: «Я вижу, что это вам на пользу идет; а у меня на козлах кучер сидит, столько дней рыла не брил, что вам в большое удовольствие будет такое рыло поскоблить; а у лакея моего рыло хоша и не очень давно брито, но баки у него такие уродились, что любо будет бритве по такому лесу погулять. Один придет сюда, другой останется у экипажи; — тот воротится стеречь экипажу, эвтом придет. Каждый день так буду делать с ними для вас, вы их и брейте в свое удовольствие. И тепереча, шестеро детей у вас, — что вам на них глядеть-то? — вы им головы-то и брейте, каждый день и брейте, — что не брить, — брейте. Тоже, двое подмастерьев у вас — что вам их не стричь да не завивать, как охота у вас есть? — Вот таким манером вы, бог даст, и поправитесь». — Дженкинсон со слезами руку жмет лекарю: «Буду», — говорит, — и начал с того же самого дня. Так у него под подушкою бритвы и лежат. Как чувствует, что тяжелее ему, кликнет сынишку или дочеренку, — а у них у всех головы-то лоснятся даже, так хорошо выбриты, — а он, все-таки, опять пройдет бритвою. — Ну, вот, завещание надо делать; пришел писарь, с его слов бумагу писать; писарь-то возле него сидит, пишет бумагу, а Дженкинсон потайком от него, сзади-то стрыгет да стрыгет его. — «Что эвто, — писарь говорит, — слышу я, будто стрыготня идет; стрыгут что ли, кого в цирюльной-то у вас?» — «Похоже на то, что стрыгут, — Дженкинсон говорит, а сам ноженцы-то спрятал ужь, и глядит ему в глаза, как ни в чем не бывало. И только тогда писарь почуял, когда ужь почти вся голова точно выбритая стала. И эвтим лекарством на много времени Дженкинсонова жисть была продлена. Ну, только пришло же и умирать ему. Тут он всех детей подозвал, оченно хорошо всех шестерых обрил; —

как обреет ребенка, и в темечко поцелует: отец, чувство. И подмастерьев позвал, обоих остриг, завил на самый лутчий манер, как нельзя быть моднее, и говорит: «Послушать бы тепереча самого жирного из моих медведей». И эвто его желание в ту же минутую исполнили; и тогда он говорит: «Оченно, — говорит, — я доволен; и тепереча оставьте меня одного»; — и оставили; он и умер; только перед тем сам себя острыг и пробор себе модный сделал с завивкою».

Добрая, милая Саша. — «Это о вас Веринька» — и страницы перевода залиты ее слезами. — Но мне вредно быть чувствительным.

Литература — орудие организации и строительства

Заметки публициста

ВАЛЕРЬЯН ПОЛЯНСКИЙ

Есть еще критики и публицисты, которые доказывают, что литература есть отражение жизни,—этим исчерпываются ее задачи. С этим взглядом надо покончить навсегда, пусть им живут пассивные созерцатели жизни. Такой взгляд в наше время не только не верен, но и глубоко вреден. Правда, еще Белинский выдвинул это положение, но это было ведь почти сто лет назад, когда литература не отражала жизни, когда о целом ряде социальных проблем говорить она не могла. Говорить о мужике, о крепостном праве было запрещено, а это был основной вопрос всей жизни. Вполне понятно, что Белинский, не только как критик, но и как большой общественный деятель, выдвинул положение — литература есть отражение жизни, сама жизнь. Тогда было своевременно прежде, чем говорить о социальных проблемах, показать жизнь во всей ее неприкрытой наготе. В этих исторических условиях, понятно, положение, выдвинутое Белинским было целесообразно, активно, теперь оно изжито, не исторично.

Некоторые критики утверждают, что литература — познание жизни. Конечно, эта формула — шаг вперед. Вводится элемент активности, к творчеству предъявляются более серьезные общественные требования. При сложности и многогранности современной жизни человек не в состоянии охватить ее целиком и непосредственно, поэтому он, естественно, вынужден обращаться к литературе, чтобы там найти материал для ясного представления о жизни. Литература идет на помощь политику, она дает богатый материал идеологический, психологический, бытовой и всякий другой, оживляя теоретические соображения и экономические расчеты.

Однако, и этот взгляд на литературу недостаточен. К художественному творчеству мы должны подойти с требованием, чтобы оно не только способствовало познанию, но и своей максимальной актуальностью содействовало организации жизни. Вне этого искусство и литература теряют свой смысл и значение. Формалисты, эстеты отрицают эту функцию литературы, отдельные марксистские критики принимают ее с оговорками. Революционная марксистская критика должна признать организационную функцию литературы без всяких оговорок.

По марксистской социологии литература относится к области надстройки, к области идеологии, а роль идеологии марксизмом определена довольно ясно. Разумеется, идеология в конечном счете определяется общественным бытием, но и бытие в свою очередь испытывает известное организующее влияние идеологии, сознания. Если бы мы ограничились лозун-

гом — литература есть познание жизни, мы не стояли бы на марксистской точке зрения, так как марксизм требует, чтобы идеологическая функция была организующей функцией. Мы отрицаем искусство для искусства, отрицаем мы и идеологию для идеологии. Все служит разрешению той или другой социальной задачи.

Вопрос о социальной природе искусства усложнен проблемой социального заказа. Есть социальный заказ, или нет? Спорят до синяков, забывая, что вне социального заказа литература не может существовать, что социальный заказ дается историческим моментом. Художник, если он чуток, принимает и выполняет социальный заказ стихийно, незаметно для себя. Он разрешает те же социальные задачи, которые разрешаются одновременно наукой, политикой и т. п. Конечно, искусство пользуется своими своеобразными методами и приемами. Эти методы не те, что у науки и политики, но это не значит, что между наукой и искусством нет органического единого стержня. Такой стержень есть, — это классовые интересы в данный исторический момент.

Если мы говорим об активной, организующей роли литературы, то, очевидно, в настоящий момент задача литературы сводится к тому, чтобы способствовать организации нашей современной жизни. Встает неизбежный дополнительный вопрос, что такое наша современная жизнь, кем она определяется, какие основные моменты и направления в этой жизни есть, каковы и чем питаются враждебные силы и т. д. Ясное разрешение этих вопросов дает возможность определить организующую функцию литературы — положительную или отрицательную — в зависимости от того, что она организует: силы творческие, созидающие, или силы враждебные, тормозящие, разрушающие. В наше время литература с положительной социальной функцией неизбежно будет служить интересам диктатуры пролетариата и строительства социализма.

Все прекрасно понимают, что художественная литература показывает, но не доказывает; необходимо все же, чтобы этот показ, как результат непосредственного восприятия действительности, был под контролем классового сознания, которое должно быть максимально организовано.

Само собою очевидно, что подсознательное художественное зрение, интуитивная стихия питаются классовым содержанием жизни. Все подсознательное, невыявленное сознание, неорганизованная стихия — заснятая, но не проявленная фотографическая пластинка; полагаться на неорганизованную стихию, в которой легко уживаются враждебные силы, абсолютно невозможно. Эта стихия должна пройти через контроль высоко организованного классового сознания.

Бывают случаи, когда эклектичное, разорванное сознание слабее инстинкта, подсознательного, и классовая сущность подсознательного спасает художника от многих грехопадений и измен своему классу, но это отдельные случаи, а не норма.

Художник не должен опасаться контроля сознания. Он глубоко ошибается, думая, что сознание убивает яркость творчества и что он вообще свободен от контроля или помощи сознания. Еще Н. Добролюбов указывал на связь искусства с наукой, когда говорил, что иногда искусство толкает вперед науку, когда она еще не смогла своими приемами наблюдения и методами изучения отметить те или иные явления, которые художник уже подметил и за развитием которых следит. Иногда наука толкает вперед искусство: экономист, историк, политик теоретически распознают и отмечают основные элементы, тогда как для художника, для непосредственного восприятия, они еще неощутимы.

Первое требование, которое мы предъявляем литературе — правдивость. Но что такое правда? У каждого класса, у каждой группы писателей, выражающих интересы того или иного класса, есть своя классовая правда. Когда мы говорим о нашей современной литературе, то ее правда должна совпадать с классовой правдой пролетариата, а не с иной правдой. Вне этой правды нет движения вперед.

Эта общая формулировка в применении к художественному творчеству требует детализации. Всякий класс имеет свою историю. Класс проходит известные стадии развития: восхождение, расцвет, увядание. Естественно, что и литература, отражая развитие класса, его стремления, должна разрешать свои задачи не вообще с классовой точки зрения, а с классовой точки зрения определенного момента. Если бы мы сейчас подошли к современной литературе, исходя из условий периода военного коммунизма, мы потянули бы литературу назад, в лучшем случае топтались бы на месте. Пролетариат пережил два момента в развитии революции: завоевание власти и восстановление хозяйства, теперь он подошел к третьему этапу — к реконструкции хозяйства. Первые две задачи отошли в историю. Естественно, что художественная литература, если она только жизненна, должна поспевать за ходом жизни, реагируя на те условия, которые вытекают из хозяйственного положения, и на те конфликты, которые вырастают в процессе борьбы старого с новым.

Исторический процесс, отражаясь в психо-идеологии художника, должен приходиться через сознание в процессе динамического понимания жизни. Рассматривать жизнь в статическом состоянии нельзя. Ряд литературоведов-социологов утверждает, что познать литературный материал возможно, только взявши его в статике. Эта тенденция вредна и опасна. Статика ведет к тому, что явление рассматривается, как нечто законченное, в то время как оно, будучи следствием одних причин, в то же самое время является причиной других следствий. Статика разрушает перспективу, мешает правильному распределению света и тени, случайное путает с основным. Часто бывает так, что яркое явление, бьющее в глаза, заслоняющее все остальные, по социальному существу своему является мелким, преходящим явлением; явления же громадной социальной значимости, которым принадлежит будущее, в данный момент почти совсем не видны. Нужно очень большое художественное чутье и сильное классовое сознание, чтобы заметить их и выявить. Художники, рассматривая явления вне диалектики, не смогут разобраться в их сложности. Ярко и сильно они изображают то, что пышно распустилось, не осознавая подчас, что это случайное и наносное, часто не замечая основного, органического в эпохе. В силу этого творчество их не только перестает быть организующей силой, но часто даже мешает познанию жизни, потому что жизнь показывается в искривленном зеркале, искаженно. Литература перестает быть правдивой.

Только диалектический подход делает литературу жизненной, правдивой, актуальной, организующей силой.

У пролетарского писателя, который идет на смену буржуазному писателю, основным фоном творчества должно быть наше конкретное социалистическое строительство, а не отвлеченные суждения о революции и коммунизме. Он должен воспринять классовую точку зрения и понять марксизм не только как социологическую систему, но и как грандиозное революционно-культурное движение. Особенно это важно сейчас, когда мы разрешаем сложную проблему культурной революции, ставим вопрос о новом человеке, о реорганизации нашей психики, сознания, мышления, морали, быта и т. д.

Отразила ли наша литература полностью Октябрьский переворот? Со всей искренностью надо признать, что отразить такую большую эпоху возможно только на известном расстоянии. Частичная же работа проделана большая. Мы знаем литературу военного коммунизма. Она была, главным образом, стихотворной. Эта литература вызывает у некоторых скептическое, ироническое отношение. Любят они ссылаться на межпланетную революцию, на мировые совнаркомы. Фактически же эта литература глубоко созвучна своему времени. Она отразила великий пафос и романтизм революции. Тогда было время, когда писали об отмене денег и упраздняли налоговый аппарат, когда рассчитывали снабжать население по трудовым знакам, когда ставка делалась на немедленную пролетарскую революцию в Европе. Был велик пафос революции, был велик пафос и в литературе. Она была в тесном контакте с революционной бурей, как никогда. Глубоко неправ тот, кто думает, что литература того времени была простым плакатом, грубой агиткой. Литература не только приобрела тогда новое содержание, она положила начало новой форме, новому образу, новому эпитету, новому сравнению, она произвела переоценку человеческих отношений и отношений человека к вещам. Это большая и славная роль. Литература объединила всех на критическом отношении к прошлому, в героической защите Октябрьской революции. А этого и требовал момент. Такова была организационная задача эпохи. Естественно, литература не могла вскрыть всесторонне и углубленно сущности переворота.

Гражданская война выдвинула свой основной мотив: быть господству буржуазии, или диктатуре пролетариата? Этот вопрос разрешался в различных построениях, но он разрешался всегда быстро, без достаточного учета целого ряда психологических, идеологических, социологических и бытовых сплетений. Отдельные детали, интересные сами по себе, не всегда углубляли творчество проникновением в хитросплетения социальных сил и явлений. Эта литература, как и литература пафоса и романтизма революции, не смогла спуститься в гущу жизни, в ее недра. Основная задача—преодолеть контрреволюцию—заменяла все остальное; естественно, и детали брались те, что составляли единое целое с главной темой.

Литература военного коммунизма отразила основные настроения эпохи, отразила их ярко, поучительно, но она не смогла отразить всей глубинной сущности Октябрьского переворота. Не смогла в силу исторических объективных условий, а не из-за своей близорукости, бесталанности или отрыва от движения класса.

Наступил нэп, эпоха мирного строительства, от пафоса борьбы пролетариат перешел к пафосу строительства, революционный романтизм сменился будничной, кропотливой черной работой. Литература начала быстро перестраиваться и взяла новые ноты. С межпланетных пространств она спустилась на землю, темой ее стало органическое строительство. Часть литературы пошла по другим дорогам: некоторые писатели определились как «попутчики», другие — как выразители чаяний сменовеховской интеллигенции и новой буржуазии. Эти группировки сохранились до последнего времени.

Какие же стороны жизни и какие процессы в ней наша литература должна отражать за последние годы? Две социальные силы регулируют нашу общественную жизнь: пролетариат, как гегемон, и крестьянство, как его союзник. На этих силах литература и должна сосредоточить свое серьезнейшее внимание. Вне этого она теряет историческую почву и диалектическую перспективу. Многие думают, что пролетарская литература должна отражать только пролетариат, его быт, его устремления и т. п. Это не так. Пролетарская литература должна со всей обстоятельностью обратить внимание и на деревню, потому что строительство социализма вне союза пролетариата и крестьянства в нашей стране немыслимо.

Отмахиваться от деревни, предоставляя ее т. н. крестьянским писателям, нельзя. Понятие «крестьянский писатель» в наши дни страдает бóльшей неопределенностью, чем понятие «попутчик». Пишет о деревне, о крестьянине — крестьянский писатель. Пишет о заводе, фабрике, рабочем классе — пролетарский писатель. Абсурдное представление. Пролетарский писатель, независимо от своего происхождения, независимо от материала, который он берет для своего творчества, всегда в бóльшей или в меньшей степени отражает интересы рабочего класса и стоит на коммунистической позиции. А если т. н. крестьянский писатель — коммунист, защищает диктатуру пролетариата, отражает его мировоззрение и мировосприятие, что он — крестьянский писатель, или же пролетарский, пишущий о деревне или пришедший из деревни? Вопрос о крестьянском писателе очень сложный. Возможно, что в наше время крестьянского писателя и нет. Так называемый крестьянский писатель фактически или идет в рядах пролетарской литературы, или в союзе с новобуржуазной литературой, но чаще всего путается с «попутчиками». В дооктябрьский период крестьянский писатель выражал мелкобуржуазную сущность крестьянина-индивидуалиста, собственника. А теперь социальная структура деревни новая, и старая мерка непригодна.

До самого последнего времени литература питалась материалом периода военного коммунизма и восстановления народного хозяйства. Мы имеем большие серьезные вещи: «Железный поток» Серафимовича, «Мятеж» Фурманова, «Разгром» Фадеева, «Цемент» Гладкова, «Доменную печь» Ляшко и ряд других произведений. Но мы ведь вошли в новый период, в период реконструкции хозяйства, в период индустриализации, и в связи с этим этапом строительства мы уперлись в проблему культурной революции. Художник, осознав и продумав новый курс жизни, должен брать материал под новым углом зрения. Расценка жизненных явлений с позиции восстановления хозяйства будет уже неисторична, архаична, неверна. К. Маркс писал, что идеология отстает от экономического процесса, следовательно, для нашей литературы есть оправдание в том, что она отстает, все же она не должна тащиться в хвосте жизни, потому что новый период уже дает материал и для простого глаза, не вооруженного чуткостью художника.

Вот пример. Нехватает масла. Возникает сначала недоумение, потом раздражение, возникают споры о силе Советского Союза, дело доходит иногда даже до внутренних семейных конфликтов. Хвосты, очереди, смятение обывателя. Власть выдвигает задачу коллективизации хозяйства. Задача сложная, ведет к большой хозяйственной и культурной ломке. Эта мера уже имеет непосредственное отношение к реконструкции хозяйства. Скота у нас больше, чем до войны, — масла у нас не меньше. Деревня стала богаче, сама кушает масло, не хочет везти его в город, и город стал потреблять масла больше. Разошлось масло по индивидуальным потребительским хозяйствам. За уничтожением помещичьего и ослаблением кулацкого хозяйства не стало товарного масла, наши же мелкие хозяйства не в состоянии дать нужного количества товарного масла. Мелкий факт — результат очень больших социально-экономических сдвигов, вызванных Октябрьским переворотом. Все это дает интереснейший материал для художника — не только для бытовика, но и для психолога.

Всеякие аналогичные явления будут обнаруживаться медленно, постепенно, с борьбой, в болезнях. Чтобы заметить все это, понять, что к чему, и отразить в художественном творчестве, надо уметь установить между всеми фактами тесную связь, протянув ее непосредственно к Октябрьскому перевороту. Творчество, отражающее эти явления, несомненно, социально нужно, оно будет иметь колоссальное организующее значение, поскольку будет

подготавливать читателя к высшей ступени жизни; оно будет иметь и большой успех у читателя, раз он без изданий ЦСУ и Госплана сумеет разобраться в развертывающихся экономических, политических процессах, в общественной и своей личной психологии. Наша литература еще не сумела использовать всего этого богатого и интересного материала, а между тем, надо вскрывать, какие психологические и бытовые трудности стоят на пути коллективизации сельского хозяйства.

На помощь идет культурная революция. Литература должна суметь все это выявить и показать

Вводится семичасовой рабочий день. Проблема экономическая и культурная. Она озабочивает государство и волнует пролетариат. Государство, вводя семичасовой рабочий день, должно принять меры, чтобы не поднялась стоимость производства, чтобы не понизилась производительность труда. Рабочий озабочен тем, чтобы большая интенсивность труда, которая неизбежно сопровождает семичасовой рабочий день, не отняла у него больше сил, чем восьмичасовой рабочий день. Некультурность, малая квалифицированность толкает его в отдельных случаях к прежним условиям труда. Работница-текстильщица рассуждает: теперь будет три смены; когда я буду в ночной смене, как мне быть с ребенком; он будет в яслях—надо больше яслей; ребенка придется брать из яслей ночью,—придется будить его. Все это ее волнует. Как-будто это мелочи жизни. Но из этих мелочей складывается целая жизнь. Эти мелочи волнуют рабочий класс. Всмотритесь, какой богатейший психологический и бытовой материал.

Выдвигая вопрос об организующей роли литературы, об ее актуальности, мы неизбежно ставим вопрос о стихийности и планомерности художественного творчества. Если мы творческую планомерность вносим в науку и там одни проблемы выдвигаем на первый план, другие ставим в очередь, несмотря на индивидуальные склонности и навыки ученого, то почему нельзя внести планомерность и в художественное творчество? У нас часто планомерность вызывает усмешку, раздраженное формальное отношение. Это происходит, главным образом, из-за того, что часто планируют по-канцелярски.

Художник русской литературы должен освободиться от стихийности творчества. Творчество должно регулироваться и планироваться классовым сознанием художника. Оно подскажет ему, на каких проблемах сосредоточить внимание.

В связи с лозунгом культурной революции поднят вопрос о новом сознании, о новой психологии, о новом человеке и т. п. Опять очень большой и сложный вопрос. Литература подходит к этим темам. К сожалению, часть критики, вместо того, чтобы подводить писателя к новой задаче и помогать ему найти нужную перспективу и краски, засоряет проблему пустыми, бесплодными разговорами о живом, гармоническом человеке и т. д.

В свое время, когда в литературе преобладала тяга к «космизму», когда «планетарные» темы вытесняли конкретные явления живой жизни и реальные переживания живых людей, творцов, лозунг «живой человек в литературе» был здоровой реакцией на игнорирование действительности так называемыми био-космистами. Сейчас говорят, что литература, изображающая эпоху военного коммунизма, не показала живого человека, а литература, обещающая полосу мирного строительства, дает живого человека. Это неверно.

Закончить победоносно гражданскую войну без изумительного героизма нельзя было. Героизм — дух эпохи. Литература отразила его, и отразила правильно, не утонув в мелочах, которые могли бы искривить основное. Теперь показывают человека с его мелочными страстишками, с нравственными коллизиями и думают, что показывают живого человека. Святая простота.

Проблема живого человека родилась из того факта, что некоторые из писателей, недостаточно овладев культурой художественного письма, рисовали красноармейцев в виде оловянных солдатиков, а человека вообще изображали на манер кустарных изделий. Вопрос не в односторонности изображения человека, а в недостаточном умении показать эту односторонность правдиво, жизненно. Замечание М. Горького, что мы до сих пор еще рисуем героя на час и не сумели показать героя эпохи, глубоко верно.

К проблеме живого человека прибавили проблему гармонического человека. Что такое гармонический человек? В старое время гармонический человек мыслился вне времени. Определяли его качества, но писали, что жизнь еще не создала необходимых для его существования условий. Для нас гармоническим человеком является всякий, кто идет в ногу с жизнью, у кого личное сливается с общественным, кто идет с пролетариатом. Но это уже классовый человек, который протестует против пустословия о гармоническом человеке. Мы мыслим максимально совершенного человека в условиях коммунистического общества. Только так и можно ставить вопрос. Проблема совершенного человека должна ставиться не отвлеченно, теоретически, а исторически, в свете диалектики, особенно в наш переходный период, когда мы еще имеем государство с его принудительным и карательным аппаратом и классы.

Много спорят сейчас о психологизме. Некоторые критики хвалят писателя за то, что в нем чувствуется психологизм Достоевского, психологизм Толстого. Психологизм, как самостоятельная проблема, — это нечто схоластическое и притом чуждое пролетарскому пониманию литературы. Он волновал старого писателя, который, как индивидуалист, не мог жить вне психологизма. Наша литература, поскольку она является пролетарской, определяется не индивидуалистическими, а коллективистическими тенденциями, психологией класса, а не отдельного лица. Писатель имеет силу и значение, поскольку выражает интересы класса.

Проблема психологизма поставлена искусственно, надуманно. Нужно ли говорить, что литература не может обойтись без психологии? Когда вы смотрите на портрет писателя, снятый фотографом, вы находите большое физическое сходство, но вы не чувствуете индивидуальных черт, душевного облика этого человека и даже улавливаете в выражении что-то случайное. Когда же вы видите портрет того же писателя, сделанный художником, вы не всегда наблюдаете физическое сходство, но зато проникаетесь внутренним содержанием человека. Вы предпочитаете живопись фотографии. Точно так же и в художественной литературе. Если автор дает фотографический снимок с быта, с пейзажа, с людей, если нет комплекса психологических моментов, которые неизбежно имеются в жизни каждого человека, каждого класса, каждой социальной группы, литература обесцвечивается, теряет в своей ценности.

Психологическая разработка должна идти не только в согласии с биологическими данными, но и в согласии с классовой психологией, отложившейся в соответствующий исторический элемент. Законы биологии устойчивы и длительны, — они могут изменяться лишь на протяжении столетий; психология человека меняется с годами, психология класса — с социальным ростом класса.

Сомнительно и то, что теперь психологическая проблема сложнее, чем в первые годы революции: теперь, говорят, в жизни много подводных камней, их нужно миновать, чтобы войти в избранную гавань. Для интеллигента и крестьянина 17-й и 18-й годы в психологическом отношении вряд ли менее сложны, чем 28-й год, когда десять лет пролетарской власти уже наложили определенный отпечаток на сознание всех общественных групп.

Вопросы о живом человеке и психологизме, как их пытаются некоторые толковать, поставлены совершенно неправильно, но раз они встали, очевидно,

Они имеют корни и в известной мере законны. Нужно отметить, что современные писатели не обладают той литературной культурой, которая накопилась в предыдущие века и которая была доступна писателям прошлого столетия. Легко было Льву Толстому работать. Владея Ясной Поляной и домом в Москве, он имел в своем распоряжении деньги, удобства, домашние библиотеки, университеты, знания языков и т. п. Он имел возможность писать и сотни раз исправлять свои произведения. Современный писатель не имеет этой возможности; он героически добивается сносных условий творчества и необходимых знаний, и — успевает. Какой колоссальный путь пройден, например, пролетарскими писателями! Он изумителен! Они, ведь, начали писать стихами Тредьяковского, а в прозе далеко уступали не Тургеневу и Толстому, а Решетникову, пришедшему из тех же низов. Теперь же наши пролетарские писатели заслуживают глубокого внимания. Многие из них представляют уже значительные литературные явления. Но это — процесс завоевания литературной культуры. Читая «Разгром» Фадеева, вы чувствуете, что тут уже нет сплошных мест, вы любуетесь психологией отдельных героев, вы видите, что, хотя они и захвачены единым волевым устремлением, все же между ними есть глубокая психологическая разница. Каждый из действующих лиц, несмотря на то, что он вовлечен в общий поток, имеет свою собственную психологическую установку, которая отделяет его от соседа. Этот психологический подход к герою — законное положительное явление. Однако, он ни в какой степени не свидетельствует о каких-либо новых чертах творчества. Просто, литература от общих психо-идеологических постановок переходит к частным, общее мотивирует частным. Овладевая мастерством, писатель в основу творчества начинает брать не отвлеченные теоретические общественно-политические цели, а живого человека с его психологией, и на нем разрешать отдельные проблемы современности. Мастерство писать живого человека в его психологическом развертывании особенно важно в наши дни, когда так остро стоят вопросы нового быта, нового человека. На этом пути уже сделано немало ошибок.

Новое сознание, новая психология, новый человек должны быть показаны в своем становлении и укреплении в жизни, как нечто органическое. Этот процесс протекает в борьбе с пережитками прошлого, он труден в своем показе и последний немислим вне классовой диалектики. Надо отметить со всей решительностью, что наша литература стоит сейчас на очень опасном и скользком пути. Много говорят о правдивости литературы, о «доподлинной» жизни. Под лозунгом «доподлинности» жизни, жизни без прикрас, без лжи, фактически дается не та жизнь, которая идет на самом деле, рисуется она классово тенденциозно, односторонне, случайное, переменное выдается за органическое и длительное. Преобладающий мотив современной литературы — борьба старого с новым. Почти каждый писатель в том или ином общественном разрезе ставит основную проблему: строят социализм в невероятно тяжелых условиях; материально тяжелых, когда не хватает одного, другого, третьего; психологически тяжелых условиях, когда старый быт, старый человек, некультурность и т. п., налегает на живое, новое. Старое цепко держит новое, разлагает его, парализует, увечит. Многими с наибольшей полнотой и убедительностью рисуются отрицательные картины. То, что мешает нам двигаться вперед, отражается с яркой красочностью и широким размахом, то же, что мы завоевали и завоевываем, основное всего строительства, писатели часто или не видят, или искажают. Ударение делается на том, что нас еще держит, и как сильно держит; слишком мало и тускло зарисовываются то, что мы уже завоевали, насколько мы продвинулись вперед и как прочно укрепились. Когда берешь отдельное произведение, то оно как-будто бы дает

верные картины, сообщает правильные факты, вспоминаешь аналогичные моменты, более яркие и более отвратительные. С произведением миришься, его неправда не бьет по сознанию. Когда же все эти произведения возьмешь вместе, то чувствуешь не только частичность, случайность материала, искривление и преувеличение, но и определенную искаженную перспективу, определенную тенденцию сменовековщины. Чувствуется, как литература в отдельных своих частях пытается убедить своими зарисовками, что социалистическое строительство упирается в тупик, что строить-то мы строим, но неизвестно, что из этого выйдет, может быть голая дыра, голый человек, как рассуждает мрачный обыватель-циник из «Унтиловска». Унтиловская философия ярко и законченно выявляется в современной литературе. Художник не умеет класть свет и тени, он распределяет их неверно и тем самым извращает действительность, уходит от «доподлинной» жизни. И надо подчеркнуть, что писатель часто не сознает, что он делает, не видит своих ошибок, они лежат в его расплывчатом мирозерцании. Выход из этого в большей политической и общественной грамотности. У нас много писали о технической неграмотности, о незнании русского языка, его грамматики, но слишком мало еще писали о недостаточности политического воспитания писателя, который часто не идет дальше элементарных истин и общих положений и не умеет понять тенденций жизни и сущности отдельных повседневных явлений.

Роман «Цемент» — большое полотно, на котором мы видим энтузиастическую картину того, как пролетариат приступает к восстановлению хозяйства и как одновременно происходят бытовые и психологические сдвиги. «Мятеж» Фурманова, «Разгром» Фадеева — большие полотна на тему о героической защите Октябрьской революции. Эти произведения при всех их литературных несовершенствах являются вехами, по которым вольно и невольно равняются другие. Необходимо сейчас произведение, которое отражало бы момент перехода от восстановления к реконструкции хозяйства. Должен найтись художник, который умелой рукой расставит нужные вехи, произведение которого будет своего рода моральной цензурой для других, как в свое время такой моральной цензурой был «Антон Горемыка» Григоровича. Чертополох в литературе бьет в лицо, и мы несомненно протремемся через него, — добрые начинания зарастают и гибнут в этом чертополохе. Эта литература не разрешает социальной задачи, — она скрывает, искажает истинное лицо жизни.

Жизнь выдвигает большие проблемы о новых отношениях людей. Они сложнее, чем в период гражданской войны, но принципиально не новы. Психология человека также становится сложнее, но основная линия ее развития остается той же, что и в первые годы пролетарской революции, несмотря на то, что острота гражданской войны сменилась мирным социалистическим строительством. На основном фоне проблема нового быта должна захватить все стороны жизни, — внутренние и внешние ее проявления. В первую очередь должны быть разработаны мотивы новых отношений людей в процессе социалистического строительства, которые пролетариат стремится осуществить по своим планам, крестьянство по своим, интеллигенция по своим, а иные противятся новому строительству и даже организованно мешают ему и подрывают его. Во всем этом масса материала бытового, психологического, идеологического. Художник, если он сумеет разрешить задачу в плане пролетарской революции, разрешит одновременно и проблему психологизма и проблему живого человека, и большую социальную задачу.

Неменьший интерес представляют намечающиеся отношения между старым и новым поколением как в рядах коммунистических строителей, так и в рядах мелкой буржуазии. Отношения отцов и детей всегда новы и

интересны, особенно интересны они сейчас, когда старое поколение, которое на протяжении последних пятидесятилетий творило историю, сходит со сцены, умирает. Отцы и дети всегда живут в разных общественных условиях, но раньше эти условия покоились на принципах капиталистического развития страны, теперь дети живут в совершенно новой обстановке. Старое поколение революционеров жило преимущественно идеей борьбы и разрушения старого, молодое поколение живет идеей строительства.

Глубокого внимания заслуживают: процесс раскрепощения женщины, процесс завоевания ею места себе наравне с мужчиной, складывающиеся новые отношения между мужчиной и женщиной. Женский вопрос разрабатывается преимущественно с половой точки зрения. Тип новой женщины совсем еще не освещен; у нас рисуют женщину все еще по-старому: она самка прежде всего, физиология управляет ею даже тогда, когда она выступает на общественную арену. Эту сторону изучают, вооружившись всеми увеличительными приборами, а новой психологии женщины, нового тона ее жизни не видят. Надо показать женщину хозяйном жизни.

А сколько увлекательнейшего и порою трагического материала дает идеологическое разложение семьи, члены которой экономически еще связаны в единый организм, но по существу своему давно уже разобщены различным волеустремлением жизни. За этими основными задачами идет целый ряд «мелочей» быта, больших, еще не тронутых, но поучительных.

Вопросы революционной целесообразности, законности и гуманности, вопросы ценности жизни и отношения к смерти, личное и общественное и т. д., — все это неисчерпаемый клад для творчества.

В процессе художественного оформления современная литература должна помнить, что читатель ее — широкая масса трудящихся. Литература должна быть глубоко реалистической; элементы формы должны быть органически связаны с материалом содержания. Идеология отстает от экономики, форма идеологии отстает от ее содержания. Несмотря на это, современный художник должен поставить очередной своей задачей — перешагнуть через подражание Достоевскому, Толстому, Блоку и другим. Жизнь уже намечает элементы новой формы. Многие пишут, выявляя свою сущность, свою психо-идеологию, несколько не думая о читателе, а он, сплошь и рядом стоит в недоумении перед этим писателем, который ему непонятен и которого он не приемлет. До сих пор литература обильно пользуется старыми образами, которые навеяны дворянской усадьбой и буржуазным обществом. Мы боремся за научное мировоззрение, развертываются горячие философские споры даже в среде коммунистов, а литература наша в своих образах, эпитетах, сравнениях и т. п. несет элементы нередко даже мифологического мировоззрения, которое своими корнями сидит в глубокой старине, но до сих пор еще живет и подрывает достижения науки.

Большие и серьезные задачи, которые стоят перед современной литературой, возлагают на нее великую ответственность. Писатель должен чувствовать свою ответственность не меньше, чем мыслитель, политик и всякий общественный деятель. Художник несет ответственность наравне со всеми перед историей, перед социальной революцией, перед пролетариатом.

Это страшит, но и воодушевляет, радует и награждает.

„Стабилизированная“ Европа на выборах

Г. СМОЛЯНСКИЙ

13 января 1919 г., за день до гнусного убийства Розы Люксембург и Карла Либкнехта, некий социал-демократический поэт Циглер на страницах «Форвертса» после победоносного штурма бандами «кровавой собаки» Носке здания «Форвертса», занятого спартаковцами писал:

Четыреста трупов в одном ряду.
Пролетариев!
Карл, Роза и Компания!
Ни одного среди вас—
Пролетария!

Эти слова были сказаны со специальной целью оправдать предстоявшее убийство.

В последующие годы, в 1920—21—23 г.г., социал-демократия имела возможность убедиться на опыте, сколько подлинных пролетариев идет за делом Карла и Розы. Но со времени эпохи «частичной стабилизации капитализма» международная буржуазия и ее социал-демократическая агентура не переставали твердить о так называемой «кризисе коммунизма», который был, мол, продуктом непосредственной послевоенной эпохи и экономических бедствий, с этой эпохой связанных. Выборы 1927 г., имевшие место в той или иной форме (парламентские выборы, коммунальные и т. д.), почти во всей континентальной Западной Европе, показали, насколько верны были эти «прогнозы» буржуазных и социал-демократических политиков. Эти выборы, несмотря на бешенный административно-полицейский поход против коммунистов в профсоюзах, на заводах и т. д., принесли не только огромное полевание масс, но, в первую очередь, гегемонию в этом полевании коммунистических партий. Избирательные итоги коммунизма в трех крупнейших странах, прошедших через выборы, — в Германии, Франции и Польше, — дают суммарно 30% выигранных коммунистами голосов. Более того, как мы увидим из дальнейшего анализа, компартии Запада стали основными, а в некоторых странах и единственными партиями промышленного пролетариата. В то же самое время избирательная кампания 1927 г. с необычайной ясностью выявила социальные противоречия частичной стабилизации капитализма, указанные еще XV съездом ВКП(б) в ноябре прошлого года, заключающиеся в диспропорции между успехами капиталистической рационализации и концентрации, с одной стороны, и понижением жизненного уровня пролетариата — с другой, что обусловило неизбежный процесс полевания европейского пролетариата.

В этой обстановке особенное значение имела тактика коммунистических партий. Для компартий избирательная кампания является не прелюдией

к парламентским «битвам», а одним из участков общего фронта классовой борьбы. Между тем, господство национально-консервативных правительств крупной буржуазии почти во всей Европе («Bürgerblok» в Германии, национальный блок во Франции, консерваторы в Англии) давало возможность социал-демократии, являющейся на деле партией капиталистической стабилизации, разыгрывать оппозицию при помощи мнимого различия между «правым» и «левым» крылом буржуазии. В этих условиях компартии оказывались иногда в трудном положении, поскольку на них велась жесточайшая атака, как против «пособников реакции», «помощников» Гинденбурга и Пуанкаре. Обычный прием, известный еще со времени первого появления на избирательной арене рабочей партии в Англии в начале XX столетия, когда либералы, державшие английский пролетариат в идеологическом плену в течение 3—4 десятилетий, обвиняли рабочую партию за самостоятельное выступление на выборах, в пособничестве консерваторам! Этот прием мог оказать известное влияние и в нынешней избирательной кампании, если бы не было налицо двух достаточных для этого условий: полевения рабочих масс и идеологической зрелости западно-европейских компартий.

Основным уроком парламентских выборов 1927 г. является новая расстановка социальных и политических сил в трех крупнейших капиталистических странах Западной Европы. Рассмотрим на анализе этих выборов в каждой стране отдельно, куда р а с т у т эти новые тенденции в соотношении классовых сил.

Первые по времени были выборы в Польше. По существу, здесь даже нельзя говорить о выборах в строгом смысле этого слова, ибо репрессии к моменту выборов достигли небывалой даже для пепезовских охранников Пилсудского размеров. Предвыборная кампания антифашистского блока была полностью запрещена. На «крессах» — в Белоруссии, на Украине — во многих местах были заранее заготовлены избирательные урны, наполненные фашистскими избирательными бюллетенями. И тем не менее антифашистский блок во главе с компартией Польши в тех местах, где он имел возможность выступать, вышел из боя с весьма значительным количеством голосов. При этом в основных промышленных районах антифашистский блок стоит на первом или на втором месте. Правда, ППС получила 1.481.279 голосов против 906.000 голосов в 1922 г. Но эти победы ППС одержала в крестьянских районах. Единственный рабочий центр, где ППС получила большое число рабочих голосов, это — Лодзь; здесь ППС досталась в наследство часть отсталых элементов национальной рабочей партии. Конечно, этим отсталым элементам рабочего класса трудно сразу перейти от национальной реакции к коммунизму, и ППС становится в Польше тем мостом — как и социал-демократия в Германии (как будет видно из дальнейшего) — для некоторых категорий отсталых рабочих, через который рабочие из буржуазного лагеря придут к коммунизму. Чрезвычайно характерно, что фашизм, получивший самое большое количество голосов — около 20% всех поданных голосов, — оказался слабым как раз в польской деревне и получил большое количество голосов в промышленных районах. В Варшаве, Лодзи и Бендине, т.-е. в крупнейших промышленных районах Польши, фашисты получили свыше 41% своих голосов, между тем как ППС в этих округах получила меньше 20% своих голосов.

Огромное поражение потерпела ППС также на крессах — в Западной Белоруссии и в Западной Украине.

С другой стороны, антифашистский блок по сравнению с 1922 г. увеличил количество своих голосов в 6—7 раз. В тех же трех важнейших промышленных центрах плюс горнопромышленный район Верхней Силезии антифашистский блок получил около 200 тысяч голосов, т.-е. около 25% всех голосов; в Домбровском районе — свыше 34% всех голосов, а в неко-

торых отдельных центрах Домбровского района и абсолютное большинство. В общем антифашистский блок получил в Домбровском районе на 55% голосов больше, чем ППС.

Таким образом, ППС хотя и увеличила количество своих голосов на 600 почти тысяч человек, но фактически потеряла всю свою пролетарскую базу. Недаром орган Пилсудского писал о том, что ППС перестает быть «полезным членом буржуазного общества», поскольку те элементы, которые составляют его избирательную массу, могут быть организованы и без участия ППС. «ППС перестает быть рабочей партией, — вот о чем говорят последние выборы... ППС передает рабочие массы в другие руки, переходя в мелкобуржуазную и мелкокрестьянскую среду... Роль ППС, как рабочей партии, сходит на-нет, ее характер должен подвергаться сильным изменениям, а с государственной точки зрения появляется необходимость рассмотреть вопрос об ее заместителе в рабочей среде...». («Глос Правды», 6 марта 1928 года).

Следующие выборы происходили во Франции в апреле 1928 г. И здесь, как в Польше, реакционное правительство одерживает подавляющую победу. Пуанкаре получает большинство в 380 мест в парламенте, насчитывающем 612 депутатов. После преследования революционеров и усиленной подготовки к войне Пуанкаре выходит победителем из избирательного боя. Франция находит свой путь к антисоветскому блоку.

Чем объяснить победу Пуанкаре? Эта победа объясняется прежде всего тем фактом, что буржуазия «потерпевшей победу» капиталистической Франции признала правильной политику Пуанкаре в отношении потерпевшей поражение капиталистической Германии. Рурская авантюра Пуанкаре, несмотря на весь ее позорный провал, создала все же предпосылки для Локарно и «политики выполнения» в Германии. Наконец, с помощью крупной буржуазии Пуанкаре удалось стабилизировать французскую валюту.

С другой стороны, растущие противоречия империализма, необходимость все обостряющей конкуренции, вынуждают к понижению стоимости производства. Отсюда — наступление на условия труда рабочего класса. В связи с этим — и безостановочный рост классового движения. 1927 год был годом массовых стачечных боев во Франции, ставшей после войны классическим государством промышленного капитала. Чтобы противодействовать хозяйственным и политическим трудностям, французская буржуазия собрала свои силы в национальном блоке. Пенлеве и Эррио находятся фактически в одном лагере с Пуанкаре, выполняя волю и политику крупной буржуазии. Сейчас два всех стали очевидными слова коммунистов в 1924 г.: «Национальный блок и левый блок — две головы под одной шапкой».

Социалисты вполне заслужили во Франции реноме партии капиталистической стабилизации. В 1924 г. они голосовали за инфляцию, секретные фонды, увеличение налогов, войну в Марокко. В 1927 г., она поддержала неслыханный по своему классовому цинизму военный проект своего товарища по партии «социалиста» Поля Бонкура, который заранее объявляет мобилизованными — в случае объявления войны — профессиональные союзы рабочих, т.е. те организации, которые призваны бороться против войны. Другой «социалист», Ренодель, голосовал за усиление жандармерии. Шпинас и Жуо ратуют за капиталистическую рационализацию, за «возврат к нормальной хозяйственной жизни» («новая программа» реформистской Всеобщей Конфедерации Труда). На социалистическом съезде в конце 1927 г. Ренодель по поводу правительства Пуанкаре заявлял: «Социалистическая парламентская фракция часто с внутренним сопротивлением голосовала против правительства, но всегда с сознанием, что она ему никакого вреда не причиняет».

Удивительно ли после этого, что Пуанкаре, открывший беспощадный поход против коммунистов и революционного профессионального дви-

жения, оказался великодушным по отношению к провалившимся героям «эры пацифизма» и «левого блока». В Бордо и Каркасоне Пуанкаре публично назвал французских социалистов «лояльной оппозицией» французской буржуазии.

Опустошения войны и инфляция, достигшие крайнего предела при левом блоке, разорили мелкую буржуазии, уменьшили ее политическую роль. Выборы происходили в условиях политической и экономической гегемонии крупного французского капитала. Что же показали эти выборы в расстановке сил внутри пролетариата? Прежде всего нужно иметь в виду, что со времени 1924 г. была изменена сама система голосования: уничтожены пропорциональные выборы. Поэтому никоим образом не может являться показательным количество мест, полученных в парламенте, а лишь количество полученных голосов. Социалисты получили в первом туре, 22 апреля, 1.600.000 голосов. Эту цифру чрезвычайно трудно сопоставить с данными 1924 г., так как тогда часть социалистов была избрана по общему списку левого блока, в который входили и кандидаты радикалов. Во всяком случае, социалисты с торжеством заявили, что это количество голосов равняется почти количеству голосов социалистической партии во время раскола в 1919 г. Коммунисты в первом туре не получили ни в одном округе абсолютного большинства, но зато за них было подано 1.070.000 голосов против 870.000 в 1924 г. При этом следует иметь в виду, что в распоряжении социалистов был государственный аппарат и, в особенности, широко использованный ими аппарат многочисленных муниципалитетов (социалисты имеют в своих руках свыше 500 муниципалитетов,—в том числе большинство крупнейших), захваченных ими в эпоху левого блока. Тем разительнее успех коммунистов. Этот успех прогрессирует от городских центров к предместьям. Самыми знаменательными являются те победы, которые компартия одержала в промышленных районах, бывших старинными центрами реформизма. Так, в департаменте Севера, где влияние коммунистов до сих пор было ничтожно, а реформистская Всеобщая Конфедерация Труда и социалистическая партия получили в наследство гедистские организации, коммунисты выиграли 20 тысяч голосов, а социалисты потеряли 12.500. В бассейне Луары коммунисты получили 20.878 голосов, что означает увеличение на 16.632 голоса по сравнению с прошлыми выборами. В Крейзо, где помещаются заводы Шнейдера и где в списке социалистов стоял секретарь социалистической партии Поль Фор, коммунисты получили на 9.385 голосов больше, чем в 1924 г. Рационализация металлической и горной промышленности сделала свое дело; рабочие поняли смысл капиталистического наступления. Коммунисты выиграли в общем в 70 департаментах из 86.

Традиционный парламентский кретинизм французского рабочего движения мог явиться величайшей помехой в идеологической выдержанности на выборах коммунистической партии Франции. Последний, IX, пленум ИККИ принял твердое решение о позиции компартии на ближайших выборах в Англии и во Франции. Эта позиция должна быть согласована с общей линией Коммунистического Интернационала на обострение борьбы с социал-демократией. Лозунгом французской компартии в этой избирательной кампания стал и должен был стать лозунг «Класс против класса». Никакие блоки с мелкобуржуазными партиями, в том числе и социал-демократической, не должны быть применяемы—в интересах подчеркивания приоритета момента классовой борьбы в избирательной кампании над моментом парламентских махинаций.

Таким образом, когда выяснились результаты выборов в первом туре, все внимание было сконцентрировано на коммунистах. Крайне любопытно было наблюдать панику в рядах социалистов и их мелкобуржуазных союз-

ников в связи с предстоящими выборами во втором туре. Те, кто вчера клеймил коммунистическую «кучку», пытались заискривать, намекая на возможность «обратного приёма в республиканскую семью». Но когда коммунистическая партия опубликовала 24 апреля свое обращение, предписывающее тактику «класс против класса» и настаивающее на поддержке коммунистических депутатов даже там, где они в меньшинстве, — поднялась бешеная кампания клеветы против компартии. Главным оружием социалистов было обвинение компартии в поддержке Пуанкаре, в котором, якобы, заинтересована Москва. Было изобретено своего рода письмо Зиновьева — фантастическое путешествие коммуниста Рено Жана в Германию для свидания с Литвиновым со специальной целью «опротестовать» постановление «Москвы» о сохранении коммунистических кандидатур во втором туре. Несмотря на это, французская компартия все же получила 14 мандатов в новом парламенте. В числе избранных имеется Жак Дюкло (против Блюма), осужденный на 20 лет тюрьмы. В прошлом парламенте она имела 27 мандатов. При сохранении пропорциональных выборов количество коммунистических депутатов было бы в несколько раз больше.

Наиболее показательную картину, хотя несколько иную формально, дали выборы в Германии. Здесь крупнейшим фактором со времени последней войны, фактором, определяющим экономическую и политическую жизнь страны, является возрождение германского империализма. Это выразилось прежде всего в чудовищной концентрации капитала и образовании новой руководящей группы внутри буржуазии. Под господством германских концернов сконцентрированы сейчас $\frac{2}{3}$ номинального капитала акционерных обществ. Согласно меморандуму Имперского статистического управления о «концернах в конце 1924 г.» (статистика касается акционерных обществ), в химической промышленности 78% номинального капитала находится в руках концернов, калийной — 97,6%, каменноугольной — 90,1%, машиностроительной — свыше 41%, в банках концентрация достигает 70,2%. Все это показатели экономической мощи возрождающегося германского империализма.

На внешнеполитической арене крупная германская буржуазия стремится к использованию многочисленных противоречий, накопившихся в капиталистическом мире, — противоречий между капиталистическими государствами Европы, противоречий между капиталистической Европой и Америкой, между большими и малыми капиталистическими государствами, наконец, между капиталистическим миром и СССР.

Но, с другой стороны, возрождающийся германский империализм имеет и свою Ахиллесову пятю. Слабость современного германского капитализма заключается, прежде всего, в том, что он питается чужими, главным образом, американскими капиталами. Германский капитализм после Версальского мира лишен также колоний. Солнце колониального рабского труда не освещает наполненные валютные кладовые берлинских и гамбургских банков. Более того, германские территории еще находятся под пятой оккупантов, и немцы сами вынуждены еще выплачивать репарации.

Несмотря на мощный рост рационализации германской промышленности, германская буржуазия не в состоянии, таким образом, подкармливать свою рабочую верхушку. В результате, на ряду с огромным прогрессом концентрации капитала и рационализации, в Германии более, чем в какой бы то ни было другой стране, бросается в глаза одновременный с этим процесс понижения жизненного уровня пролетариата. С января 1926 г. по февраль 1928 г., т.-е. за весь период рационализации, недельная заработная плата квалифицированных рабочих увеличилась на 8,6%, а неквалифицированных на 10%. В то же самое время индекс квартирной платы поднялся на 39%, а оптовый индекс растительных пищевых продуктов (хлеб, картофель,

овощи и т. д.) — на 30%. Это — при одновременном чрезвычайном усилении интенсивности труда.

Все это не может не вызывать резкого протеста и сопротивления со стороны рабочего класса. В 1927 г. в одной только металлической промышленности в Германии было свыше 500 экономических конфликтов.

Полевение рабочего класса и перестановка сил внутри пролетариата нашли свое законченное выражение на выборах в рейхстаг.

На ряду с этим, возрождение германского империализма, являющееся основной причиной усугубления классовых противоречий, потрясло и германские буржуазные партии. Особенно это видно на примере партии центра. Обострение классовых противоречий вызвало резкое социальное расщепление внутри этой партии, состоявшей до сих пор из трех социальных прослоек: представителей крупного концентрированного капитала (группа Клекнера), мелкой буржуазии (Вирт) и рабочих. Католические рабочие составляли до сих пор не менее 50 проц. избирательной массы этой партии. Обе буржуазные группы еще дифференцировались до избирательной кампании, а массовый отход рабочих от центра обнаружился во время самих парламентских выборов.

Это состояние распыления буржуазных партий предопределило еще до выборов грядущий разгром политических партий буржуазии. В противоположность Франции и Польше, где успех правительственного реакционного большинства обуславливался фактом проведения крупной буржуазией во Франции и фашизмом в Польше частичной стабилизации капитализма, противоречия германской стабилизации и возрождающегося империализма привели к парламентскому поражению реакционного правительственного большинства. Все без исключения буржуазные партии потерпели поражение. Но наиболее крупное поражение, приближающееся к разгрому, — в некоторых местах потеря до 50% избирателей, — потерпела руководящая реакционная партия аграриев и крупной буржуазии, партия националистов. Общая потеря голосов этой партии — 1,48 миллиона, т.-е. 22% голосов, полученных ею на последних выборах в 1924 г. Центр и баварская народная партия потеряли около 10%, германская народная партия — 11%, демократы — 22%.

Эти результаты уже сами по себе говорят о несомненном полевении широких трудящихся масс Германии. Это полевение видно также из факта огромных избирательных успехов, одержанных коммунистами и социал-демократами. Количество социал-демократических голосов увеличилось с 7,79 миллиона в 1924 г. до 9,14 миллиона в 1928 г., т.-е. на 16%, а число коммунистических голосов выросло на целых 20% — с 2,7 миллиона до 3,25 миллиона. В новом рейхстаге соц.-демократы и коммунисты вместе будут располагать 42,1% всех мандатов, что составляет почти рекордную цифру Национального Собрания 1919 года (43,9%). Соотношение голосов социалистическо-коммунистических и буржуазных составляет сейчас 40 : 60 против 30 : 70 в декабре 1924 г.

Таким образом, факт огромного полевения трудящихся масс Германии налицо. Это тем более знаменательно, что полевение происходит параллельно с мощными успехами капиталистической концентрации и рационализации. Но было бы ошибочно считать, что соотношение классовых сил изменилось целиком в пользу пролетариата настолько же, как соотношение избирательных голосов коммунистов плюс социал-демократов к голосам буржуазных политических партий. Это видно хотя бы уже из того факта, что буржуазия была весьма мало обеспокоена избирательными победами соц.-демократии. Демократическая газета банковского капитала «Börsen-Kourier» встретила победу социал-демократии широковещательным плакатом: «Биржа остается спокойной!». Социал-демократическая партия Германии есть не только левая партия буржуазии, партия капиталистической стабилизации, но и наиболее

надежная опора капиталистической рационализации в Германии. Соц.-демократическая партия захватила значительные массы мелкой буржуазии—не менее 2 миллионов,—недовольных политикой трестифицированного капитала, а также верхушечные слои рабочего класса, которым стабилизация дала некоторое обеспечение прочности их привилегированного положения. Во времена инфляции особенно пострадала рабочая аристократия. Рационализация в последние два года, наоборот, чрезвычайно углубила различие в положении отдельных социальных слоев внутри пролетариата. Значение социал-демократической партии для германской буржуазии сейчас выросло больше, чем когда бы то ни было. В вопросе о едином государстве, прикрываясь демократическими лозунгами 48-го года, соц.-демократия лучше служит общим интересам германской буржуазии, чем разрозненные и распыленные буржуазные партии.

Сказанное выше ярче всего видно на анализе избирательной массы компартии и соц.-демократии. Важнейшим фактом избирательной кампании является безраздельное господство коммунистов в Берлине. Берлин стал подлинной «красной столицей» германского пролетариата. В 1924 г. число коммунистических голосов в Берлине составляло 50 % числа голосов социал-демократов; на майских выборах 1928 г. эта цифра достигла 75 %. В таких промышленных округах, как Лейпциг, Гессен-Нассау, Магдебург, Бреславль, коммунисты выиграли от 33 до 50 % прежних голосов. Компартия начинает отвоевывать у социал-демократов их старые традиционные крепости. В Магдебурге соц.-демократы выиграли 11 %, коммунисты—80 %, в Бреславле соц. дем.—23 %, коммунисты—150 %, в Дрездене соц.-дем.—10 %, коммунисты—80 %, в Лейпциге соц.-дем.—7,8 %, коммунисты—33,6 %. Мы видим здесь в классической форме ту же самую картину, которую мы наблюдали во Франции и Польше. Промышленный пролетариат, наученный горьким опытом капиталистической рационализации, убедившийся на практике в ценности социал-демократической «оппозиции», покидает ряды социал-демократии. Приток рабочих-голосов в социал-демократическую партию произошел за счет рабочих голосов чисто буржуазных партий, в первую очередь — партии центра. Соц.-демократия является мостом к переходу огромной армии германского промышленного пролетариата в ряды компартии.

Что это именно так, свидетельствует такой соц.-дем. авторитет, как бельгийский королевский министр в отставке, социалист Эмиль Вандервельде. «Избиратели германской компартии,—пишет центральный орган бельгийских соц.-дем. «Народ»,—в большинстве своем безработные и весьма плохо оплачиваемые рабочие». В другом месте Вандервельде заявляет: «Как социалист и бывший министр, я от имени Бельгии присоединяюсь к тому чувству удовлетворения, которое вызвали в Зап. Европе результаты выборов в Германии,—но с одной предпосылкой: если суждено осуществиться германско-французскому сближению, Бельгия не должна от этого пострадать. Военные долги Германии по отношению к Бельгии, в моих глазах, являются святым делом».

Таковы итоги избирательного года в капиталистической Европе. Не классовый мир и новую «пацифистскую эру», а, наоборот, обострение классовых противоречий сулит грядущий день европейскому капитализму. Победы европейской соц.-демократии не облегчат, а еще быстрее развяжут классовые конфликты. Ибо основной урок выборов — политическая поляризация в Европе, где на одной стороне — строители капиталистической стабилизации, в рядах которых не последнее место занимает соц.-демократия, а на другой — борцы пролетарской революции во главе с компартией. Уже на другой день после выборов «Дейли Геральд», анализируя выборы, писал: «Необходимость концентрации республиканских сил—достояние прошлого. Теперь на первый план выступают экономические и классовые противоречия».

А еще через две недели профсоюзный орган теоретического «вождя германской реформистской профсоюзной мысли», Карла Цвинга, пессимистически заявил: «Надежда многих профессионалистов, что рабочим партиям удастся после парламентской работы значительно улучшить социальное положение пролетариата, не будут осуществлены».

Таким образом, реформисты уже заранее сознаются в своем бессилии и банкротстве. Соц.-демократия покорно впрягается в ярмо буржуазно-реакционной коалиции. Лучше быть живым псом, чем мертвым львом. Но партии мирового коммунизма, для которых избирательная кампания явилась одним из моментов в борьбе за руководство классовой борьбой пролетариата, пойдут неуклонно вперед. Делу Карла и Розы, хотя и медленнее, может быть, чем это казалось в огненные дни спартаковского восстания, победа обеспечена.

Советская земля

ДНЕПРОВСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Сергей Буданцев

Степь и пороги

Автобус Днепропетровск — Кичкас—Запорожье уходит из Днепропетровска в девять часов утра. Он вырывается из тесных улиц и булыжных мостовых города на шлях скифских степей, волнообразных и бесконечных, клубит пыль, пугает лошадей, укачивает пассажиров три слишком часа—восемьдесят километров.

От степи, ковыльного океана, осталось одно название. Теперь это — поля, дробленые деревенские клочки, запахано, засеяно все, даже курганы, — бесчисленные и таинственные могилы истории. Нам, северянам, пейзаж этот утомителен. Ни деревца, ни кустика, за восемьдесят километров вы проезжаете всего одну реку, приток Днепра, Самару, и то под самым городом, — в жаркий день бледные миражи показывают вам то справа, то слева сизую спину Днепра.

Я, конечно, был на порогах, был на Ненасытце. Это почти верста гремющей по камням желтопенной воды. Вода несется со скоростью двух саженей в секунду. Знакомый инженер тут же на клочке бумажки подсчитал, что вода на этом препятствии бесполезно расходует около полтораста лошадиных сил на шум, слышный за несколько верст, на пену и на несколько жалких мельничных колес в канале,—расходует их века, тысячелетия.

Мои спутники, сентиментальные интеллигенты, требовали, чтобы я восхищался мощным капризом природы. А я чувствовал досаду. Эти торчащие из опасной воды камни обворовывали моих жалких предков, обворовывали целые народы, лишая проходимость важнейшую судходную артерию у самого выхода к морю. Бесплодный шум не восхищает,—можно с трудом мириться с грандиозным гулом завода, хоть он изрядно раздражает и мешает работать, но пока он неизбежен в условиях нашей техники.

— Грандиозно!—говорите вы, указывая на Ненасытец, прислушиваясь.

А вы слышали, как гудит пропеллер, каким адским шипением, жаром и пламенем дышит Бессемеровская колба на металлургическом заводе? Нет, нет, не бог весть какой урбанист человек, проживший полжизни в Москве. Но ведь и ему ведомы ощущения и зрелища более острые и величественные, чем это клочкотанье воды, которое нужно как можно скорее уничтожить, используя.

В селе Никольском, что у самого Ненасытца, мы остановились у гостеприимной тетки Одарки Никоновны. Вся передняя стена хаты увешана иконами, украшена рушниками, в орнамент которых введен схематизированный двуглавый орел. И там же, перед иконами, как украшение,—да, да, как украшение,—повешены на суровых нитках две лампочки между лампадами, две мертвые электрические лампочки: одна—обыкновенная, экономическая, на тридцать две свечи, другая—полуваттная, на семьдесят пять ватт. Сейчас они смешат нас

но через четыре года они нальются светом, прекрасным светом электричества, дешевым и бесценным током Днепрогаса, видоизмененной днепровской силой.

Тетка Одарка Никоновна, подавая на стол чайник и вареные яйца, спросила несмело: вместе ли с мужчинами будут есть и сидеть за столом женщины, или отдельно?

Помните: «... старый Бульба мало-помалу горячился, горячился, наконец рассердился совсем, встал из-за стола и, присанившись, топнул ногою... начал колотить и швырять горшки и фляжки. Бедная старушка, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела...» Бедной старушке вообще разрешалось только плакать незаметно и рабски ухаживать за мужчинами. Одарка Никоновна, вероятно, неприятно удивилась, когда наши спутницы, не сразу поняв вопрос, рассмеялись. А ведь среди них была женщина-врач, которая делала нашей хозяйке серьезную операцию, поставила на ноги и в клинике ничем не отличалась от мужчин.

Свет, даже искусственный свет экономического или полуваттного пузыря-ка,—мощный дезинфектор. Он уничтожит в этой хате бесчисленных блох, здесь забудут о земляных полах, иконы плохого ремесленного письма сползут со стен, из голов он вытравит предрассудки.

Не все верят в Днепрострой. Дряхлый дед сидел у мельницы и любовался высокой водой, бившейся по порогу, на котором он вырос и состарился.

— Не выйдет ничего из вашей плотины, — шамкал старик. — Нельзя Днепр перегородить. Он найдет другое русло, по той вон низине потечет.

Старик не работал с нивелиром, не знает, как обманчив глаз, не понимает, что низина та все же выше самой высокой точки подема реки. Но ему жаль порога.

Днепрострой должен переселить четырнадцать сел полностью, двадцать — частично. Гражданам выдаются деньги по действительной стоимости строений и земли, которые будут затоплены. А вот в одном селе нашелся девяностолетний старик, отказывается переселяться, отказывается от денег, поминает своих запорожских предков и ждет подема воды... Он неразумен. Гораздо умнее были помещики Екатеринославской губернии, которые, прослышав о проектах плужования Днепра и устройства каких-то гидростанций, оценили свои прибрежные усадьбы, земли, сады и парки приблизительно в пятьдесят миллионов рублей! А на все переселение крестьян теперь ассигновано семь миллионов. Революция вырубил парки, выгнала помещиков, строит Днепровскую станцию, сильнейшую в Европе. И стоит она будет немногим дороже, чем одни только земли дворян, по их оценкам.

В Кичкасе

Немецкая колония Кичкас, в недавнем прошлом большое и многолюдное поселение, непоминающее каменными прочными строениями, мощеными улицами небольшой городок. Автобус оставляет приезжего на перекрестке на волю ветра, пыли и любознательности, гудя, отбывает дальше в Запорожье, б. Александровск. До управления главного инженера довольно далеко, а главное, высоко. И тут впервые возникает мысль, что ведь все это будет затоплено, эти улицы, панели, мельницы, лабазы, дома, палисады, огромные зеленые скалы, выглядывающие кое-где.

Пять дней в неделю в степи дуют ветры. То они идут тучей серой пыли, то поднимают пыльные свечи смерчей, то усиливаются до урагана. Но ни в Днепропетровске, ни в ближайших к нему селах мне не приходилось видеть ветров такой силы и такого постоянства, как в Кичкасе, бывшей немецкой колонии и будущей конюшне шестисот пятидесяти тысяч невидимых и неутомимых лошадей, которыми будут править всего только семьдесят человек.

Автобус выбросил меня на пыльном и ветреном перекрестке. За мной вышел невысокий плотный человек в инженерской фуражке. Я спросил его,

не с Днепростроя ли он. Нет, он — делегат гидрологического съезда, происшедшего в Ленинграде, теперь приехал познакомиться с работами на Днепрострое, по специальности.

Мы должны ждать новый автобус, уже из Запорожья, который ходит до управления главного инженера Днепростроя. Я спрашиваю:

— Вы откуда?

— Из Благовещенска-на-Амуре,—слыхали про такой город? Я проехал двенадцать тысяч верст, видел с экскурсией нашего съезда Волховскую гидростанцию... Как же не вывидать Днепрострой, столько читал, слышал? Так я использую отпуск, связанный с командировкой на съезд.

— И вы единственный из участников большого съезда поехали сюда?

Мой новый знакомый посмеивается. Мы решаем соединить наши судьбы и осматривать строительство вместе.

Новый автобус за гривенник подымает по новенькой мостовой к управлению. И уже в течение этого короткого пути погружаешься в неповторимый пейзаж большого строительства. Встречаются несколько озабоченных рабочих, они спешат, торопятся куда-то. Гусеничные тракторы тащат по несколько платформ с бревнами, рядом с ними обычные подводы кажутся жалкими. Мелькнула мотоциклетка, нас обогнал автомобиль с инженерами. Крыши новеньких домиков поблескивают на возвышенности, слева в низине видны какие-то леса. Над песчаными буграми клубится пыль. Реки почти не видать из-за пыли.

Здание управления, того условно простого стиля, который начинает господствовать в современных постройках, возвышается над холмами своими четырьмя этажами, как первый камень города в этих сельских местах. Перед ним тянутся выстроенные в струнку древесные насаждения. Сейчас они чахлы и тощи, и могут показаться роскошью, но они необходимы, как единственное ограждение от ветра. Здание одиноко, выделяется. Может быть, поэтому постройка его, его фундаментальность вызвали в свое время возражения со стороны некоторых ответственных работников, посещавших Днепрострой. Они считали пятьсот двадцать тысяч, затраченных на здание управления, буквально брошенными на ветер. Так думали в прошлом году. Но уже теперь ясно, что тот, кто строит даже подсобные учреждения в таком месте прочно, поступает мудро. Все оно, как энергия будущей электростанции, расписано: один этаж берет ВСНХ под будущий трест заводов, которые вырастут около, другой—управление водного транспорта,—здесь же будет оживленное судоходство,—наконец, самой конторе станции надо тоже где-нибудь помещаться.

Именно в споре об этом здании проступает все различие подходов к грандиозному строительству на Днестре. Наиболее крупным типом строительства вне города в старое время было железнодорожное. Там все делается на живую нитку, люди живут в палатках и землянках, по традиции некоторым кажутся выгодными эти способы и на Днепрострое. В колеях ужасных дорог должны застревать повозки, лошади дрожать всем телом, показывая напряжение непосильного и мало полезного труда. Кокоревская романтика! «А по бокам-то все косточки русские...» Строить, так мировую гидростанцию не только не гуманно, но и просто невыгодно. На строительстве есть водопровод, частично канализация, нет жилкризиса,—да, нет жилкризиса на Днепрострое!—есть фабрика-кухня, театры. Эти удобства кажутся некоторым излишней роскошью, а они необходимы, они повышают производительность труда, создают условия, при которых замедляется текучесть рабочего состава. Квалифицированных рабочих мало, за них держится и Днепрострой. Кроме того, и для будущего, для тех фабрик и заводов, которые возникнут около Днепрогэса, останется значительный жилищный фонд.

Мне довелось видеть, как англичане оккупировали Персию в 1918 году. Впереди шел их наемник Вичерахов и занимал своим партизанским казачьим отрядом города, только-что покинутые экспедиционным корпусом Баратова.

Английские войска подвигались в глубь страны, от Месопотамии на север, к Энзели. Они подвигались медленно. Города переходили к англичанам не раньше, чем их инженеры устраивали превосходные под'ездные пути для автомобилей, аэродромы, ставили радиостанции, перестраивали караван-сарай под гаражи. В один прекрасный день появлялось несколько сот фордовских автомобилей-полугрузовичков по два солдата и шоферу на каждом, несколько бронемашин, два десятка мотоциклеток, самолеты,—и город был прочно в руках новых завоевателей. Там, где стояла русская бригада, было достаточно английского батальона. Эту основательность, умение подготовить большое предприятие всеми подсобными сооружениями сразу чувствуешь и на Днепрострое, да и как иначе взять эту трудно обуздываемую реку.

В управлении главного инженера вы попадаете в обстановку богатого московского треста, недавно занявшего новый собственный дом. За широкими светлыми окнами бушует песчаная буря, слышны глухие взрывы, гудят гусеничные тракторы, люди в автомобильных очках борются с ветром и песком, а здесь стрекочут машинки, звенят телефоны, лица женщин наудрены, мужчины одеты тщательно, некоторые даже в твердых воротничках.

Посетителя принимают суховато-вежливо и предупредительно.

Мы попали в день, когда на работы посторонних не допускают. Нам надо употребить оставшиеся служебные часы на получение пропуска из милиции и прочие формальности, устроиться с жильем,—в доме приезжих мест нет. Завтра мы сможем присоединиться к экскурсии. Мой спутник напоминает о том, что он проехал двенадцать тысяч верст, что ему дорог каждый час, что он специалист и не ко всякой экскурсии его можно пристегнуть.

— То, что вас интересует особенно, можно посмотреть отдельно,—говорит секретарь главного инженера.—Вы правы, у нас случаются неожиданные экскурсии, например, школьников от десяти до четырнадцати лет. Ходить с ними мучение. Они плохо слушаются руководителей, не понимают опасностей, а самое главное, мало разбираются в том, что видят и что им объясняют. Едва ли игра стоит свеч.

Видно, посетитель и экскурсант изрядно допекают работников. Журналистов там называют желанными гостями, понимают ценность внимания прессы. Гордо посматривают на кино-съемочный аппарат (от ВУФКУ), готовый увековечить все значительное в жизни и работе Днепростроя.

Рабочком

После милиции, где мы доставали пропуска на следующий день (процедура напоминает получение справки о несудимости), зашли в рабочком. О, эти проплеванные полы, грязные стены, пустынные и пыльные комнаты. От месткомз писателей в Москве до рабочего комитета Днепростроя не довелось мне видеть в порядке и чистоте эту первичную ячейку профсоюза. Сор, пыль, табачный дым, шумный и бестолковый разговор с посетителем и между собой считаются, видимо, признаками нивесть какого демократизма и приближения к массам. Хотя массы не любят в деле ни шуму, ни бестолковщины и разницу между чистыми, светлыми, богатыми комнатами контор предприятий, которые их нанимают, и запущенностью помещения профсоюзного органа понимают отлично. Если руководители комитета не могут содержать в порядке свое помещение, то, естественно, возникает вопрос: а как вы с работой справляетесь, дорогие товарищи?

Вероятно, обычная отговорка—нет средств—всегда всплывает при таких упреках. Ну, хорошо, нет денег на новую мебель, на обстановку кабинетов, но ведь на метлу-то найдется? На то, чтобы подклеить и поддержать в порядке: обои найдется? Попросить посетителя не плевать на пол и самому не совать окурки в бумаги, можно?

Но все же за деревьями виден лес.

И когда один из товарищей, членов рабочкома, разворачивает картину работы, то, даже отбрасывая обычные преувеличения и прикрасы, видишь, как много сделано для улучшения рабочего быта на строительстве.

— В прошлом году из-за того, что запоздали машины, работало четырнадцать тысяч человек, была теснота, ютились в землянках. В этом году не предполагается больше восьми тысяч, и жилищный вопрос вполне урегулирован как для служащих, так и для рабочих. В этот сезон набираются две с половиной тысячи человек как через биржу труда, так и непосредственно вербовкой. Последняя допущена потому, что нужны квалифицированные работники: плотники, каменщики, мостовщики, землекопы. Последние только очень высокой квалификации. Вновь нанимаемый должен выдержать экзамен по своей специальности, это необходимо. Совсем недавно был случай, когда у рабочих, присланных с биржи, завалился подъемный кран. Хорошо, что это случилось на испытании и не произошло никакого несчастья. Зато все, выдержавшие испытание, приняты и уже останутся до конца работ.

Средний заработок рабочего на Днепрострое — четыре рубля двадцать копеек в день. С этим, хорошо оплачиваемым, постоянным рабочим легче и продуктивнее вести культурно-просветительную работу, чем на обычных стройках с сезонниками.

Лучше всего развернута клубная работа. Если работой центрального клуба нельзя похвастаться, то двенадцать красных уголков при поселках и на месте работ восполняют этот пробел. В особенности интересны укрупненные красные уголки, больше похожие на небольшие клубы; их четыре, работают оживленно. Есть два театра, зимний — на 900 мест — приспособили из кичкасского строения, летний — на 1.500 зрителей. — построили сами. Постоянной труппы нет. Зимой была.

— Репертуар?

Репертуар обычный, провинциальный.

Ох, уж этот обычный репертуар...

Есть школа-семилетка, вечерняя школа для взрослых, повышенного типа, на сто двадцать человек, семь школ ликвидации неграмотности, пять школ для малограмотных, школа повышения квалификации, электротехнические курсы, курсы подрывников, кочегаров. И все это едва удовлетворяет спрос. В особенности все технические курсы переполнены. Читают много. Книжным коллектором на двадцать тысяч томов (названий, конечно, много меньше) выдаются книги в семнадцати местах: по поселкам, в красных уголках. Кино-передвижка ВУФКУ обслуживает укрупненные красные уголки. Устраиваются читательские конференции, лекции на культурные и технические темы, доклады...

Спортивный сезон в прошлом году прозевали. Для текущего — будет пять вполне оборудованных спортивных площадок.

Культурная работа ведется на русском языке, рабочих-северян здесь 51%, украинцев — 40%. В земельно-скальном отделе, где они преобладают, работа украинизирована.

— А как живет интеллигенция?

— Инженеры? Если сознаться, — все же уединенно и кастово. Тут, конечно, играет роль и большая загруженность работой. Каждый из них чувствует, что строительство мировое, стремится выдвинуться. Кроме того, на строительстве создается такое ядро, которое, не распадаясь, переезжает на новое место. Веденев привез инженеров с Волхова, Винтер с Шатуры. А с Днепростроя будут брать на любое строительство целыми группами... Жены инженеров, так, в порядке культурного патронирования иногда участвуют в любительских спектаклях, в концертах. Сами инженеры читают лекции, доклады, выполняют общественную нагрузку. Но души нет...

Преферансик

Обедал я у знакомого инженера. Он занимает большую комнату в бытовом доме, перегороженную занавесками на столовую и спальню. Он с женой, самозабвенной хозяйкой, живет прочным бытом. За окнами расстилается пыльная уездная улица, из кухни слышен звон посуды и дышат кушанья пахучим паром. В шесть часов стихает несколько песчаная буря, давно кончились все работы, но мой хозяин, извинившись, что обед запаздывает, сидит в одном жилете за какими-то бумагами и синими копиями планов.

— Вот чортова работа,—говорит он, поворачивая ясное лицо обжоры, такое жирное, что на него плохо садится даже загар, — с какого конца ни берись, все равно не кончишь! Дела, батенька, затеяли в мировом масштабе. Потеешь, а бросить нет сил,—в роде пьяного запоя. Есть тут у нас один инженер. В связи с ликвидацией отдела его сократили. Так он, знает, остался на строительстве чернорабочим!.. «Я,—говорит,—проработаю несколько месяцев сначала рабочим, потом десятником, потом, глядишь, техником, а там и опять инженером». Знающий парень. О нем сам «хозяин» доклад делал..

«Хозяином» или Александром Васильевичем здесь называют главного инженера Винтера.

Оживленную тираду моего собеседника прервала жена, внесшая дымящуюся миску с зеленым борщом,—кушаньем, без которого не только коренные украинцы, но и осевшие хотя бы только месяц на Украине великороссы не садятся за обед.

Хозяин сказал: «Прошу!» И первый направился к столу.

Обедали плотно, медлительно. В обеде преобладали жирные сметанные и масляные блюда. Аппетитно плавал в густом томатом соусе днепровский судачок утреннего улова.

— Хотя ловля в это время года и запрещена, но знакомый рыбак изредка доставляет мне свежую рыбку,—жена у него бабу от малярии вылечила. Контрабанда, так сказать!..

К традиционному взвару, наваренному на вишневой настойке, подошли несколько человек гостей: кочевой инженер, с Волховстроя перебравшийся на Загас, с Загаса на Днепр, суховатый, подтянутый бюрократ, с уст которого не сходят педантичные и брюзгливые фразы о бумажках, отношениях, анкетах, циркулярах, актрисочка, приехавшая с московской труппой на гастроли в Запорожье и в свободный от спектакля день выбравшаяся в Кичкас (она оказалась школьной подругой жены моего хозяина) не столько посмотреть на грандиозные работы, сколько пофлиртовать на месте с изголодавшимися в этой глуши по женщинам инженерами. Ей, видимо, понравились эти рослые здоровяки, привыкшие к свежему воздуху, опасностям, борьбе со стихиями,—люди с настоящими страстями и настоящей горячей кровью.

Позднее всех пришел молчаливый, сосредоточенный человек, с отсутствующим рассеянным взглядом, с случайно забредающей на тонкие губы улыбкой, живущей как бы независимо от всего лица, — юношески розового, с раздвоенным ямочкой подбородком, маленькими рыжеватыми усиками, небольшими, очень голубыми и очень серьезными под ободьями круглых очков, глазами, с кудрявым вихром, меланхолично свешивающимся надо лбом. Лицо это являло удивительную смесь мальчишеской недоделанности, несформированности, округлой миловидности — с мужским, зрелым очертанием лба, суровым, вдумчивым светом глаз, с нервными, как у ищейки, ноздрями тонкого носа.

Он как-то сразу поднял деловые разговоры, бросив несколько немногословных фраз о споре между гидротехническим отделом и американской консультацией. Шли какие-то малопонятные разногласия о работах на шлюзовом канале. Хозяин восклицал:

— Это точка зрения НКПС... Провалилась вместе с Могилко...

Дискуссию с инженером Могилко здесь вспоминают сердито. Одной из основ таких больших работ является вера в руководителей. Мне рассказывали о жарких днях, когда проф. Александров в доказательство того, что инж. Могилко неправ, бурил Хортицу и нашел, что этот остров состоит из наносного песка, что при варианте Могилко Днепр размочет остров и погубит всю работу. От этих исторических воспоминаний перешли к обсуждению черт характера высшего технического начальства, но тут уже запротестовали дамы, заскучав.

— Ну, что это все — Ротерт да Веденеев, Веденеев да Винтер!.. Словно женские статьи разбираете!..

Поздний гость просидел недолго, выпил стакан взвару, потом рюмки две предложенной на десерт мадеры, от затеявшегося преферансика отказался, на заигрыванья актрисочки промямлил несколько неловких, невразумительных фраз, краснея ровным слоем великолепного молодого румянца, отвесил общий поклон и исчез так же незаметно, как и пришел.

— Пошел работать, — обязательно пояснил хозяин. — Целые ночи просиживает. Таких у нас здесь много, мы их так и зовем: сычи.

— А Владимир Иванович так, должно быть, и не изволит пожаловать, — заметила шутливо жена кочевого инженера. — Тоже из сычей! Третий раз обещает принять участие в преферансе и все надувает. Совершенно завален делами человек.

Один из гостей философствует:

— Преферанс — инженерская игра. Раньше в преферанс играли в городе, на безделье, да ради связи. С каким-нибудь денежным тузом и о подрядах за игрой сговориться легче. А в командировках, на работах, за нами, мостовиками, построечниками, ездил целый табор всяческих увеселителей. Тут тебе, бывало, и цыгане, и расторанщики, и дамочки всякого сорта (не при женах будь сказано)! Работу кончил, — чем хочешь, душу отводи. Да и работали, по правде говоря, не по-нынешнему, бумаги писали меньше. А здесь развлекаться нечем. Работы много, работа интересная, нервная, приходишь вечером опустошенный, словно выжатый лимон. Треба встряхнуться, а встряхнуться негде.

— Как негде? А Запорожье? Елена Львовна (актрисочка) — живое свидетельство тому, что там пышным цветом процветает искусство. Театр во всяком случае. До Запорожья всего шесть верст...

— Автобус, поддерживающий сообщение с Запорожьем, кончает рейсы в восемь часов. Чтобы сходить в театр, нужно остаться в городе ночевать. А завтра чуть свет скачи на работу! Здесь ведь не игрушки.

— Ида-а, только культпросветом и утешаемся, — с плаксивой миной проворчал хозяин. — Лекции слушаем, а жены неграмотность среди рабочих ликвидируют да над примусом колдуют. С таких развлечений и преферансик райским утешением покажется. Кстати, что ж мы сидим? Народ собирается туго, видно никто больше не придет. Нет хуже — ждать да догонять. Приступим, братие!

Четверо усаелись за ломберный стол; видимо, плотно и надолго. Актрисочка приставила свой стул к стулу молодого архитектора и, делая вид, что интересуется его игрой, болтала глупости, вырывала шутя карты, тихонько придвигала под столом лаковый туфелек к его большому, до глянца начищенному желтому ботинку. Архитектор невозмутимо смотрел себе в карты, обдумывая ходы, но ногу не отодвигал и даже разок, как бы случайно, доставая из кармана носовой платок, слегка коснулся сухими горячими пальцами круглого, струящегося шелком колена соседки. Она зарокотела булькающим голубиным смешком и отошла к хозяйке, возившейся у буфета с посудой и рюмками.

Запорожье

Проклятый ветер. Пыль, песок иссекли глаза, набились в уши, в складки тела, легли черными потоками, следами пота на лице. К вечеру степь тишаает, и вечер, — хоть Бабель описывай, — прекрасен.

Мы остановились в Запорожье, в номерах под громким названием «Большая Московская Гостиница», с кроватями, пропахшими керосином,—борьба с клопами, — и ужасной ванной комнатой.

Спутник мой штудировал «Бюллетени Днепростроя», увесистые томы в цифрах и чертежах. Мне оставалось хвалить его любознательность и дивиться предприимчивости, одолевшей двенадцать тысяч верст.

Перед сном он предложил пройтись. Тьма нежила город. Она была почти опутима, бархатиста. Главная улица в средней части освещалась огнями двух кино, двумя сферами света. С плакатов Судакевич улыбалась сквозь переплет теннисной ракетки, и Кторов сиял белыми брюками. Обыватели шаркали по тротуару. Город был, видно, богат и до войны, и теперь казался оживленным.

Мы зашли в ресторан. Длинный зал, плохо освещенный в глубине электричеством, у входа и у буфета удивил керосиновыми лампами. Какие-то девицы служилого вида сидели за столиком и деловито разговаривали. На эстраде скрипки тянули попури из «Травиаты»:

— Налейте, налейте бокалы полнее,
И выльем, друзья, за любовь!

В зале не пахло ни любовью, ни выпивкой.

Официант подал вопиюще-безграмотную «карту кушаньям и винам», любезно сообщал:

— Конечно, работаем хорошо один день в неделю, в субботу. Тогда приезжают построечники. Ну, конечно, и дамы. И, действительно, столиков не достанете с девяти часов. Деньги вольные.

У зеленой карты

Спутник мой выписал пункты расписания экскурсий, вывешенного в управлении. От девяти до десяти часов утра, мы, встретившись с руководителем, будем «беседовать». Все остальное время до конца служебного дня проведем в осмотре работ.

По улицам Запорожья гудят автобусы. Гадаем, — будет ли ветер?

Автобус выносит нас за предместье, белые хатки мелькают за окнами, шоссе и шляхом три—четыре версты, и вот кичкасский мост, зеленый переплет, переброшенный через узкую теснину. Над нами вверху, по мосту, идет поезд. Дым быстро относит в сторону, — ветер начинается.

Мост этот, как и шоссе, как и железнодорожная насыпь, будет затоплен. Но все железные части, фермы, переносятся на Турксиб.

С моста открывается вид на работы, на поселки по обе стороны реки. Около перемычки, из которой в середине лета выкачают воду, чтобы ставить первый участок плотины, возится землечерпалка. Сколько в помутневшем воздухе охватывает глаз, видны крыши домиков, подсобных сооружений, леса,—это возводятся цементные заводы для нужд строительства. Людей, лошадей незаметно. Здесь властвует машина.

В Кичкасе мы долго, как водится, ищем руковода, бродя по песчаным холмам. Ветер разыгрался. Встречные в консервах.

— Как же мы будем осматривать? — жалобно спрашивает мой спутник.— Да и через реку не переберемся. Смотрите, метет. Света не видно.

Руководы, инженера Александрова, мы нашли на четвертом этаже здания управления, в коридоре, у огромной, метра четыре в длину, зеленой карты, прекрасно выполненной им же. — нижнее течение Днепра. Подробно нанесены логи, заборы (скалы, только частично пересекающие реку), селения. Руководы тесно окружили экскурсанты, учителя и учительницы Запорожского округа.

Мы выслушиваем вступительный очерк, знакомые цифры оживают, вызванные в памяти чертежи и схемы наполняются плотью, у них есть температура, и

сейчас, из мира предположений и воспоминаний, нас выведут в живой лес фактов, в действительность.

Каждый из слушателей, вероятно, готовился к экскурсии. Один из учителей, справившись с блокнотом, задал руководителю вопрос, который приходил многим, кто смотрел карту работ.

— Почему, — спросил экскурсант, — строители не воспользовались тем узким гранитным ущельем, через которое перекинут кичкасский мост? Тут всего восемьдесят пять саженей ширины, очень тихое течение, кроме того не будет затоплена часть Кичкаса.

Эта теснина — знаменитая Крарийская переправа древних, о ней вспоминают византийские летописи, ею пользовались кочевые народы при набегах на север, и до возведения знаменитого Кичкасского моста Екатерининской ж. д. здесь ходил паром.

Наш руководитель улыбнулся и ответил:

— Да, кажущиеся преимущества этого места являются почти непреодолимыми препятствиями. Мы возводим плотину в триста восемьдесят саженей длиною в другом месте, а не здесь, у моста. Чем вы объясните, что вода, сжатая в этом ущелье, не идет с необыкновенной быстротой и шумом? Дело все в том, что Днепр в этом месте вероятно глубок, в среднюю воду — около двадцати саженей глубины. Геолог Кротов высказал остроумную гипотезу, что здесь, у Кичкаса, был когда-то большой, сильный водопад, который за сотни тысяч лет, борясь с гранитом, отступал вверх по реке и оставил след в виде узкой и глубокой расщелины. Вы представляете, как возводится плотина? Мы должны снять весь слой песка и наносов на дне и углубить гранитное основание на семь метров. И без того, на мелком месте, плотина будет огромной высоты, считая от основания — тридцать семь саженей. В этом ущелье высота еще больше увеличилась бы, что невыгодно.

Мы слушаем дальше. Цифры не укладываются в воображении. Плотиной надо удерживать слой воды приблизительно в сто пятьдесят верст длиною. Ведь у Днепропетровска вода подымется на 3,18 метра, покроет Кайдакский порог; Архиерейскую забору, Богомолковский остров, как покрывает в хорошую полую воду.

— Первоочередные работы — плотина, шлюзы, станция, новый железнодорожный мост, переселение крестьян — будут стоить по смете, выработанной совместно с американской консультацией Купера, сто девяносто миллионов рублей. Тридцать первого декабря 1932 года семь турбин станции из тринадцати дадут энергию огромной области, целому ряду городов, новых и старых заводов. Сейчас в Запорожье энергия стоит тридцать пять копеек киловатт-час, т. е. приблизительно два рубля двадцать копеек в месяц за лампочку в двадцать пять свечей. Ток Днепрогэса будет стоить $\frac{1}{3}$ копейки киловатт-час, та же лампочка — шесть копеек в месяц.

Наш руководитель рассказывает о многом: о старой проблеме нижнеднепровского судоходства, которую решает Днепрострой, о железнодорожной сверхмагистрале Демурино-Марганец, о всем сложном комплексе Днепростроя, основного энергетического источника, объединяющего и направляющего в сторону американской индустриализации промышленную и хозяйственную жизнь огромной, богатейшей области. Ведь идея проф. И. Г. Александрова потому и оказалась несравнимо превосходящей десятки ставших архивным достоянием проектов, что во всей широте и сложности соединила днепровскую проблему (судоходство и частично — получение энергии) с проблемой перестройки основных промышленных районов Украины и дальнейшего улучшения сельского хозяйства. К слову сказать, один из агрономов довольно убедительно обосновал проект орошения с помощью днепровской плотины огромных земельных площадей без устройства силовой станции столь большой мощности. Как это ни странно, непосредственный материальный эффект от этой плотины выше, сейчас выгоднее орошать крестьян

янские поля и бесплодные степи, насаждать хлопководство. Но революция возводит Днепрострой. Крестьянская страна должна быть индустриализована.

Пройти по работам нашей экскурсии не удалось. К полудню ветер разыгрался до настоящей бури. По распоряжению главного инженера рабочих по возможности переводили в закрытые помещения. Нам показали фабрику-кухню, которая будет полностью обслуживать всю массу рабочих. Virtuозы-плотники построили ее всю из дерева. Эта кухня—светлые залы, огромные котлы—заслуживает особого описания. Эта кухня заслуживает, пожалуй, и сожаления: может быть, следовало построить ее из железо-бетона, что прочнее и безопаснее в пожарном отношении. Около Днепротгаса есть смысл строить надолго. Но режим экономии...

Здесь каждая деталь строительства—сложная проблема. Станция потому так и дешева,—относительно значительно дешевле знаменитой станции Купера на Тенесси,—что имеется в изобилии гранит. Но, оказывается, нет песка. И вот, ставится и решается задача получения искусственного песка. Нужен цемент,—строятся два завода по обоим берегам реки. В шуме и вое ветра глухо бухают взрывы. Вы думаете, динамит? Нет, здесь взрывают жидким воздухом, который течет по тонким трубам под ногами,—есть специальный завод жидкого воздуха. Жидкий воздух в несколько раз дешевле динамита, вдвое разрушительнее и значительно безопаснее: не взорвавшись, он испаряется. Разрушив скалы, перемолов их на песок, пресекши течение реки огромной плотиной, человек выполняет в этом месте работу большого вулкана.

Американцы

Перед зданием управления главного инженера тянется новенькое шоссе, окаймленное со стороны реки молоденькими деревцами. Место это называется — Набережный проспект. Назвалось в шутку, — привилось. Поднявшись, вода подступит почти к самым деревьям. Около серого здания стоят кирпичные домики типа коттеджей, весь треплет полотнище штор на террасах. Это—жилища американских инженеров консультации Купера. Об этих инженерах, их быте любят болтать в кичкасском захолустье.

Полковник Купер, знаменитый строитель, приехал в Кичкас по приглашению советского правительства, похвалил место, выбранное для постройки, но удивился, зачем, собственно, строить здесь эту станцию. Старика посадили в автомобиль и повозили по кругу радиусом приблизительно в триста верст, — зона влияния будущей станции. Полковник не только согласился с необходимостью закладки Днепростроя, но и изумился богатству края. Поехал в Америку и в Нью-Йорке перед собранием промышленных тузов сделал доклад о русских впечатлениях. Один архимиллионер, которого капиталы сделали шутником и скептиком, подошел после прений к докладчику и сказал: «Мистер Купер, второй раз из СССР вы вернетесь с пионерским галстуком». Все засмеялись, а скептик продолжал: «Какой смысл вам, мистер Купер, укреплять промышленность СССР, помогать большевикам? Разве вас интересуют четыре с половиной процента, которые вы будете получать за консультацию? Станция будет стоить максимум сто миллионов долларов, небольшая сумма вам очистится». Мистер Купер ответил: «Вы правы, я богат. Деньги меня не интересуют, ведь я стар. Но у меня есть дело, у меня есть фирма. Большевики затевают строительство, каких немного в мире, и я хочу, чтобы моя фирма приняла участие в предприятии, которое будет знаменитым».

Богатство делает людей честолюбивыми, высокое собрание посмеялось и согласилось с полковником. Все это мистер Купер рассказывал советским людям в Кичкасе и тоже смеялся. Он принял обязательство помогать строительству. Один месяц в году сам Купер будет проводить на строительстве, все остальное время шесть его инженеров работают в Кичкасе. Они поставили мистеру Куперу жесткие условия: две тысячи долларов жалованья в месяц, ежегодный месяч-

ный отпуск, и непременно каждому автомобиль «Форд». От строительства они по договору имеют квартиры, которые оплачивают. Это—домики в стиле коттеджей. Прославленный московский архитектор, когда зашел разговор об этих домах, предложил свои услуги, он очень хорошо знаком с американскими жилищами. Но американцы отказались, сославшись на консерватизм, представили свои чертежи и попросили ими точно руководствоваться. Вероятно, они опасались, что русский архитектор забудет про камин, традиционный камин в гостиной, в добрую треть комнаты величиной. В долгие вечера хозяин сидит с книгой или просто задумавшись у огня. Американцы не склонны ходить в гости, играть в преферанс, не склонны к прочим легким и бесполезным способам убивать время. Их день наполнен трудом, они следят за всей текущей технической литературой своей страны, их быт и привычки свидетельствуют о тяжелой и основательной выгучке, долгой тренировке, крепкой борьбе за карьеру.

В широких коридорах управления главного инженера тихо и чинно. Даже женщины, у которых тут особенно гордый и победоносный вид, проходят по коридорам спокойно и важно. И кажется, что какую-то эманацию серьезности выделяют двери с дощечками: «Американская консультация, мистер такой-то». Особенно четко разговаривают здесь люди.

Знакомый инженер признался:

— Очень мы довольны присутствием американцев. У нас у самих есть и теоретическое образование, и умение проектировать, и техническая смелость. Но их опыт—неоценимый опыт. Тенесси, Ниагара, Ист-Ривер... Они учились на своих ошибках. Они знают, что не надо, скажем, строить специальных рыбоходов, что рыба идет, как на Тенесси, по шлюзовым каналам. А мы на наших гидростанциях непременно проектируем рыбоходы, строим их, удорожаем... И так во многом, в том, что дается только опытом. Они вселяют уверенность. Да и что говорить, уже их советы удешевили против первоначальных сметных предположений строительство на добрых двадцать миллионов рублей. Одни шлюзы, их уменьшение, которое мы провели вопреки требованиям НКПС, опираясь на авторитет американцев, дало большую экономию... Но и они, люди, не склонные к восторгам, говорят: «Днепрострой—мировое сооружение, и советские инженеры с ним справились бы и без нас». Справились бы, разумеется, но зачем же открывать Америку, когда существуют американцы!

КРАСНОЕ СОРМОВО

Бор. Пильняк

«...Ночь. Май. Заводский дом для приезжающих.

Я стою у окна, за окном железнодорожные шпалы, заборы за шпалами, дома. Совсем недалеко, в двухстах шагах дома залиты разлившейся Волгой, между домов, к домам можно проплывать на лодках, и парходик, который привез нас, проплывает площадью, где летом будут играть в футбол. Заборы моего дома примыкают к заводу, к тем заборам, которые опоясали завод. Заводские заборы упираются в волжские воды—теми пустотами доков, «судоям», где возникают из болванки стали и железа морские, десятитысячетонные корабли.

Ночи и весны, весны дней, когда впервые после зимы запахла береза,—существуют к тому, чтобы проверять себя, человека.

Завод—это то, чем человечество покоряет природу, организует, толкает, переделывает законы природы своею волей: за окнами в этой ночи—колоссальная сложность созданного прекраснейшим в человечестве—знанием

и трудом, — мартэны, вагранки, дизели, сталь, железо, машины. Машине — нельзя не преклоняться. Время существует к тому, чтобы просеивать лучшее и застить пустяки: о машине, о стали, о тех машинах, которые создают новые и новые машины, которые собраны в заводы, перед которыми нет конца в противоборстве природе и в организации ее,—этому нельзя не кланяться, и об этом создано очень много поэм:

— там, за заводской стеной — чужому (и я тоже — чужой!)—:

— Гудки, дым, копоть, огонь,—шум, лязг, визг и скрип железа,—электричество вместо солнца,— машины, кузницы, гидравлические прессы тяжестью в тонны, горячие цеха, металлургия,—и токарные станки, фрезеры, где стружки из стали, как от фуганка,—там, за заводской стеной, в турбинной, человек Поворачивает рычаги, и завод дрожит и живет, по двору меж цехов ползут сотне тонны краны, давит аяксы,—в сталелитейном у мартэнов, в мартэнах зажато расплавленное солнце, на которое нельзя смотреть открытыми глазами и которое льют в бадьи, солнце вместо стали. Эти места имеют все, чтобы не быть той поэзией, которую столетиями считали подлинной. В кузнечном цехе полумрак, и гром, и вой, и визг железа, которое куют,—горны стоят рядами, к ним склонились клещи кранов, чтобы вырывать из глоток горнов, харкающих огнем, огненно-белую сталь, и харкающие огнем горны похожи чужому человеку на чертей, самых подземных, они дышат, задыхаются, палят огнем и харкают.—Время существует к тому, чтобы застить пустяки.

Впрочем, Сормовский завод очень мало дымит.

— Но самое главное, решающе главное — человек, ради которого живут машины, которым живут машины, который живет, чтобы строить...»

Все только-что написанное — выпись из записной книжки, занесенная в записную книжку там, на Сормовском заводе, майской ночью, когда пахло березами — по законам весны. Пароходик от Нижнего простором Волги принес меня на этот завод, некогда выросший из Бенардаки, сложный всячески, упорно работающий, — завод — то, к чему я не могу не относиться без уважения и о чем я не могу писать, ибо — как можно писать о том, чему десятки тысяч людей, рабочих и инженеров, посвятили десятки лет своих жизней, — я же отдал всего три дня. — И я пишу по-поводу, тем правом, которое дано мне моим умением видеть.

Пароходик простором разлившейся Волги, мимо Венеции, именуемой Канавиным, нес нас в Сормово, со мною были американцы, миссис и мистер Гиршбайны. Древние места. Направо леса Мельникова-Печерского, Семеновские, Ветлужские. Древние российские места, раньше Москвы. Здесь Волга сливается с Окою. В 1542 году, при Грозном, бортник Ондрейко Шуменов за деревню Марино с двумя дворами платил в царскую казну оброк медом, два пуда меду. После смерти Ондрейки деревня Марино перешло к его сыновьям — к Терешке и Назарке. Терешка Шуменов был прозван Соромом, от слова срам, платил царю мед, помер и оставил на три столетия после себя название деревни — Соромово, до девятнадцатого века, когда писец описался и создал из Соромова — Сормово. Места эти были соромскими, лесными и малолюдными до 1849 года, когда приехал сюда из Сибири делец и золотоискатель грек Бенардаки и приступил к постройке «Нижегородской машинной фабрики Камско-Волжского буксирного и заводского пароходства», созданной по принципам уральского заводского, петровского строительства (тут перебить себя: прошло семьдесят с лишним лет, — Бенардаки был прав, — будущее у завода в пароходостроении, хоть и много было у завода перепутий). Первый пароход выпущен был Сормовым в 1850 году, — паровой кабостан «Астрахань». В 1870 году построена была на Сормове — мартеновская печь, первая в России и четвертая на Земном Шаре. В 1898 году выпущен был первый паровоз, — и двух-с-половиною-тысячный паровоз праздновался уже теперь, в годы революции. Работали на заводе нижегородские кустари, железняки и древоделы, Сормовский писатель Абез сообщает, что была в те

времена у сормовского рабочего «неизменная гармоника, разухабисто пиликавшая «сормовскую». Абез же пишет, что «удаль молодецкая, в кавычках, сормовичей во всей округе наводила страх, не было прохода ни конному, ни пешему», — все понятно. Историю развития рабочего движения в России повторять не стоит, — дирекция жила в «Царском селе», как называется на Сормове инженерский поселок. В субботу 24 июня 1899 года впервые на своем веку сормовские рабочие разгромили камнями контору, квартиру директора, электростанцию, потребилровку и большими десятками переселились с завода в нижегородскую тюрьму. В пятом году Сормово городилось баррикадами. Все понятно. Ныне на заводе работает 18.498 человек. Ныне Сормово—город. На 1927/28 операционный год операционная программа завода намечена в сумме тридцать семь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч рублей, что к довоенному времени составляет 107,8%.

И Сормово—очень редкостный для землепашной России город,—в этом городе живут только рабочие и служащие завода, только, больше никого, ни лавочника, ни разночинца,—даже поп связан с заводом, и три церкви, на четыре бывших, закрыты рабочими. И вот этот город, на площади которого веснами приходят пароходы: прямые улицы, трубы и беспорядок завода, однотипные домики в два этажа, с занавесками и геранями на окнах, и каменные дома театра, новых кооперативных квартир, рельсы, заводские заборы, пересвисты паровозов, тополь, пыль, кооператив, пивная. Это небогато,—но на что это похоже отдаленно, не сразу, своей однотипностью?—какой стандарт прошел здесь?—и я вспоминаю английские рабочие поселки, они так же однотипны, пусть они богаче,—они старше, но путь их один. И я еще раз отмечаю в памяти, что в этом городе живут только те, кто работает на заводе,—город завода и рабочих. От сельца Соромова тут ничего не осталось,—и это совершенно не срамно,—то, что здесь живут люди, зарабатывающие в подавляющей своей массе одно и то же количество рублей, примерно три рубля двадцать семь копеек в сутки. Волжский разлив несет на переулки города свои запахи, смешанные с запахом нефти,—летом здесь будет пыльно.

З а в о д

Мы идем по заводу. Завод очень стар и тесен, в копоти, как средневековье. Мы идем от цеха к цеху,—и совершенно понятно, что завод напряг все свои хребты. Все завалено матерьялом, поделками, изготовленным. Поэту надо видеть мартэны и прокатные цеха. Я смотрел, как все, каждый винт и каждая тысячепудовость, движется людьми в замасленных блузах, как все двory, цеха, ходы и переходы завалены, загромождены. Завод только теперь приступает к переремонту, за последние четырнадцать лет он не переоборудовался,—и видно, что сто семь, восемь десятых процента довоенных норм перезагрузили его станки,—чем? чьей волей? — об этом ниже. Пока же: — зарплата за этот год по сравнению с прежним увеличилась на 18,5%,—производительность же труда увеличилась на 27,5%,—вывод: — организованность, рациональность, труд. Труд—колоссален. Завод напряг все свои хребты, хрипит и: дел а е т. У завода этукою весною—гордость: две нефтеналивные шхуны, два десятигтысячетонных корабля, спущенные этокою весною на воду; доки здесь называются—судоямами, суда закладываются летами на земле, в ямах, весною их поднимает полая вода; эти два корабля построены, по существу говоря, вручную. Цеха, возникшие при Бенардаки темны, и сажа села на аршины.

— Очень большой труд,—говорит инженер.

— Колоссальный труд! Надо беречь мозги и гордиться в этой стране стали и огня, стали, превращаемой огнем в пароходы.

Ныне завод перестраивается. Металлургические, горячие цеха выносятся на новое место, строятся наново, с новым оборудованием, новый город из стали. Эти горячие цеха строятся—по размеру—первые в мире.

Строятся, проектируются новые верфи, миллионы рублей, новый громадный завод: там будут строиться новые насыпи и мосты, новые судоямы, новые эстакады, свои горячие цеха, своя железная дорога, новые верфи будут строить миллион пятьсот тысяч пудов железа для кораблей в год на сумму в тридцать три миллиона рублей—тоже в год, взяв к себе три тысячи пар рабочих рук. Это строительство будет стоить государству пятьдесят восемь миллионов. Дизельный цех—переоборудован уже новыми, последними машинами. Новому человеку можно ходить и плутать по заводу, как в средневековом городе,—день, два, три, открывая все новое и новое. Завод создает пароходы морского типа и волжские пароходы, паровозы, вагоны, дизели, котлы, бурильные машины для нефти,— можно привести сотни названий того, что строит завод,—этот старый завод, напрягающий все свои хребты,—этот старый завод, который строит грандиознейшие в мире горячие цеха и верфи.

— Нам приходится, сидя на стуле, этот стул переделывать в кресло,— говорит инженер.

Колоссальная работа!— и завод, как теперешняя Россия: Бенардаки— акционерное общество—строительство социализма. В кузнечных цехах глохнут уши: от револьверной клепки. Лица рабочих сосредоточены. В дирекции—тихо. В завкоме—рой людей и дел. Колоссальный, сложный, из стали и железа, прокаленный огнем вагранки, организованный человеческой волей,— живет завод, возникший на «Соромовских» местах, у древней реки, перестраивающихся в колоссальность.

Из записной книжки

«Очень устал от дня, машин и людей. Вечером, в шесть, ходил в редакцию «Красного Соромовича», газеты, выросшей из стенной. Туда собрались рабочие, старики и рабкоры, чтобы поговорить со мной. И вот—совершенно необыкновенный ворох впечатлений. Главная улица, где помещается отделение «Нижегородской Коммуны», полна людей и пыльна уже по летнему и по-заводски-городскому. На улице много молодежи, гуляют в отдыхе. В толпе много воротничков, галстуков, шляп,—я спрашиваю, кто владетели их?—мне говорят, рабочая молодежь. В редакции собрались заводские ветераны, в черных пиджаках с глухими воротами. Красноголовая девичья молодежь, разносчицы, осмотрели меня веселыми глазами, спросили миссис Гиршбайн, как там в Америке комсомолки,— и ушли бодрою толпою—гулять, оставив нас в разговорах. Стариси степенно сели к столу. Закурили.

И—вот этот ворох разговоров, просыпавшийся на меня необыкновенным мне и радостным событием. Дальше я скажу, в чем для меня эти радость и необыкновенность. Пишу без системы, как это бывает в живых разговорах.

Новожилов, рабкор, рабочий:

— «Новый Мир» очень подорожал, невозможно выписывать, а ко «Красной Нови» и приступа нет.

Старик, рабочий:

— Брошюра и газета—не выучат. Надо—научную, серьезную, а также дешевую книгу для завода и особенно для деревни. И особенно школьную книгу, для молодежи. Надо такую книгу, чтобы было понятно и—чтобы было, над чем подумать. Надо все знать основательно, а не газетно и брошюрно.

Средних лет рабочий:

— Трудно пишете, товарищ Пильняк,— вы и Маяковский труднее всех.

Старик, тот, что говорил о книге и знании:

— В наше время, когда вся земля и все народы завясят друг от друга, надо в школах обучать эсперанту.

Рабочий, старик:

— Раньше в школу палкой не загонишь, теперь нехватает мест в первой ступени.

Остальные подтвердили, — действительно нехватает. В Сормове — на каждые две души одна газета, не меньше, стало быть, чем в Москве. Опять разговор о толстых журналах, — вещь необходимая, а дóрого.

Завтра будет семейный — цеховой вечер, электромонтерного, кажется, цеха, придут с детьми и дедами смотреть «Противогазы», в сад Первого Мая, — позвали меня, — посмотрите, мол, товарищ Пильняк.

Театр здесь и в городе. В рабочем университете около ста человек, днем работают, вечером учатся. Около ста человек на рабфаке.

Днем говорил с инженером о квалификации молодежи, — спросил здесь. Ответили по-разному. — «Ничего, работают». Старики утвердили, что молодежи теперь — «не сравнить лучше». И молодежь сознательнее. Я сказал о прочитанном в «Нижегородской Коммуне», — о том, что Сормово выпило за год алкоголя на полтора миллиона рублей. Подтвердили, — пьют. Но молодежь пьет не в пример старикам.

Сухонький старик, проработавший пятьдесят лет на заводе, чуть-чуть удивленно:

— Молодежь пьет теперь по-новому. Как раньше пили — известно. Теперь купят коньяку полбутылки на человека и по две бутылки нарзану. Пьют коньяк и нарзаном опохмеляются. И играют за этим делом в преферанс.

Другой старик, порицательно:

— Теперь молодежь жить без удовольствия не может, кино ей подавай.

— Радио в обеденный перерыв, три раза в неделю свои концерты.

Справка:

— При голосовании 70% голосовало за закрытие церкви, три закрыто, одна осталась. Церковники Пирогова собираются выписать, чтобы свой престиж отстоять.

— Каждый своему делу должен быть артист, я токарь по металлу, а он — певец.

— В старое время счастливым можно было быть только в окружении несчастных.

— Я с сыном поспорил на гармошку. Без чертежа вам не понять. Одним словом, какой шар может поместиться в усеченном конусе. Думаю, выиграю у сына гармошку, — он сидит дома, вычисляет.

И — новый ворох фраз и слов, опять непонятный мне. Производственные — совещание и комиссия, экспертная комиссия, техническое совещание. Молодежь, «смена», — в дизельном цехе, оборудованнейшем, где работать одно удовольствие, — разрядная квалификация до восьмого разряда, — а в судостроительном, где работа вручную (клепальщики, «глухари»), там квалификация не выше пятого разряда: оттуда, конечно, тянутся в дизельный, — непорядок в нормировании труда. Рабочий Ив. Прокоп. Шилин, изобретатель, изобрел состав формовочной земли, — дал заводу триста тысяч рублей экономии. Долгополов сделал ряд изобретений по арматурному цеху. Макеев, малограмотный человек, спроектировал и построил кран для подема тендеров. Изобретатель Никитин, — изобретатель Котков: — и разговор очень волнителен и напряжен. Мастер Саржицкий изобрел способ закалки стали, — инженер Каждан идею изобретения приписал себе. Нет мастерской, где рабочие пробовали бы свои изобретения. Разговор очень напряжен, обо мне забыли. На производственных совещаниях собираются рабочие и административно-технический персонал, — и там всеми обсуждаются все производственные мероприятия.

— У нас там критика и споры, совсем как в сенате.

Оборудование завода под Балахнинский ток, предполагалось дать ГЭТ'у — рабочие запротестовали, решив провести оборудование своими силами, с экономив заводу рубли. — В горячих цехах падает квалификация, «смена» подрастает медленно, — необходимо моральное принуждение, увеличение материальных благ. У собеседников свои точки зрения, я забыт, — производственное совещание возникло в редакционной конторе. Качество металла сейчас лучше, чем до войны, хотя полуфабрикаты гораздо неряшливей. — Конечно, можно рассуждать, что

завод стоит не на месте, ибо горячее привозится из Баку, а железо с Донбасса,—но зато рынок под руками, предметы питания и крыши для потомственных почетных, квалифицированных рабочих!..

Совершенно ясно, и это главнейшее,—я присутствовал при разговоре о том, что есть общественной жизнью сормовских рабочих. Совершенно ясно, это уже в п с и х и к е р а б о ч и х, что завод—их, им с ним жить, им его строить и хранить, им на нем работать—отсюда и поток изобретательства,—но это уже один из элементов перестроенной революцией п с и х и к и: завод—наш!

— Трудно вы пишете, товарищ Пильняк, для рабочего класса! — и я чувствую себя виноватым.

— А гармошку я у сына выиграю!—тут у нас один фабзаучевец изобрел новый двигатель,—двадцать лет мальчишке, — инженеры ахнули, посылают в вуз,—ходит парнишка совсем обалделый от своих принципов.

Мы разошлись затемно. Меня пригласил к себе попить чайку рабочий, рабкор, товарищ Новожилов. Мы прошли тишиной темнеющих переулков, мимо домиков со светлыми окнами за занавесками. В одном из таких домиков, темным коридором и крутую лестницей, мы поднялись в квартиру Новожилова. Две комнаты и кухня—свободней и чище, чем у рядового москвича. Нас встретила жена. На столе лежала книга — «Мать» Горького.

— Это читает моя жена,—сказал Новожилов.

— Вам нравится?—спросил я.

— Да,—ответила она,—говорят, что это описан наш завод, очень похоже, как рассказывают старики.

«А позднее мы были:—в культурной чайной! Голоса на обратном пути разделились: пойти ли в чайную, или в пивную? «Культурная чайная» — мне это показалось нарочитым, я пошел в пивную, чтобы покараулить быт. Видел пьяных и слышат мат. Гиршбайны пошли в культурную чайную,—и за мной пришли оттуда,—чтобы я непременно шел в чайную.

В прихожей предложили раздеться,—я удивился. Я увидел совершенную чистоту, яркий свет, воздух был свеж. Мы прошли в большую комнату с белыми столиками в цветочных горшках. Курить здесь нельзя. В другой комнате играли в шахматы и читали газеты. Все было полно—и молодежью, и стариками. Никакой нарочитости не было. Я не знаю, с чем сравнить, у меня нет сравнения!—я был поражен. Молоко, чай, бутерброды, пирожные стоят баснословно дешево. Все чисто и аккуратно,—ну, санаторно чисто и аккуратно, как в приемной общежития Дома Ученых на Пречистенской набережной. В прихожей висит книга, где предлагается посетителям давать советы, улучшающие культурную чайную.—«Просим выписать газету «Читатель и Писатель».—«Просим выписать «Новый Мир».—«В виду весеннего сезона надо ввести мороженое»...—Это было паразитально».

Прерываю выпись из дорожной книжки.

В этой культурной чайной я бывал каждый день затем, чтобы там пить чай и ужинать,—и удивляться, потому что эта чайная и о т н о ш е н и е к н е й е е посетителей — у д и в и т е л ь н ы.

В ы п и с ь из протокола Производственного Экономсовещания Электроп/Отдел от 11 апр. 1928 г.

«Всего присутствовало 62 человека, рабочих 50, служащих 2, адм.-тех. персонала 10.

Повестка дня: 1) о передаче электрооборудования ГЭТ'у, 2) о рациональном использовании технических сил при техническом бюро, 3) о целесообразном назначении мастеров в электро-участке.

По первому вопросу— доклад.

Вопросы — —

— Можем ли мы выполнить требования ГЭТ'а?—сколько они потребуют людей?—Соответствуют ли квалификации наши монтеры к этой работе?—Как велика первая нагрузка, которая потребуется нашему заводу?

— Какую дает гарантию ГЭТ?

— Известна ли ГЭТ'у стоимость нашей единицы рабочей силы и своей также?

— Заказаны ли каркасы для щитов?

Ответы — —

Прения — —

Тов. Кувшинов.—У нас уже не первый раз обсуждается вопрос о ГЭТ'е, я сам был ранее за ГЭТ, когда обсуждался вопрос о шхунах, о сдаче ГЭТ'у, но теперь, я вижу, у нас ГЭТ забирает работу все более, я стою теперь за то, чтобы более никакой работы не сдавать ГЭТ'у.

Тов. Малафеев.—...такое дело никуда не годится. Если человеко-день стоит нашему заводу 8 рублей, а ГЭТ'у 16,—и выходит—заводоуправление выбирает ГЭТ'у 100.000 рублей...

Тов. Калагаев.—Я считаю, к этому вопросу нужно подходить очень осторожно, нужно сказать, цеховая администрация неправильно подошла к этому вопросу, почему и создалась такая буча, этот вопрос выплыл с низов... ..Вопрос обстоит так, что нужно дать гарантию, что сделаем к сроку и не так, конечно, голословно, как говорите вы. Я считаю, если мы будем подходить к этому вопросу осторожно и бросим цеховые интересы, то можно решить правильно.

Тов. Судаков.—Я скажу, мы интересы отстаиваем не цеховые, а заводские, т.е. заводскую кассу. ...

Постановили — — »

В ы п и с ь,—«Итоги конкурса на лучшего сдельщика и ученика ФЗУ».

«1-го марта 1928 г. жюри по докладу Центральной Комиссии рассмотрела кандидатуры рабочих, подлежащих премированию — ...По окончательным итоговым спискам за 6 месяцев были представлены 17-ю комиссиями отделов 67 артелей и 171 индивидуалист. — — ...Центральная Комиссия выделила: I категория—18 человек, II категория—23, III категория—15. I категория—поездка за границу—3 человека. II категория—поездка по заводам Союза—8 человек. Остальным—деньги, часы, портсигары— ...Конкурс в основном себя оправдал, т. к. вызвал здоровый дух соревнования среди рабочих, что подтверждается... в итогах работы заводы за год, окончившейся с увеличением производительности на 15,5% против прошлого года, понизив себестоимость по выпускным цехам и увеличив валовой выпуск по производственной программе на 30% против прошлого операционного года. Конкурс послужил стимулом для пересмотра всех рабочих в цеху и определения основного кадра лучших рабочих, могущих послужить примером для других».

В ы п и с ь из Отчета Завкома.

Работа Производственной Комиссии Завкома:—

«...Работа производственных комиссий и совещаний в основном сводилась к рационализации производства. В составе цеховых производственных комиссий было—359 человек, из которых—рабочих 231, служащих—52, адм.-тех. персонала—76. Всего создано производственных комиссий и совещаний с октября 27-го г. по февраль 28-го—95, присутствовало человек 4.257, из коих активных членов комиссий 1.785 всего, а рабочих 1.362,—вынесено предложений 530, из них—согласовано с администрацией 500, выполнено 243, в стадии выполнения 257, отклонено 30. ...По данным Заводоуправления от некоторой части выполненных предложений выявлена экономия 107 тысяч рублей, не считая устранения целого ряда недостатков, которые выразить в цифровых данных представляется невозможным».

Работа Экспертной Комиссии Завкома:—

«...Консультация организована для советов работающим по вопросам изобретений и усовершенствований».

В отчете Заводоуправления написано:

«...Экспертная Комиссия по изобретениям и усовершенствованиям рассмотрела за истекший год 40 предложений, из коих 35 принято, 5 отклонено,

7 предложений в стадии разработки чертежей и производства экспериментальных опытов, остальные проведены. Предполагаемая экономия по указанным предложениям—130.000 р., выявленная—98.133...».

В п и с и заголовков из газеты «Красный Сормович».

«На ненужные станки и эстокады тратим миллионы, а на изобретательское дело боимся дать копейку». — «2.500 паровозов — праздник сормовичей». — «Дело в платформах». — «Вместо пивной — читальня». — «Рационализация дыбом». — «Алексей Максимович! заезжайте к нам в Сормово!» — письмо Горькому от рабочих. — «Сегодня показываем работу совещаний арматурного и инструментального цехов». — «Мнения полускатчиков». — «Продолжим общественный смотр работы производств». —

Можно выписать еще десятки названий.

...утро, день, вечер, ночь. Все время я ходил и смотрел, видел и думал. В новых кооперативных домах и в домах, построенных заводом для рабочих, совершенная чистота: эта совершенная, подчеркнутая чистота, — эти занавесочки на окнах, цветы на подоконниках, белые надоедальники на кроватях, — суть случайность? — мне показалось, что это — особенность, возникающая — от профессии, в противовес маслу и железной пыли, и гари завода: это мне не менее существенно, чем то, что горячие цеха, которые строятся на новом месте, будут самыми большими на Земном Шаре.

И позвольте мне закончить этот очерк — собою.

О машинах, о стали, о тех машинах, которые создают новые и новые машины, которые собраны в заводы, перед которыми нет конца в противоборстве природе и в организации ее, — этому нельзя не кланяться, — это я знал, эту колоссальную сложность, созданную прекраснейшим в человечестве — знанием и трудом, делающими мартены, вагранки, дизели и паровозы. Но самое главное, решающее главное, — человек, ради которого живут машины, которым живут машины, который живет, чтобы строить. — Зарплата за этот год на Сормовском заводе по сравнению с прежним увеличилась на 18,5%, производительность труда — на 27,5%:

Человеческие мышцы и их организаторы, человеческий мозг, коллективный мозг рабочих командовали заводом, ибо завод, выполняющий 107,8% довоенных процентов, пока только донашивал инструменты (сейчас он перестраивается в колоссальности, — и это величественная воля нашей государственности, но сейчас я хочу говорить не об этом).

Самое главное — человек, самое главное — человеческая жизнь.

Человека-рабочего, в его жизни, в его буднях, в его заботах и героизме, — я знал только теоретически. Человека-рабочего, который строит новую государственность, человека-рабочего в массе, — я знал также только теоретически. И впервые я увидел его — в Сормове. — «Трудно вы пишете, товарищ Пильняк!» — мне совестно, и страшно досадно, — не только то, что я трудно пишу, — мне стыдно, что только теперь я это увидел. Читателю понятно, как существенны для меня эти мои последние слова.

Да, настоящая, здоровая, всячески верная жизнь. Да, та жизнь, где куеться новая общественность, где перекована психика, уже перестроена (для этого я утомлял читателя выписями и записями протоколов), — перестроена тем, что, все строимое — их, завод их, с ним жить, его строить и хранить, — им, потомственным почетным пролетариям, сделавшим русскую революцию. Здесь сокрыты 107,8 довоенных процентов. Отсюда течет река изобретательства. Здесь, верно, известно, как должны возникнуть «культурные чайны» будущего, пусть водки выпито на полтора миллиона, о которых я совершенно не нахожу нужным забывать. Это — общественность пролетариев.

Завод стар, перенагружен, — завод перестраивается в колоссальности, — это за счет государственности, которая имеет право на бытие потому, что сормовские рабочие это право завоевали.

30 мая 1928 г. Ямское поле.

Наука. Искусство

ПРИЧИННЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПРИЗНАКОВ ОРГАНИЗМА

Очерк научно-исследовательской работы лаборатории Зоопарка.

Л. Я. Бляхер

Грандиозные достижения современной техники при использовании их в повседневной жизни перестают давать пищу нашему удивлению перед творческим гением человека.

Кому, в самом деле, придет в голову восхищаться электрической лампочкой, телеграфным аппаратом, трамваем! Даже радио, позволяющее сноситься без проводов с отдаленными уголками земного шара, с движущимися по океанам пароходами, приобрело характер обычной вещи и прочно вошло в обиход.

Однако стоит хотя бы мельком оглянуться назад и вспомнить последние сто лет, чтобы увидеть, что техническое завоевание человека шло необычайно быстрыми шагами, и силы природы, еще не так давно вызывавшие только страх и иногда суеверное преклонение, теперь скованы рукой человека и служат ему, согревая и освещая его жилища, двигая его машины и перенося с места на место по земле, воде и воздуху как самого человека, так и многие тонны грузов.

Успехи техники, все более и более овладевающей неорганической природой, покоятся на крупнейших достижениях в области теоретического знания, в области изучения физических и химических явлений. Залогом плодотворности исследования неживой природы является метод эксперимента, позволяющий изучать условия возникновения тех или иных процессов, дающий

возможность причинного анализа интересующих нас явлений. Только изучивши характер данного явления и установив его непосредственные причины, мы можем добиться умения предсказывать, умения управлять изучаемым явлением.

Далеко не все явления неживой природы изучены настолько, чтобы была возможность подчинить их управляющей воле человека. Так, в области метеорологии мы еще мало научились предсказывать явления, не говоря уже об управлении ими по желанию. В области геологических явлений мы далеки еще даже от умения предсказывать наступление таких стихийных бедствий, как землетрясения. И, тем не менее, власть человека над неживой природой безмерно велика, и каждый новый год приносит новые и новые завоевания.

В совершенно особых условиях до последнего времени находилась наука о живых существах—биология.

Необычайная сложность физико-химического материала, из которого построены живые существа, своеобразие и запутанность процессов, сопровождающих самые элементарные жизнепроявления, заставляют уделять чрезвычайно много времени одному только описанию животных и растительных форм, одному только протоколированию разыгрывающихся в них процессов.

До последнего времени биологические науки находились на перво-

начальной стадии развития,—на стадии описательной, которую науки физико-химические давно перешагнули.

И только на пороге XX-го века определилось в биологии отчетливое стремление последовать по стопам физики и химии и дополнить формально-описательный метод новыми путями исследования, преследующими цель причинного анализа явлений, развития и превращений в живой природе.

Яркое выражение это стремление нашло в новой отрасли биологии, которая с легкой руки Вильгельма Ру получила название механики развития.

Рабочий коллектив лаборатории московского Зоопарка, возглавляемый М. М. Завадовским, является одним из наследников идей Ру и проводит свои исследования, пользуясь экспериментальным методом. Но в то время как Ру, сосредоточивает свое внимание на анализе эмбриональных стадий развития, М. Завадовский и руководимая им лаборатория московского Зоопарка заняты исследованием постэмбриональных стадий развития. Сумма идей, характеризующих направление работ лаборатории, объединяется новой дисциплиной, название которой достаточно точно отражает содержание исследований. Эта дисциплина, по предложению М. Завадовского, именуется динамикой развития.

Наиболее таинственный процесс, характеризующий живое существо, есть процесс развития индивидуума от яйцеклетки и до взрослого сформированного состояния.

В самом деле, из однородного на первый взгляд комочка живого вещества, каким является яйцевая клетка большинства животных, из микроскопически малого комочка живой слизи путем ряда различных преобразований возникает сложно построенный организм, состоящий из отдельных характерных частей, приспособленных к выполнению определенных необходимых для организма функций. Но организм не представляет арифметической суммы входящих в его состав органов, — он является монолитным целым, в котором все части находятся в

определенном взаимном соотношении.

Совершенно недостаточно произвести точное описание сменяющихся форм в процессе развития особи, совершенно недостаточно запротоколировать те функции, которые проявляются организмом на разных стадиях его существования. Этот необходимый этап пройден, задача исследователей, еще идущих по этому пути, сводится к выяснению возможно большего количества деталей в описательном изучении процессов развития.

Настало время сделать ряд следующих шагов по пути причинного анализа явлений развития. Необходимо установить, какими причинами определяется возникновение тех или иных признаков развивающейся особи, от чего зависят определенные качества этих признаков, определенный порядок их возникновения в течение индивидуальной жизни; необходимо установить, чем определяется та исключительная целостность и взаимообусловленность всех жизнепроявлений, которая так поражает нас при изучении живых существ.

Только полное и всестороннее изучение причин, условий формирования признаков организма позволит человеку взять в свои руки управление процессами развития, позволит творческой воле человека, создавать те формы живых существ, которые ему необходимы.

Уже установлено, что процессы развития особи определяются рядом факторов, которые по отношению к самому организму можно обозначить как внешние и внутренние. Внешние воздействия, исходящие из окружающей организм среды, в большинстве случаев играют роль факторов, влияющих на явления развития количественно, ускоряя или замедляя протекающие в живом существе процессы.

Подобным образом действует кислород, температура и ряд других внешних агентов. Однако в известных случаях изменения температуры, освещения и пр. могут создавать качественные изменения в признаках организма, и эти-то случаи наиболее инте-

ресны для изучения процессов формообразования.

Чрезвычайно рельефно качественные изменения, обусловленные температурой, выражаются в так называемой реакции Шульца, открытой этим автором для горностаевого кролика. Кролик этот имеет белую окраску по всему телу, за исключением носа, ушей, лап и хвоста, окрашенных обычно в черный цвет. При выбривании белого участка тела и при воздействии пониженной температурой (около 0° Цельсия) на выбритом месте вместо белых волос отрастают черные.

Обратно, при выбривании черных участков (уши, нос) и при содержании кролика при высокой температуре (около 30° Цельсия), черные волосы заменяются белыми. Такая зависимость окраски тела от температуры определяет и нормальную расцветку горностаевых кроликов, вначале совершенно белых и только со временем приобретающих нормальную окраску этой породы.

Реакция Шульца может быть получена и на морских свинках, так называемых «альбиносах Кэсла», окрашенных аналогично горностаевым кроликам. Нет ничего невероятного в том, что ряд других животных форм (может быть, некоторые птицы) окажется способным давать реакцию Шульца.

Влияние температуры, изучаемое в лаборатории Зоопарка, интересно проявляется на плодовой мушке—дрозофиле, излюбленном объекте исследователей, изучающих законы наследственности.

Существует форма этой мухи, обладающая рудиментарными крыльями, чрезвычайно укороченными и измененными по форме.

Подвергая мух этой расы на ранних стадиях их развития воздействию повышенной температуры, удается получить особей, крылья которых значительно увеличены и по форме несколько приближаются к нормальным. В этом случае мы также сталкиваемся с отчетливым формообразовательным влиянием внешнего фактора — температуры.

Изучение влияния внешних факторов на развитие находит в лаборато-

рии Зоопарка применение к вопросам экспериментальной паразитологии, имеющей большое практическое значение как для нормальной постановки животноводческого хозяйства Зоопарка, так и для клиники.

Изучение условий развития ряда паразитических червей, населяющих внутренние органы (главным образом, кишечник) крупных животных и человека позволяет с уверенностью судить о способах заражения этими паразитами, учит необходимым предохранительным мероприятиям, диктует о необходимости притягивания тех или иных лечебных мер.

Вопросы экспериментальной паразитологии, разрабатывающиеся в лаборатории, сводятся к выяснению влияния температуры на развитие различных видов паразитических червей и установлению роли кислорода, влияния различных солей на процессы развития. Изучение влияния температуры на скорость развития позволяет формулировать некоторые общебиологические закономерности, а также, вместе с данными о значении кислорода, приводит к убеждению, что самозаражение круглыми червями невозможно, развитие яиц должно закончиться во внешней среде, прежде чем зародыши могут жить в своем обычном хозяине.

Здесь мы должны еще раз подчеркнуть, что роль внешних агентов в процессах развития чисто количественная. — они или определяют возможность самого процесса, или изменяют его скорость в смысле торможения или ускорения.

Несравненно значительнее по степени и диапазону своего действия влияние на развитие внутренних факторов.

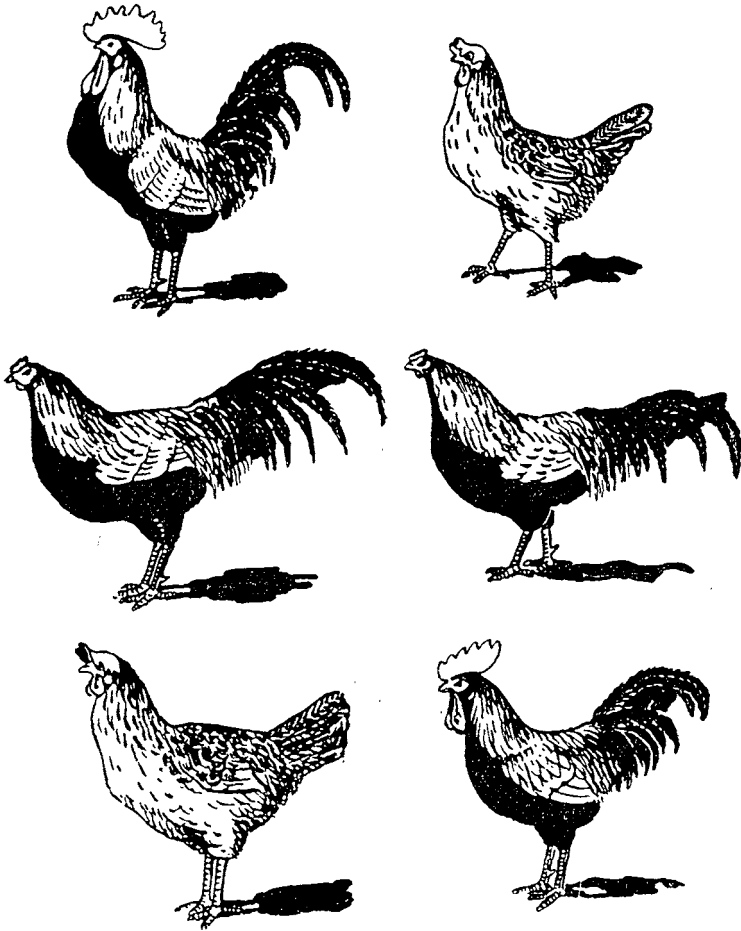
Из них наибольшее значение мы должны признать за железами внутренней секреции.

Эти железы, существующие в организме позвоночных животных, отдают продукты своего выделения (гормоны) непосредственно в кровяное русло, и током крови эти гормоны разносятся по всему телу.

К числу желез с внутренней секрецией относятся половые железы (се-

менники и яичники), щитовидная железа с прилегающими к ней паразитовидными, под мозговая железа (гипофиз), надпочечники и, под некоторым сомнением, над мозговая железа.

признаками мужины являются борода, усы, растительность на целом ряде мест тела, низкий голос и ряд типичных психических признаков; женщины — наличие хорошо развитых



Фигура 1.

Вверху — нормальные петух и курица.

В середине — кастрированные петух и курица.

Внизу — петух с имплантированным яичником (слева) и курица с имплантированным семенником (справа).

Наиболее отчетлива и наиболее изучена формообразующая роль первых трех (половые железы, щитовидная железа и гипофиз). Изучению посвящен целый ряд работ лаборатории Зоопарка. На них-то мы и остановим свое внимание.

Всем известны чрезвычайно подчас яркие отличия, характеризующие самца и самку. У человека вторичными

млечных желез, отложение жировой ткани в определенных участках тела, высокий голос и опять-таки некоторые характерные психические особенности.

У многих птиц такое отличие самца от самки (половой диморфизм) выражено еще более отчетливо, касаясь целого ряда морфологических признаков, как форма и окраска оперения, характер головного убора, шпоры и т. п.

Аналогичные отличия самца от самки имеются у ряда других птиц: уток, фазанов, павлинов и пр.

Естественно было предположение, что указанные половые отличия имеют своим источником влияние половых желез того и другого пола. Опыты, поставленные на этот счет в ряде заграничных лабораторий и в лаборатории Зоопарка, привели к детальному выяснению существующих здесь соотношений.

Кастрация петуха лишала его характерного головного убора, бородки; серьги и гребень сморщивались и бледнели, типичный петуший голос пропадал, исчезал и мужской половой инстинкт.

Однако оперение и шпоры сохранялись такими, какие имеет обычно нормальный петух. Кастрация курицы приводит к тому, что курица приобретает петушье оперение и шпоры; гребень, бородка и серьги у кастрированной курицы так же малы и бесцветны, как у кастрированного петуха. Мы видим, что кастрация петухов и кур влечет за собой недоразвитие ряда признаков (головного убора, голоса у петухов, самочьего оперения у кур). Признаки эти, развивающиеся только в присутствии половой железы, получили название зависимых или истинно-половых признаков.

Те же признаки, которые остаются у кастрированного петуха и кастрированной курицы, очевидно, в своем развитии не зависят от половых гормонов. Они называются независимыми или ложно-половыми признаками. К ним относятся петушье оперение и шпоры. Если кастрированный самец и кастрированная самка, утрачивая свои зависимые признаки, делают подобными друг другу, можно думать, что, пересадив после кастрации петуху — яичник, а курице — семенник, мы добьемся превращения одного пола в другой: самец приобретет признаки самки, а самка — признаки самца. Опыты такого рода были проделаны и блестяще оправдали предположение.

Если удалить у курицы имеющийся у нее левый яичник (правого яичника

у кур нет), то курица в течение нескольких месяцев имеет вид типичного кастрата. Спустя несколько месяцев, однако, у такой кастрированной курицы начинает расти петуший гребень, она поет по-петушину, сзывает кур к корму, дерется с петухами и пытается топтать кур. Вскрывая таких «самопроизвольно» превратившихся кур, можно было установить образование на месте, где должен быть правый яичник, железы, напоминающей по своему виду семенник. Гистологическое обследование такой «правой железы» устанавливает ее семенниковый характер, при чем в некоторых семенных канальцах имеются зрелые сперматозоиды.

Из описанных материалов можно сделать тот вывод, что курица является существом двуполым, бисексуальным; ее половая железа отделяет женский гормон, но при случае может отделять и мужской. Деятельность мужского гормона в норме прикрывается, подавляется влиянием женского гормона. Петух, в противоположность этому, является существом однополым, моносексуальным, его семенник способен вырабатывать только мужской половой гормон.

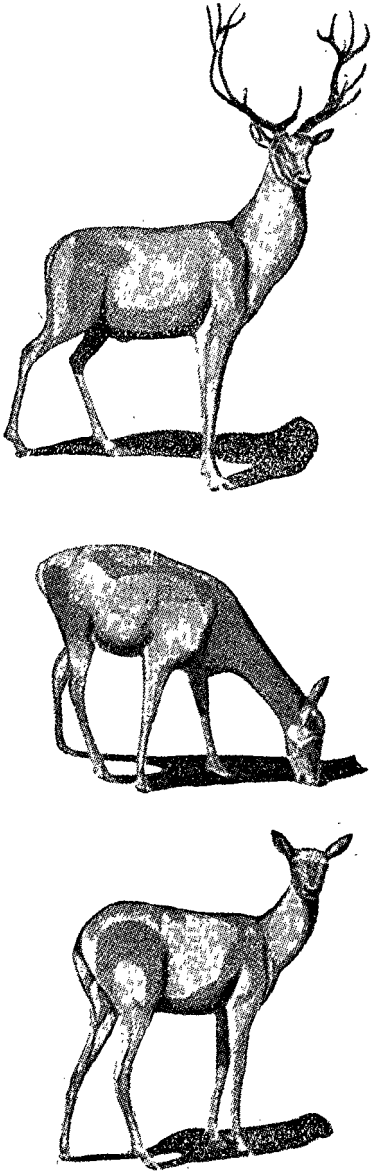
Сказанное с полным основанием может быть распространено на уток, фазанов и ряд других птиц.

У млекопитающих, обладающих отчетливым половым диморфизмом (бараны, олени, лани, антилопы, морские свинки), опыты кастрации приводят к выводу, что кастрация самца влечет за собой утрату им его характерных особенностей (рога, окраска шерсти и некоторые другие признаки). Кастрированный самец приближается по своим признакам к самке; отсюда с достаточной долей уверенности можно сказать, что у млекопитающих бисексуален самец и моносексуальна самка.

В лаборатории Зоопарка были проделаны наблюдения, распространяющие эти выводы также и на рыб. Яркая окраска самцов некоторых тропических форм зависит от гормона мужской половой железы. В некоторых случаях заболевания и недоразвития

семенников зависимые красочные признаки самца пропадают.

Перейдем теперь к щитовидной железе и ее влиянию на процессы развития индивидуума.



Фигура 2.

Вверху — нормальный самец.
В середине — нормальная самка.
Внизу — кастрированный самец.

Более 25 лет известен тот факт, что превращение головастика в лягушку, вообще, процесс метаморфоза у

земноводных регулируется гормоном щитовидной железы.

Подкармливание головастика веществом бычьей щитовидной железы приводит к ускоренному превращению. С другой стороны, опыты удаления щитовидной железы у головастика имели следствием сохранение личиночного состояния в течение всей жизни.

Ряд работ, опубликованных лабораторией Зоопарка, имеет целью уточнить наши представления о механизме превращения амфибий под влиянием гормона щитовидной железы и о химизме этого гормона. Удалось в частности установить, что кристаллический вод, будучи введен в брюшную полость аксолотля (личинка мексиканской хвостатой амфибии — амблистомы), вызывает превращение его, как и препараты щитовидной железы.

Ускорение развития амфибий под влиянием гормона щитовидной железы навело на мысль, не влияет ли этот гормон на развитие и метаморфоз у беспозвоночных, например, у насекомых и ракообразных.

Для решения этого вопроса были поставлены опыты воздействия гормоном щитовидной железы на личинки плодовой мухи — дрозофилы и на личинки пресноводного ракообразного — циклопа. И в том, и в другом случае не удалось установить какого бы то ни было ускорения развития: гормон щитовидной железы, видимо, не действует на беспозвоночных животных.

Формообразовательная роль щитовидной железы не ограничивается описанными явлениями. Имеется еще одна группа функций этой железы, установленная Б. Завадовским.

Кормление щитовидной железой кур приводит к бурной линьке, доводящей птицу почти до полного облысения. Вновь отрастающие перья оказываются депигментированными, частью совсем белыми, частью посветлевшими. С другой стороны, ряд авторов, главным образом американских, ссылаясь на аналогичные опыты, говорят о влиянии щитовидной железы на оперение в смысле изменения формы и окраски самцового пера в сторону женского.

Выводы этих исследователей были подвергнуты сомнению, и в лаборатории Зоопарка предпринята проверка этих данных, при чем в качестве подопытного материала были взяты фазины и павлины. Изменения в окраске оперения после кормления щитовидной железой чрезвычайно отчетливы, но не дают оснований говорить о замене мужского пера женским; скорей есть основания полагать, что измененное перо близко по своему типу к ювенальному (детскому) оперению.

Явление обесцвечивания в результате перегрузки организма гормоном щитовидной железы обнаружено в нашей лаборатории на рыбах, при чем здесь удалось установить двухфазность действия щитовидного гормона: первый этап реакции сводится к усиленной пигментации, а второй—к последующему обесцвечиванию рыбы.

Близкое участие в определении окраски животных принимает подмозговая железа или гипофиз, являющийся также мощным агентом формообразования.

Результаты работ, касающихся влияния гипофиза на окраску амфибий, можно резюмировать следующим образом. Удаление гипофиза у взрослого черного аксолотля вызывает у него резкое изменение окраски, сводящееся к значительному посветлению: аксолотль приобретает пепельно-серую окраску с желтоватым оттенком. Посветление обуславливается сживанием пигментных клеток (меланофоров), которые у нормального аксолотля имеют широко расправленные и переплетенные друг с другом отростки. Еще более отчетливая картина получается на молодых аксолотлях. Кожа неоперированного молодого аксолотля имеет приблизительно такой же вид, как и кожа взрослого. После удаления гипофиза наступающие изменения затрагивают не только форму пигментных клеток, но и их количество. Именно после операции число пигментных клеток значительно уменьшается.

Сравнивая между собой две расы аксолотлей—«черную» и «белую»—можно видеть, что они отличаются друг от

друга по количеству пигментных клеток: у «черной» расы число пигментных клеток на единицу поверхности кожи в несколько раз больше, чем у «белой» расы. Так как количество пигментных клеток зависит от деятельности гипофиза, то естественен вопрос, не зависит ли разница между «черной» и «белой» расой аксолотлей от различия в функциональных свойствах их гипофизов. Специальный опыт, поставленный на этот счет, убеждает в том, что активность гормона гипофиза «черных» и «белых» аксолотлей одинакова и что разница в окраске этих рас зависит от степени чувствительности их тканей к гормону гипофиза или, как принято говорить, от различия в величине порогов раздражения по отношению к формообразовательному раздражителю (в данном случае гипофизарному гормону).

Исходя из этого факта, есть все основания ожидать у «белого» аксолотля усиленной пигментации при даче ему дополнительного количества гормона гипофиза. Опыт подтверждает ожидание: пересадка молодому белому аксолотлю нескольких добавочных гипофизов вызывает сильное потемнение подопытного животного, приближающее его окраску к окраске аксолотлей «черной» расы.

Подмозговая железа имеет отношение и к явлениям метаморфоза амфибий. Личинки тритонов с оперативно удаленным гипофизом не претерпевают метаморфоза и сохраняют личиночное состояние неопределенно долгое время.

Гистологическое исследование показывает, что щитовидные железы у таких задержавшихся в развитии тритонов испытывают значительное недоразвитие, и это недоразвитие щитовидных желез, видимо, является непосредственной причиной отсутствия метаморфоза. Здесь мы сталкиваемся с чрезвычайно существенным явлением взаимодействия между железами внутренней секреции. Взаимодействии желез внутренней секреции и их перекрестное влияние на различные органы и ткани живого существа осуществляют то целостное единство

отдельных частей организма, ту соотносительность в развитии и функции органов, благодаря которой мы должны рассматривать организм, как нечто целое.

Изучение механики развития особей немислимо без изучения их наследственных свойств. Поэтому всякая экспериментально-биологическая лаборатория не должна упускать из вида ту главу современной биологии, которая носит суммарное название генетики и которая в представлении современных исследователей распадается на две главы: учение об изменчивости и учение о наследственности.

В области изучения индивидуальной изменчивости широко применяются методы математической статистики. Объем идей учения об изменчивости делается все шире и шире, захватывая одну за другой области биологического исследования. Сейчас мы стоим перед явлением растворения этих идей в общей массе проблем экспериментальной биологии и перед превращением учения об изменчивости из самостоятельной дисциплины в метод, применимый к различным отраслям биологии. Другая глава генетики — учение о наследственности — имеет самостоятельный смысл и значение. Последние годы исследований в этой области привели к чрезвычайно большому осложнению и углублению представлений генетики, при чем перед исследователями стоят задачи детального изучения проявления отдельных наследственных факторов, способов их наследования, взаимодействия наследственных факторов между собой и отношения их ко всему наследственному запасу организма.

В кратком очерке нет возможности с достаточной ясностью определить те темы генетических исследований, которые проводятся в лаборатории Зоопарка. Можно только перечислить

отдельные занимающие лабораторию вопросы: наследование окраски глаз у морских свинок, кроликов и собак, наследование пятнистости у морских свинок, наследование многопалости у морских свинок, наследование различных признаков у голубей, наследование ряда красочных признаков, связанных с полом, у живородящей рыбки, межродовое скрещивание зебу и яка, и ряд других вопросов.

Подводя итоги работе лаборатории, осуществляющей единый план, необходимо коротко резюмировать идеи, положенные в основу перечисленных работ, следующим образом:

Лаборатория московского Зоопарка имеет задачей изучение механики индивидуального развития, изучение тех причин, тех условий, которые определяют развитие признаков организма. Эти условия или факторы развития могут быть разделены на две больших группы, группу внешних и группу внутренних факторов. К первым относятся такие агенты, как температура, влажность, кислород, соли и т. п., а ко вторым, главным образом, — железы внутренней секреции, а также та сумма наследственных зачатков организма, которая в целом называется генотипом.

Практические результаты этих исследований, широко применяющих экспериментальный метод, сводятся как к получению конкретных данных, используемых животноводством и клиникой, так и к раскрытию обширных перспектив в деле создания рациональной биотехники.

Эти перспективы, рисуемые в будущем управление проявлениями живых организмов, подобное тому, какое осуществляется сейчас по отношению к неживой природе, являются залогом успеха на путях этих исследований и источником энтузиазма у биолога-экспериментатора.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ МОСКВЫ

Ф. Рогинская

I. Старшие поколения.

Не все художественные группы, устраивающие выставки и как-будто участвующие в художественной жизни, вносят действительно свою живую и новую струю в ее течение. Некоторые из них служат только фоном, который оттеняет движение, происходящее на переднем плане. К таким группам следует отнести общество реалистов, общество имени Репина и группу «Жар-Цвет».

В первых двух мы сталкиваемся с группами старых, давно сложившихся художников, период цветения которых относится к далекому дореволюционному прошлому. Их можно считать носителями тенденции передвижничества, но не передвижничества эпохи «бури и натиска», которое силой своей социальной заостренности, пафосом своей сатиры и своего протеста вызвало шумные восторги в революционных народнических кругах своего времени, а передвижничества 90-х годов, опустошенного, с выеденной социальной сердцевиной, сохранившего от заветов своих предшественников только тягу к реализму. Реализм этот, лишившись накала и горения, присущих первому боевому поколению, выродился в бесцветный натурализм. Эпоха безвременья наложила свою печать и на чисто формальную сторону. Художники обоих обществ—не мастера ни в смысле мастерства реалистического, ни в том усложненном смысле, который стали придавать понятию мастерства со времени импрессионизма и последующих за ним течений. С точки зрения формального качества их работы очень близки к любительским. Здесь то же отсутствие дерзаний, та же способность удовлетворяться малым, бесприязнительность и неприхотливость. Можно назвать длинный ряд участников, которые дают именно такого рода пейзажи, настолько слабо дифференцированные, что очень трудно отличить

одного автора от другого (Аладжалов, Бакшеев, Бахтин, Милорадович, Зубарев и др.—из ОХР, Дмитриев, Столица и др.—в об-ве им. Репина). На всех этих работах лежит не только печать статичности, но и тишины, удовлетворенности и даже некоторого благодушия. Основное настроение их можно охарактеризовать, как состояние уютного покоя. Таковы пейзажи Смирнова «Девушка с гусями» и «Утиный пруд», дачные крымские этюды Дмитриева (об-во им. Репина), солнечные, светлые и стоящие в общем несколько выше общего уровня. Таковы же специфически «дамские» акварели Ржевской, снабженные соответствующими трогательными названиями: «Голубая елочка», «Одувачики» и т. п. Любопытно, что Ржевская участвует в обоих объединениях. Когда художники берутся за портрет, он приобретает у них характер «голоски», типа тех «очаровательных» головок, которые в изобилии можно и сейчас уже увидеть на конфетных коробках, на мыльных обложках и т. д. Как пример, можно указать на загадочные профили таинственных незнакомок Космина, на дородных русских красавиц в сарафанах и кокошниках Куликова и даже... на мужской портрет, утопающий в волнах желтого газа, кокетливо обвязанный шелковой лентой. Сюжетных работ в объединениях мало. У реалистов, как исключение, можно указать на эскиз Оболенского «Пугачева везут к месту казни». Он написан под огромным влиянием Сурикова, и, быть может, именно тень этого большого художника сняла столь характерный для общества реалистов налет дилетантизма с этого полотна. У репинцев сюжетных попыток больше, но трактуются они неубедительно, вяло, порой почти безграмотно. Если Любимов дает совсем не плохие портреты сангиной, его «Партизаны» в своем роде классический пример того, как не следует подходить к общественно-значимой теме. Немно-

гим лучше «Ленин на субботнике» Соколова.

Из «старых могикан» передвижничества у реалистов участвует Касаткин, один из первых русских художников, посвятивших свою кисть пролетариату. Даже и сейчас он дает полотно «Английские горняки», отвечающее его излюбленной теме,—жизни шахтеров. К сожалению, это полотно говорит об упадке творческих сил художника. Вообще, надо отметить, что, несмотря на чрезвычайно определенный, убогий в тематическом отношении и отдающий глухим провинциализмом в формальном отношении тон объединений, в них вкраплен ряд отдельных художников, в силу тех или иных причин останавливающих внимание зрителя. Репинцы, например, заведомо пытаются щегольнуть «именами». Они не без гордости демонстрируют несколько мало характерных работ Кустодиева, портрет Фешина, несколько пляжей Мешкова, вырастающих за грани объединения. Наконец, на стене висит многообещающий плакат, говорящий о скором прибытии картин Репина. Впрочем, все эти попытки гореть отраженным светом никого не обманывают. Что касается реалистов, они пытаются омолодиться, включив в группу начинающих художников Козочкина, Звягинцева (эскизы к опере «Садко»), О. Малютину. Это довольно способная группа художников. Из них наиболее мужественным языком обладает О. Малютин. В прошлом году во всевозможном кухонном ломе (старые примуса, жестянки и т. д.), в этом году в стоптанной «обуви» ей удастся увидеть поражающую своей ликующей и звонкой силой красочную гамму. Она находится под сильным влиянием своего отца, С. Малютин, который тоже является участником объединения и который наделил ее пристрастием к глубоким, почти черным фонам под старых мастеров.

Но если молодежь явно пристегнута к объединению и вот-вот оторвется от него, трудно объяснить участие в обществе Курилки, художника, склонного к зловейшей стилизации, к угрюмой мрачности мистицизма, который ка-

жется у него тоже стилизованным. Такое ощущение вызывает, например, его натюрморт «Слезы вещей». Не без некоторого содрогания зритель видит на этом странном полотне на блюде отрубленную кисть длинной бледной аристократической руки, унизированной кольцами и окруженной антикварными безделушками. Этот мрачный его символизм до некоторой степени переключается с символизмом Веляницкого-Вируля, у которого, впрочем, он принимает лирическую, мягкую, несколько наивно-претенциозную форму («Вечер темные брови нахмурил» и др.). Этим двум художникам место больше в «Жар-Цвете», чем в обществе реалистов.

Период формирования художников «Жар-Цвета» тоже совершался до революции. Но если в художниках-реалистах мы видим носителей наследия угасающего, деградирующего передвижничества, здесь перед нами группа, законсервировавшая стремления «Мира Искусства», опять-таки в период угасания и разложения этого течения. «Мир Искусства», как упоминалось в предыдущем обзоре, являлся чрезвычайно типичной группой, выражавшей настроения умирающего дворянства, видевшего распад своих старых гнезд, болезненно ощущавшего свою нисходящую общественную роль и потому с особой страстностью влюбленного в прошлое. Здесь почва и для мистицизма его, и для стилизаторства, обращенного в глубь веков и видевшего в прошлом только цветущие парки и галантных кавалеров и дам. Сюда примешивались и славянофильские элементы, заставлявшие его стилизаторство окрашиваться тонами так называемого русского стиля, и символизм и т. д. В тот период, когда «Мир Искусства» играл господствующую роль в искусстве, он выделил целую плеяду художников высокой культуры и большого изощренного мастерства. Но всякое господствующее течение распространяет свое влияние сперва на близкие ему социальные группы, а затем все шире и шире. В лице «Жар-Цвета» мы видим тенденции «Мира Искусства», преломленные уже в достаточ-

но отдаленной социальной среде, а именно, в мелкобуржуазном зеркале. Это такая же мелкобуржуазная группа, как и две предыдущие. Их различие — различие двух поколений. Можно назвать имя Богаевского, как художника, который является соединительным звеном между этими двумя группами — «Миром Искусства» и «Жар-Цветом». В лице Богаевского мы встречаем типичнейшую фигуру мирискусника. Характерны не только его приемы стилизации Крыма, в разрезе подчеркивания его мистической и загадочной в глазах художника исторической судьбы, не только трактовка Крыма, как одинокой и пустынной страны, раскрытой лишь для замкнутых и сложных натур, но и самая тональность, пристрастие к бледной, выцветшей гобеленной гамме, от которой пахнет столь излюбленным екатерининским веком. Характерна и боязнь солнца, которое представлялось слишком резким, слишком первобытно жизнерадостным для «обреченных» настроений «Мира Искусства». К этому надо прибавить, что Богаевский мастер высокой марки, что также характерно для старшего поколения «Мира Искусства». В лице Симонова мы встречаемся с другим вариантом пейзажных традиций «Мира Искусства», с европеизированной трактовкой природы. Полотна Симонова замыкают мягкую, неопределенную по очертаниям Украину в строгие тектонические формы.

Самый «Жар-Цвет» в целом, однако, значительно менее богат оттенками и внутренними тонами глубокого наполнения. Здесь мы встречаемся с достаточно наивной декоративностью, с узорчатым стилизаторством лубка, уже не русского, а псевдорусского стиля. Таково, например, иконописное «Первое мая» Прохорова с тщательно выведенными орнаментами на одеждах женщин. Такова целая специально лубочная серия, взявшая от лубка только внешние покровы, но окрасившая его подчас нестерпимой кокетливой приторностью. Зритель воспринимает, как сусальную фальшь, когда видит, как красноармеец с грандиозной

сверкающей во лбу звездой, жеманничает с теремными девицами, зазывающими его через окошечко. Несколько более своевременны частушки Куликова, которому удается, хоть в донельзя разухабистой форме, все же довольно остро преподнести по-лубочному современный материал.

С ярко выраженной тенденцией стиля «gusse» можно встретиться даже в пейзажах участников «Жар-Цвета». Эти полотна усиленно оснащаются крестьянскими сценками, вплоть до масляничных катаний, красных девиц у колодца с ведрами и т. п. традиционными атрибутами русского пейзажа (Харламов). Они пытаются даже подвести современный идеологический базис под эти тенденции, а именно, противопоставляют французскому влиянию «самостоятельные» тенденции своего «подлинного» русского искусства. Однако, эта наивная доктрина меньше всего может бороться с властным воздействием европейского искусства. Самостоятельные национальные традиции должны развиваться, конечно, не в плане «пейзанском». Для «Бедной Лизы» сейчас нет места!

Однако, наследие «Мира Искусства» идет не только по линии пародирования специфически национальной ветви «Мира Искусства». Такая же участь постигает и Врубеля. Захаров в своей «Раковине» и «Встрече» пытается дать мистерии, в которых он пользуется и сумеречной сиренево-серой гаммой Врубеля, и той почти бредовой взволнованностью, которая владела художником в период созидания его «Демона», и даже такими его формальными особенностями, как характер мазка. Однако, это второе издание Врубеля основательно вульгаризовано. Особенно ясно это видно по «Раковине», огненной обнаженной женщине, причудливо освещенной, мерцание тела которой довольно примитивно сопоставляется с переливами раковины.

Декоративность «Жар-Цвета» подчеркивается еще и тем, что это единственное объединение, где участвуют художники-декораторы. Там есть, например, очень любопытные, выложенные прядями интенсивно окрашенного

шелка картины Ефимовой, вышитые лоскутами «Подсолнухи» Андреевой и целая серия аппликаций из обрывков папиросных коробок, разноцветных бумажек и т. д. одаренной художницы Разумовской. Ее «типы улицы» показывают, что она может многое дать в графике.

На опыте последних лет можно было убедиться, как часто декларации художественных группировок не отвечают их подлинной внутренней сущности. Так, собственно, обстоит и с «Жар-Цветом». Не касаясь ни словом момента декоративности, так явственно его характеризующим, он об'являет «композиционный реализм» своей боевой задачей. Хотя это определение в достаточной мере расплывчато, однако, достаточно ясно видно, что оно искусственно пристегнуто к «Жар-Цвету». Момент композиции есть в первую очередь момент картины, затем момент сюжета. Ни того, ни другого нет на выставке «Жар-Цвета».

II. О с т.

В противоположность только что рассмотренным выставкам, ОСТ — объединение сугубо молодое. Между ним и не только репинцами и реалистами, но и «Жар-Цветом» лежит не одно даже, а несколько художественных поколений. Первое публичное выступление его участников произошло на «дискуссионной выставке левых направлений», которая была, в сущности, тризной на могиле ЛЕФ'а в изобразительном искусстве. Основное ядро участников ОСТ'а прошло через Вхутемас именно в тот период, когда им «володели и правили» представители футуризма, конструктивизма, супрематизма и т. д. И хотя ОСТ, т. е. общество станковистов, самым своим названием противопоставляет себя ЛЕФ'у в изобразительном искусстве, отрицавшему станковую живопись, все же понять характерные особенности ОСТ'а можно лишь тогда, если учесть его прошлое. Сюда относятся отнюдь не только отрицательные черты ОСТ'а. Свообразная его трактовка цвета, смелость композиционных приемов, нити, протягивающиеся от кинокадра

к ОСТ'овской картине, неожиданность избираемой художником точки зрения, двухпланность и целый ряд других особенностей целиком относятся к его прошлому. Отчасти и в тяготении ОСТ'а к индустриальным мотивам можно увидеть отсветы производственного пламени конструктивизма. Как реальный символ наследственной связи с ЛЕФ'ом, можно рассматривать участие в объединении Б. Штеренберга, который сохраняет из года в год верность старым заветам. В своем докладе в Комакадемии он пытался даже доказать, что общество станковистов представляет собой вполне органичную эволюцию ЛЕФ'а, а не реакцию против него, как это имело место в действительности. Фактически же дело обстоит совсем не так. Все те черты, о которых говорилось выше, сохранились у ОСТ'а, как амуниция, как обмундирование, оружие же свое он направил совершенно в другую сторону. Принципы изобразительности, сюжетности, психологического воздействия, — все эти присутствующие у ОСТ'а черты представляют собой безусловно не что иное, как ярко выраженную реакцию против ЛЕФ'а, который отрицал изобразительность, считал ненужным воспроизведение и отражение жизни в искусстве. ОСТ взорвал ЛЕФ изнутри. Он выступил, как молодая сила, движимая здоровой тягой к действительному искусству, жаждою вступить в самый тесный контакт с современностью. В некоторых отношениях это удавалось ОСТ'у лучше, чем большинству других объединений. Он особенно остро воспринял город в динамике его движения, в его механизированном окружении, в его индустриальном росте, в облике его обитателей и т. д.

Но на всем протяжении развития ОСТ'а в нем можно было заметить ряд колебаний. От свежего и острого восприятия окружающей действительности он вдруг с какой-то странной легкостью попадал в объятия почти мистического, мрачного экспрессионизма. В нем начинали звучать болезненные, пессимистические ноты. Вторая выставка ОСТ'а, например, шла

именно под знаком победы этого второго начала. То же самое можно сказать, к сожалению, и относительно настоящей, IV, выставки. Важность этого факта увеличивается тем, что ОСТ потерял в течение этого года такого участника, как Дейнека.

Быть может, момент прорыва отчасти объясняется тем, что центр тяжести работы определенного ядра объединения лежит сейчас в попытках выйти за пределы пресловутой графичности ОСТ'а, найти живописный язык. Это верно, например, в отношении Вильямса. Об этом говорила еще его работа к юбилейной выставке Красной армии («Французские моряки в Одессе»). Здесь же он дает ряд этюдов явно учебного характера. О попытке перехода к живописности говорят и полотна Мельниковой, — в ее «Балеринах» «пачки» даны уже с большой живописной легкостью, своеобразно переплетающейся с все еще плоскостной разработкой фона. Те же начала можно найти и у большинства художников. При этом, хотя самое стремление приобщиться к живописности не может, конечно, оцениваться, как отрицательное, те формы, в которых оно проявилось, никак невозможно приветствовать. Во-первых, ОСТ почти потерял при этом прежнюю остроту тематической установки. Во-вторых, присутствующая ему композиционная четкость тоже значительно понизилась.

Однако, одними живописными исканиями объяснить характер настоящей выставки, как и характер предыдущих колебаний ОСТ'а, невозможно. Они коренятся глубже. Эти искания могли только ослабить клапаны, допустить прорыв, характер же прорыва предопределяется той суммой влияний, которой отягощен наследственный багаж ОСТ'а. Социальная природа ОСТ'а носит двойственный характер. Эта молодежь сформировалась в послереволюционный период. Она является детищем современности. Отсюда — ее особое умение подходить к современной тематике, видеть окружающее, особенно город, глазами наших дней. Отсюда невозможность для нее удовлетвориться одними формальными

задачами и стремление к наиболее действенной и активной связи с жизнью и строительством. Но ОСТ в то же время принадлежит к той части новой советской интеллигенции, которая больше всего связана с городской дореволюционной интеллигенцией. Здесь причина высокой культуры и «урбанизма» ОСТ'а. Но здесь же корни его индивидуализма, прорывов мистицизма и т. п. черт, характерных для интеллигенции в период между двумя революциями. Это тягостное наследие далеко не всегда доминирует в ОСТ'е. Наоборот, в предыдущие годы часто оно бывало повержено в прах, но достаточно даже небольшого колебания, чтобы оно снова подымало голову.

Сейчас на первый план выдвинулись Тышлер, Лабас и Гончаров, т. е. именно те художники, у которых сильнее всего развит экспрессионистский дух. Характерный образец представляют собою работы Лабаса. Это — своеобразный вариант импрессионизма, доведенного до своего логического конца. Если импрессионизм передавал мгновенные впечатления, но фиксировал их довольно длительным путем, Лабас стремится мгновенное впечатление передать мгновенным же наброском. Такова целая серия его «Город». Движущийся поток пешеходов, трамвай, автомобили, перспектива уходящих домов и площадей едва-едва намечены на листах этой серии случайными штрихами. Как эскиз, эти работы интересны. Но в высшей степени опасно, что художник относится к ним, как к завершенной работе, обладающей особой, не поддающейся учету, ценностью. Это видно по той тщательности, с которой преподнесены эти работы, фигурирующие, как самостоятельные, законченные произведения.

Несколько иной характер носит масляная серия Лабаса — «Аэросерия», где моменты полета, падения и т. д. даны с той же намеренностью. Если первая серия не претендует на психологизм, здесь явное ударение на передачу сложного комплекса подсознательных атомистически-мелких ощущений,

которые, суммируясь, должны дать определенное ощущение. Это своего рода «тайное тайных» в живописи.

Гончаров дает и графику, и масло. Самая характерная его работа «Смерть Марата». Впечатление, которое она производит на зрителя, нельзя иначе характеризовать, чем то м и т е л ь н о е. Оно вызывается несоответствием между движениями персонажей картины — Марата и Шарлотты Кордэ — и целевой направленностью этих движений. Зритель почти физически ощущает тягостное неудобство, иррациональность всех этих жестов. Марат сидит в ванне, которая способна вместить разве грудного младенца. Защищаясь от удара, он отводит руки как раз в противоположную естественному положению сторону. Наносищая удар Шарлотта Кордэ отклоняется так, как она ни в каком случае не могла бы сделать в действительности. В погоне за оригинальностью трактовки художник приходит к «обратному общему месту». Эта искаженность совершенно разбивает впечатление картины. Между тем, показательно, что художники ОСТ'а склонны рассматривать ее, как большое живописное достижение. Как-будто может быть большим художественное произведение с таким вопиющим разрывом между темой и ее выражением!

Гончаров дает и графику, которая в смысле формальных приемов близка к Фаворскому, по характеру же трактовки сюжетов аналогична живописи.

Однако, рекорд побивает из этих трех художников безусловно Тышлер. Достаточно посмотреть на его «Лирическую серию», чтобы в этом не оставалось сомнений. Вся она носит характер нарочитого трюкизма. Если раньше в «Махновщине» или в «Торговцах палками и зонтиками» (материал более ранних выставок) можно было найти смысловой эквивалент деформации, сейчас зрителю даже не приходится задаваться этим вопросом. Действительно, что может выражать эта серия плетеных корзин, аккуратно разнимающихся на отдельные створки, разбитых окошечками на этажи, в которых симметрично располо-

жены ослиные головы, какие-то нарочито искаженные рожи, лежащие или стоящие одеревянелые, спеленутые, исключительно уродливые фигуры и т. д. Другая его серия, крымская, дает косвенные указания, что первообразом для этой плетеной корзины является пляжная кабинка, но это открытие ни в какой мере не проливает свет на таинственную загадку «скииты». Зритель воспринимает эту серию в лучшем случае юмористически или же считает ее сознательной выходкой со стороны художника. Между тем, в высшей степени характерно, что не только в ОСТ'е, но и за пределами его Тышлер находит своих горячих сторонников. Так, например, еще до открытия выставки в музее Живописной Культуры состоялась лекция Никритина на тему о современной живописи, где он заявил, что в сущности Тышлер — единственный нужный художник и с особой торжественностью предвещал появление на белый свет этой злосчастной серии. Также и Штеренберг в Комакадемии самым горячим образом защищал Тышлера, как чрезвычайно ценного члена ОСТ'а. Этот фимиам способствует тому, что художник окончательно укрепляется на своей позиции. Он же способствует и тому влиянию, которое Тышлер оказывает на других членов ОСТ'а. Например, жизнерадостный и обладавший своим не громким, но очень своеобразным голосом Лучишкин, всецело поддавался обаянию Тышлера. Он превратил своих «Купальщиков» в тех же одеревянелых манекенов, которые прыгают в воду, разве что подчиняясь закону тяжести, заставляющему и камень падать вниз. Пропасть лежит между его «Я очень люблю жизнь» (II выставка) и этими гальванизированными трупами.

В то время, как аванпостами объединения завладели эти художники, другие или ушли в живописные искания, или стабилизировались. Персонажи Пименова, например, зафиксировались в излюбленном художником силуэте, с очень широкими плечами, вытянутой шеей, маленькой головкой и, как в египетских росписях, узкими бедрами.

Этот утрированный тип физкультурника («Бег») меньше всего производит впечатление здоровой бодрости. Такая стабилизация образа должна рассматриваться также, как опасный для развития художника момент. Что такая опасность существует реально, видно из неудачной попытки художника дать в «Актрисах» сатирический тип. В трактовке этих двух картин («Бег», «Актрисы») зритель не ощущает той водораздельной линии, которая дала бы воспринять отличия в трактовке сатирического образа (актрисы) и, если не положительного, то во всяком случае описательного (физ-

культурники). Легче воспринять оба, как сатирические.

В настоящий момент дальнейшие судьбы ОСТ'а представляются неясными. Явно недостаточен тот материал, который он противопоставляет господствующим на IV выставке тенденциям, (кроме упомянутого, рисунки Люшина, Козловой, Мельниковой, портреты Денисовского и некоторые другие).

ОСТ — в опасности. Чтобы сохранить за собой прежнюю позицию одной из наиболее культурных и передовых современных группировок, ему необходимо самым энергичным образом стряхнуть с себя этот отягчающий его груз.

Книжное обозрение.

Сергей Клычков. — «Князь мира». Роман. Изд. «Круг». 1928. Стр. 406. Цена 2 р. 75 коп.

Ленивый и нелюбопытный читатель, раскрыв то там, то сям новый роман Клычкова — вторую часть его трилогии «Сорочье царство», пожалуй, скажет: «Да ведь это все то же, что и в той части, в «Чертухинском балакире!» «Ленивый и нелюбопытный критик, обязанный, так сказать, «по должности» обосновывать свои суждения, без труда подберет и соответствующие аргументы: 1) Сергей Клычков в новой своей книге так же словоохотлив, таким же балакирем калякает о деревенских делах с читателем, словно со своим односельчанином: ссылается на Чагодуйский музей, приглашая туда заглянуть, посмотреть портрет помещицы Рысачихи, говорит, как о чем-то общезвестном, «о нашей округе», сам же перебивает себя, обращаясь от повествования к себе — повествователю: «Какая же вина может быть на человеке, если у него дырявая память и к старости вытянулся язык длиннее, чем хвост у коровы, и краснее, чем бабий кумач!» (историк литературы отметит во всем этом традицию гоголевского сказа); 2) язык романа так же остер, так же расцвечен присказками, присловьями, прибаутками, ими наделает автор всех своих героев, так что по одной этой книге можно бы составить целый сборник пословиц и поговорок. («Года, как вода: текут, а кудч?» «На полтину на всю жизнь хватило сатину». «У волка тоже внучата: волчата». «Велики у вас кулаки, да сами дураки». «Закладные, как лошади перекладные — одну загонишь, на другой поезжай!»); 3) попрежнему иное слово расцветает пышно развернутой метафорой, разрастается в целую картину: такова прелестная легенда о создании женщины, таков же и традиционный «красный петух», — потрепанный и обесцвеченный от времени, он снова машет крыльями и страшным голосом

кукурекает над избой, снова ярко сверкает золотом и огненным пухом; 4) попрежнему весь роман, начиная с заглавия, переплетен нитями темных суеверий: здесь и веселый пономарь, оживающий в виде чучела, и таинственный батрак, невидимо живущий в доме Михайлы, чтобы показать людям огненные рога только один раз — при пожаре избы, и «святой чорт» — Иван Недотяпа с тусклым венчиком над головой, наконец, «неразменный целковиж», лежащий в самом центре всей фабулы, притягивающий к себе все помыслы действующих лиц; 5) попрежнему рассказ время от времени прерывается вздохами о том, что «земля куда раньше лучше родила и была чернее грача, а сам-то мужик был намного сильнее на жилу и гораздо тверже на пуп». По всем этим чертам — сказовой манере, обилию фольклорных элементов, пристрастию к фантастическому и мистическому материалу, мотивам деревенского консерватизма — новая книга Клычкова действительно совпадает с «Чертухинским балакирем». Все аргументы вышеупомянутого ленивого и нелюбопытного критика, действительно, должны быть нами приняты, а меж тем, вывод остается неприемлемым: «Князь мира» — не продолжение, но противоположение «Чертухинскому балакирю»; вот к какой мысли приходишь, когда пытаешься дать себе отчет не в разобщенных приемах клычковского письма или отдельных мыслях, рассеянных по страницам, но в целостном смысле воссозданной писателем жизни. И прежде всего надо освободиться от наивного отождествления автора, Сергея Клычкова, со «сказителем», от лица которого ведется рассказ. Балакирь — балакирем, а книгу планирует автор, из-за спины подслеповатого старика умным и зорким глазом подмигивает писатель, в ослабленный стариковский голос врываются его гневные интонации, силь-

ная рука разрывает кружевную, хитросплетенную завесу фантастики деревенских слухов и бабьих сплетен, чтобы тем отчетливее и страшнее сквозь эти разрывы можно было увидеть реальную, настоящую жизнь.

Попрежнему, как и в «Чертухинском балакире», автор раскрывает мир в двух планах — фантастическом и реальном. Но отношение к этим двум планам теперь совсем иное, обратное. В «Чертухинском балакире» мохнатая кочка на глазах у читателя превращалась волею автора, в лесного Анютника (путь от реального к фантастическому), в «Князе мира» дьявольский гогот таинственного «батрака» звучит для читателя смертным криком погибающей в пламени Марьи (путь от фантастического к реальному). Это высвобождение грубой, жестокой и жалкой жизни из облака таинственности — большой и трудный шаг для автора стихов о Ладе и Дубравне. «Князь мира» с наглядностью свидетельствует, что Сергей Клычков гораздо сложнее в своем отношении к традиционному деревенскому укладу, чем это принято о нем думать, чем это думает, быть может, и он сам. В книге звучит не только обида за деревню, истеганную до полусмерти на крепостной конюшне, но и обида на деревню, бывающую в иные минуты по-животному тупой и по-звериному жестокой (главы «Мирское дитя» и «Даровой пастух»). У давней крепостной деревни Клычкова один главный, несомненный, наглядный враг — барыня Рысачиха. Но барская роскошь продана с молотка, а село Скудилище, населенное калеками, собиравшими для Рысачихи нищий оброк, осталось во всей своей скудости.

С. Клычков, поэт обобщенно-идиллической деревни, остался далеко позади — на страницах учебников. В творчество писателя нахлынул новый материал, материал живой действительности. От него не откеститься, не отчураться неразменным целковиком. Вернуться к сплошному мировосприятию, романтически поэтизирующему деревню, уже нельзя, — материал не позволяет. Писатель, увидевший реальное в фантастике, уже не в состоя-

нии воссоздать нарушенную цельность фантастического покрова. Трилогия «Сорочье царство», выросшая из лесных туманов «Чертухинского балакиря», развернулась в сложную историческую эпопею деревни.

И так как перед нами — в творчестве С. Клычкова — не поспешная смена вех, но трудный органический процесс, то к голосу писателя нужно прислушаться с особенным вниманием.

Валентина Дынник.

С. Мстиславский. — «На крови». Роман. С послесловием Ульриха. Госиздат. М.—Л. 1928. Стр. 456.

Книга охватывает период 1905—1906 годов.

Повествование тем примечательно, что интерес читателя возрастает по мере того, как разворачивается ход событий. Первые главы даны в бледных записях. Вторая часть интереснее первой, а третья лучшей второй. Это хорошо рекомендует книгу. В романе два плана: черносотенный и революционный, «великосветский» и демократический. Оба социальных русла обрамляются фигурой героя повествования — автора книги. Гвардейский офицер генерального штаба, принятый в «свете» и вместе подпольщик, террорист и ответственный организатор рабочего боевого союза, и одновременно еще член нелегального офицерского объединения...—это романтично. Напряженный ток перебегает с полюса на полюс и интригует.

В воспоминаниях работников боевых групп встречается имя автора романа, когда речь заходит о собраниях междупартийных групп для разработки планов вооруженного восстания. Однако, С. Мстиславский недостаточно четко очертил ничтожество офицерско-гвардейского союза. В своих мемуарах С. Гусев, который был уполномочен в 1905 г. Пет—ким ком-том РСДРП вести переговоры о вооруженном восстании с представителями гвардейской офицерской организации, рассказывает о своей встрече с представителями этой организации, как о смешном анекдоте. Собрались в фешенебельном кабаке «Конган», — «свидание происходило в отдельном кабинете».

те, при чем в целях конспирации присутствовали дамы. Представитель с.-р. привел очень красивую девицу великосветского типа...» Разговоры были бессодержательны, а информаторы неосведомлены... «Разошлись, — заканчивает тов. Гусев, — назначив еще одно свидание через несколько дней. О первом свидании был сделан доклад в ПК; вывод докладчика заключался в том, что дальнейшие переговоры ни к чему повести не могут, кроме траты денег. Единственным конкретным результатом первого свидания была забытая в жилетном кармане зубочистка с надписью «Контан»...¹⁾ Автор, наоборот, относится к деятельности Михаила — центрального персонажа повествования — в офицерской организации серьезно, хоть и выясняет впоследствии ее никчемность. Этот мелкий штрих характеризует всю книгу. Автор лишен критерия для объективной оценки событий. Этим, очевидно, объясняется и тот факт, что книга — сама по себе весьма интересная — засорена мелочами, раздутыми в целые главы. Но раньше, чем говорить о деталях, спросим себя, к какому роду литературы отнести эту книгу? Сам автор во избежание неверной квалификации своей работы утверждает на титуле надпись роман. Но жанр романа оказывается слишком широким, а разбираемое произведение несколько узким при сопоставлении этих двух объектов. Скорее всего мы здесь имеем материал для романа, каркас для последующего художественного произведения. Автор берет в сферу своей художественной трактовки эпоху; не просто тот или иной отрезок времени, а эпоху, ибо революция 1905 г.—это решительный этап. Тема, если заключить её в страницы исторической эпопеи,—весьма ответственная. Надлежит развернуть достаточно всеобъемлющую картину рабочей революции, крестьянских восстаний, борьбу мелкобуржуазных слоев, конституционные потуги буржуазии и пр. Ме-

жду тем, автор суживает свою задачу до пределов столичной борьбы (Петербург, отчасти, Москва). Но и этот плацдарм может быть достаточно широким для художника. Однако, у С. Мстиславского, прежде всего, выпала из романа всеобщая политическая стачка. «Русская революция является в мировой истории первой, — но она будет, без сомнения, не последней великой революцией, в которой массовая политическая стачка сыграла необыкновенно большую роль», — учил Ленин. И вот эта-то стачка, которая сыграла необыкновенно большую роль, в книге отсутствует. Автор прошел мимо неё. По ходу романа ею должна начаться 2-я часть, но на первых страницах её мы слышим о стачке две—три фразы и—конец, больше ничего. Еще меньше мы удовлетворены главами, посвященными московской декабрьской баррикадной борьбе. Не отмечена роль большевиков в восстании. Между тем, в Москве социал-демократы и именно большевики давали основной тон в борьбе. Наконец, не отмечена деятельность советов рабочих депутатов. Упоминается вскользь Хрусталева-Носарь, мелькают силуэты двух—трех членов исполнительного комитета, — вот и все. Но что наиболее странно: военные восстания отмечены также мимоходом, хотя кронштадтскому подполью и отведена специальная глава.

Индивидуализм — основной грех Михаила, и вся его тактика — это тактика бланкизма. Расчеты на революционный передовой класс появляются изредка и спорадически. Михаил даже как-будто кокетничает этим. Если он упорствует в своем заблуждении — это опасно и нелепо. Если раскаивается, то надо было это свое раскаяние обвести более четкими контурами.

Всё же роман читается с интересом. Автор владеет тайной волнующего напряжения. Некоторые главы обнаруживают блестящего мастера. Финал второй части — прекрасный образец страниц исторического романа. Морская картинка на «Громобое» проникнута художественной правдой. Разговоры дружинников в главе «Последняя зыбь» поистине хороши. Убийство Лау-

1) С. Гусев. Переговоры с офицерами-гвардейцами в 1905 г., в сборнике под ред. М. Н. Покровского. 1905. Воевая группа при ЦК РСДРП(б). Статьи и воспоминания. Составила С. М. Познер. ГИЗ. 1927.

ница записано в динамическом ритме романа приключений. Неплохи беглые эскизы Ивана Николаевича (Азефа). Передвижение Михаила из пределов городских окраин в модные салоны и обратно, переодевание, привод филеров к вестибюлю самых «аристократических» особняков, билет гвардейского офицера, лежащий в одном кармане с явкой террориста, — вся эта острая приправа освежает чтение. Извилины, путей героя, странным образом не только не запутывающегося в лабиринте неуловимых движений, но чувствующего себя, как дома, во всех перипетиях, приводят автора к традициям авантюрного романа, и это не плохо, ибо этот мотив введен без навязчивости и в границах приемлемых. Роман будет прочитан с интересом. Послесловие Ульриха помогает понять дефекты произведения.

А. Е.

Николай Никитин. Преступление Кирика Руденко. Роман. Изд. «Пролетарий». Год и место издания не указаны.

Слабое место данного романа — сюжет. К автору вполне применимо то, что он говорит об одном из действующих лиц: «Он часто не мог установить все свои мысли на одной цели и, рассказывая об одном, вдруг начинал проверять самого себя». В отношении сюжета Никитин в этом своем романе совершенно беспомощен. Он бесконечно отвлекается от центральных событий, не увязывает факты и людей друг с другом, тонет в деталях. Фабула развивается медлительно и вяло.

Преступление глухонемого Кирика Руденко, убившего соблазнителя любимой им девушки, отнюдь не является главным или центральным событием в романе. Главная цель произведения — дать изображение обыденной жизни партийного и комсомольского актива в уездном городке.

С бытовой стороны автор хорошо справился с задачей. Впрочем, и психологию этих рядовых работников он вскрыл очень удачно. Трудовые будни их, нарушенные в конце трагическим происшествием, разворачиваются сложнейшим эпическим полотном.

Хуже обстоит дело с социальной стороной вещи. Она уж чересчур об-

ективна. Невозможно нащупать миро-созерцание автора. Что же касается его оценки отдельных уродливых явлений жизни молодежи, приведших к преступлению Руденко, то эти оценки или расплывчаты, или спорны. Никитин, конечно, ошибается, когда ищет восстановления справедливости в сапожном ноже Руденко. К тому же насильник, убитый глухонемым, отнюдь не является закоренелым негодяем, а (согласно изображению самого автора) подает несомненные надежды на исправление.

Зато в отношении стиля Никитин значительно ушел вперед. Язык его стал спокойнее, точнее, проще. В нем заметно чувствуется влияние языка Гоголя, которое так ощутительно проявилось в «Обояньских повестях». Язык романа все же более оригинален. От Гоголя Никитин взял точность описаний, научился от него внимательной зоркости к деталям: «Доктор Восков сидел в бричке, как бог, очки у него сверкали под солнцем двумя кострами». Или чудесное описание летнего дождя: «И вот ночью, совсем неожиданно, вдруг закрываются наполненные желчью звезды, огромный шум пробивает камень, и из трещины сперва робко одна за другой текут и падают первые капли, и вдруг — все трещит после этого разом, нож — молния сразу раскаивает две половины, и неустержимые воды, все прорвав, обрушиваются, как лавина, на ожидающее сердце».

Встречаются, все-таки, ляпсусы. Одно из действующих лиц говорит: «Он решил, что он не молодая лошадь (мой курсив А. П.), что он не будет рваться впустую».

В общем, книга производит двойственное впечатление: она, несомненно, интересна, но недостаточно занимательна. Здание же романа должно быть цементировано сюжетом, чтобы оно было устойчивым. Никитину, достигшему крупных успехов в области стиля, необходимо преодолеть сюжетную слабость. Неопределенность же миро-созерцания — недостаток всех вещей Никитина, и, повидимому, органический.

А. Р. Палей.

Мих. Кольцов.—«Сотворение мира». Собрание сочинений. Т. I. С предисловием Н. И. Бухарина, литер.-критич. очерком Мих. Лучанского и портретом автора. Изд. «Земля и Фабрика». М.—Л. (Год не указан). Стр. 473. Цена 3 руб. 50 коп.

Вся вереница фельетонов Кольцова, проходящая перед нами, может служить своеобразной, крайне живописной летописью революции 1917 г., в ее мелких и крупных удачах и бедах, прыжках и поворотах. Читателям, без сомнения, памятливы многие из фельетонов, но в общем строе они приобретают еще особенный облик сжатого, часто меткого, иногда действительно художественного «сопровождения» бурной истории наших дней.

Н. И. Бухарин в предисловии дает краткий очерк своеобразного, истинно газетного по своей сути кольцовского дарования. Газетчик ведь вообще, прежде всего, существо, так сказать, «фактоедное». Но так зорко подмечать особо горячий, с виду часто совершенно мелкий факт, так бойко «налетать» на него, как делает Кольцов, так показательно производить над ним «на месте преступления» свой злободневный анализ, превращая его в «дробную аналитическую страничку» (слова Бухарина) и нередко подымаясь тут же до «крупных синтетических обобщений» (то же) в верном революционном всегда направлении, — для этого надо родиться газетчиком с головы до пят. Тов. Бухарин подчеркивает художественность кольцовских фельетонов, зовет автора «революционным реалистом», оговаривая, однако, что его роль тут — роль первоначальной «разведки в область художественной обработки фактов». Это верно, конечно. Но художник вообще нуждается обыкновенно во времени, в известной «отстойке» для наиболее гармоничной их внутренней спайки и пригонки. И надо быть в первую голову все же газетчиком, чтобы пронсясь мимо факты мгновенно, как кодаком, «захлопывать» в летучие снимки, сразу же «подавая» и верный их социальный и политический смысл, и насыщенный революционной эмоцией (Бухарин) поэтический образ. А у Кольцова почти всегда все это на-

лицо, помимо разве двух-трех вещей, где «кодак» грешит шаткостью изображения (скажем, «Николай» — о царепрапорщике, а в то же время будто бы о сильно волевом вожде дворянского класса).

«Кодак» здесь отнюдь не значит просто копирование с природы. Совсем напротив. Манера Кольцова сильно лирическая. Его фельетон — всегда род лирического стихотворения в прозе, импровизации «на случай». По определению Г. Гейне, ведь лучшая лирика всегда «на случай». Образец у Кольцова, наприм., статья «Крестный путь Деникина». Вся она — нечто в роде «музыкальной темы с вариациями», сатирической, конечно, на слова ген. Деникина о «крестном пути» белой армии. Генеральное чудовище тем живее, тем ненавистнее выползает из строк этой моментальной лирики.

Секрет этого фельетонного «прикладного искусства», этой политической лирики, мне кажется, двойной. Во-первых, — это главное (о чем тоже горит т. Бухарин): определенная партийная установка автора; стоя в центре событий, работая в руководящей газете партии, он легче может схватить всегда глубокий смысл момента или факта. Во-вторых, широкая возможность и прирожденная охота во всякую минуту вступу «летать» (даже буквально: полет автора в Ангору). «Летает» автор прежде всего, конечно, в массы, — рабочие и крестьянские. И глядите, как фельетоны, по блокноту, порабкоровски, прямо «с места», дышат у него особым свежим подъемом. Будучи сам, как писатель, детищем революции, прямым созданием той же «Правды», он в свою очередь воздействует на революцию посредством слова. Историческая особенность нашей партии как раз и состоит в этом искусстве подбирать людей и превращать их в свои новые органы воздействия на массы. Мих. Кольцов с его остро-цепкими фельетонами и стал за ряд лет одним из таких ее посредствующих органов. Шутя он шевелит мозги самых широких и сырых рядов партийной массы там, где еще нелегко пробьется серьезная, «тяжело выраженная» мысль. Вот отчего темы, захватывающие пробле-

мы, так сказать, «мирового» масштаба, выходят у него подчас много бледнее (пример: «Юность Коминтерна»), чем в тех случаях, когда автор оперирует данными из «своей», советской жизни; в этих случаях он действительно достигает значительных высот. Это особенно сказывается на фактах живой конкретизации нашего строительства, как, например, в фельетоне «Хорошая работа» (о разительном успехе советского фильма «Броненосец Потемкин» за границей) или в искрящихся смехом и глубокою осмысленностью «145 строках лирики». Это в 1924 году написанная в связи с нэпом юмористическая отходная совзнаку и приветствие советскому металлическому гривеннику. Надо перечесть эту вещьцу, чтобы вполне уловить, в чем неподражаемый пафос автора, в чем суть его уменья отражать историческое солнце «в малой капле вод».

Не говорю уже о ряде сильных лирических откликов на смерть Ленина: «Человек из будущего» (ошибочная дата 1923 год!), «Последний рейс», «Жена, сестра», «Январские дни», «Перебирая книги» и проч. Здесь Кольцов особенно в своей сфере: великие события, миллионные массы трудящихся, — и сам автор прямоком вдыхает воздух советского мира, потрясенного утратой. Его талант подчас звучит здесь в самом деле, как орган (и орган) оплакивающей вождя массы.

Худшее, что могло бы случиться с таким талантом, это — удаление, отрыв от массы. Этого, к счастью, нет.

Жаль, что под некоторыми статьями нет даты и указания, где они помещены впервые (в начале тома есть вещи несомненно не из «Правды»). Вводная статья М. Лучанского детально рассматривает разные группы произведений М. Кольцова всех 3 томов, в отношении, главным образом, их художественных достоинств. Некоторый ее недостаток — в излишнем стремлении заживо возвести автора в «классики». Кто говорит, — человек он молодой, и, пожалуй, сего достигнет. Но предвосхищать события вряд ли стоит.

А. Дивильковский.

Ив. Соколов-Микитов. — «Голубые дни». Изд. «Прибой». 1928. Стр. 157. Ц. 1 р. 20 коп.

«Человеку одна на земле радость — видеть, узнать и полюбить мир». Так заканчивается первый, заглавный рассказ этой книжки.

Но тот, кто увидит и узнает мир, не может его полюбить таким, как он есть. Кто трезвыми глазами видит наш мир, — тот загорается ненавистью, не менее страстной, чем любовь. Кто видит мир таким, как он есть, — тот стремится сделать его иным.

Я говорю, конечно, о людях того класса, для которого существует советская литература. Но Соколов-Микитов не видит мира таким, как он есть. Он смотрит на мир через голубые очки, и мир ему кажется голубым, и все дни для него — голубые. Он безмятежно и бесцельно гуляет по огромной земле, — и что он видит на ней? Голубое море, ясное солнце, добродушных людей. Мало! Людские огорчения не серьезны: измена женщины («Любовь Соколова»), проигрыш в карты («Танакино счастье»), смерть любимой обезьянки («Яшка»). Если же происходит событие действительно трагическое, как в рассказе «Морской ветер», то о нем повествуется все в том же тоне — умиротворенном и почти примирительном.

Этот умиротворенный тон, грустная нежность, мягкий и влажный лиризм роднят Соколова-Микитова с Зайцевым. Соколов-Микитов, несомненно, один из лучших художников современной литературы. Кружевная вязь его прозы тонка и прозрачна. Он видит и слышит тончайшие детали цветов, движений и звуков и передает их с отчетливой точностью. Соколов-Микитов печатается в распространеннейших журналах. Знаючи литературы высоко ценят его. Но широкий читатель не читает его вещей и даже не знает его имени. Отчего это происходит?

Творчество Соколова-Микитова страдает двумя основными недостатками. Первый — слабость сюжетной стороны; второй — отсутствие определенного отношения к описываемому миру. Оба эти недостатка вытекают из одного источника — пассивности писателя.

Наш читатель требует от писателя активности. Активность писателя заключается в том, что он не только доносит и показывает материал, но и конструирует его. У Соколова-Микитова этого почти нет. Его новеллы статичны. Часто это не рассказы даже, а просто очерки, зарисовки, страницы воспоминаний, занесенные в альбом чудесным, зорким, впечатлительным пером. Но и лучший мрамор — только камень, а резец художника-творца может создать вещь и из простого дерева. А Соколов-Микитов не хочет быть творцом.

Рисуя людей и их жизнь, он остается спокойным и благодушным наблюдателем. Значительная часть страниц этой книги посвящена описанию своеобразной монашеской республики — Афона. Мы видим тунейдство, разврат и лицемерие монахов. Но все это описано с таким незлобивым радушием, что общественная ценность этих очерков — нулевая.

В «Чижиковой Лавре», единственной своей крупной вещи, Соколов-Микитов как-будто избавился до некоторой степени от недостатков, свойственных его новеллам. В этой повести был более или менее плотный сюжетный стержень, и можно было нащупать отношение писателя к жизни.

В маленьких рассказах сборника «Голубые дни» то и другое снова отсутствует. И пока Соколов-Микитов не научится творчески преобразовывать свой драгоценный материал, пока он будет добродушным наблюдателем жизни, не дифференцирующим своего отношения к различным ее явлениям, — он не займет в литературе того места, которое соответствовало бы высоким качествам его изобразительного искусства.

А. Р. Палей.

Феоктист Березовский. — «К вершинам», III т. Собр. соч. Изд. «ЗИФ». 1928 г. Стр. 381. Ц. 3 р. 25 к.

Беллетристическая внешность этой книги обманчива. III том сочинений Ф. Березовского к художественной литературе имеет отношение самое отдаленное. Это — мемуарно-биографические

и полуфельетонные очерки и воспоминания автора о своей революционной работе в 1904—1918 гг. В связи с местом работы автора его воспоминания распадаются на несколько совершенно самостоятельных частей. Первый очерк («Таежные застрельщики») описывает работу подпольной социал-демократической организации среди железнодорожных рабочих Сибири и участие последних в революционных событиях 1905 года. Второй очерк («Февральское мифотворчество») изображает несколько эпизодов, имевших место на фронте во время Февральской революции, третий («Окровавленный Арарат») — первый период революции на Кавказе. Кроме того, автор включил еще в книгу свои воспоминания о Ленине («Ленин на трибуне») и описание поездки в одну из первых крестьянских коммун в Сибири («Творимая легенда»).

Таким образом, в смысле тематическом воспоминания могли бы быть не лишены историко-революционного, бытового и даже психологического интереса. По существу, дело, конечно, и не в жанре: литература последних лет дала прекрасные образцы художественно-беллетристического очерка и мемуаров. Но в воспоминаниях Ф. Березовского, особенно в первой части, отсутствуют те достоинства, которые могли бы события прошлого приблизить к современному читателю. Здесь нет живых характеров, — их заменяет перечисление имен и фамилий; окружающая среда, взаимоотношения очерчены в самых примитивных чертах. Не вводя личного момента, автор одновременно подчеркивает свою активность. Быть может, в односторонности очерка виноват, отчасти, узкий круг, в котором вращался автор: этот первый период его революционной работы протекал на маленькой сибирской станции, где он, очевидно, выполнял обязанности станционного чиновника. Быть может, виновато время, которое стерло характерные детали с пережитого и вытравило эмоциональность.

Очерки «Февральское мифотворчество» и «Окровавленный Арарат», написанные под свежим впечатлением, отличаются большей непосредственно-

стью и большей изобразительностью. Но здесь автор впадает в другую крайность: он вносит излишне много литературщины, украшающих описаний и отступлений.

Самое слабое место в книге—очерк «Ленин на трибуне». Нагромождая оглушающие эпитеты («зычный голос», «могучий голос» и т. д.), ужасающие сравнения («мысли-гвозди», «пламенные колья-мысли»), Березовский безуспешно пытается создать образ Ленина-оратора.

Читая воспоминания Ф. Березовского, убеждаешься лишней раз в том, что особое искусство писать воспоминания не всем одинаково удается. Можно, конечно, утешить себя тем, что плохие записки современников могут быть хороши для потомков, однако, и для потомков, и для современников хорошие записки лучше плохих.

Анна Шафир.

Иван Евдокимов. Собрание сочинений. Том I. «Зеленые горы». Повести и рассказы. Изд. «Земля и Фабрика». М.—Л. 1928 г. Стр. 375. Цена 3 руб. 50 коп.

В первом томе своих сочинений Евдокимов собрал более тридцати вещей, написанных им за четыре года (1924 — 27 г.),—сюда не входят открывающая книгу автобиография и один из рассказов, датированный 1918—21 гг.

Очевидно, автор работает много, однако не все из написанного за эти годы следовало бы включать в книгу.

Интерес «Зеленых Гор» ограничивается всего четырьмя—пятью вещами. К ним можно отнести «Сиверко»—повесть о двух подростках—и несколько рассказов, рисующих быт и нравы жителей северных губерний Союза.

Бытовой материал нашего Севера Евдокимову знаком хорошо, и все, что построено им более или менее вдумчиво на этом материале, то интересно,—будь то рассказ о медвежатниках («Медведи») или о старике-коновале и конокрадах («Кони»), или семейная история машиниста и его жены («Боржи и Овражки»).

Крепкие, как медведи, мужики и бабы, их простой и здоровый быт, чистый и грубоватый язык — вот что интересно в этих рассказах и что является для Евдокимова родным и близким.

«Сиверко» — городская повесть, однако, герои ее, подростки, весьма непосредственны и самый колорит ее дан в тех неярких тонах, которые характерны для автора. К сожалению, отдельные главы повести растянуты, психология подростков не всегда верна, а неизменно симпатичная семья рабочего, неизменно неприятная семья богача и чрезвычайно благонамеренный конец не внушают доверия. Однако «Сиверко» читается легко.

Хуже, а иногда и совсем плохо написаны остальные вещи первого тома. За небольшими исключениями, все очень короткие, они прочитываются, не оставляя никакого впечатления.

В них Евдокимов отходит от своего основного тона, увлекаясь то анекдотом, то психологическими и лирическими темами.

Между тем, его анекдоты о житейских мелочах («Корзина», «Киносемищник», «Письмо Питирима Кулькова», «В вагоне» и др.) лишены присущей этой форме остроты и могут казаться веселыми разве только их автору.

Столь же неудачны у него психологические и лирические рассказы («Казнь», «Горелки», «Зеленые горы», «Любовь», «Кожа» и др.). Их напыщенный и фальшивый тон (напр., «я будто схватил мое сердце рукой и выжал его...» и т. п.) оставляет в читателе чувство неловкости за автора, говорящего не своим языком.

Интересно то, что вместе с потерей основной своей установки на объективное бытописание, Евдокимов в этих рассказах больше чем где-либо теряет чутье к слову и начинает писать такие невразумительные фразы:

«коренастые блюда (?) с яствами» (стр. 258), «...капли... ковыряли (?) в ушах» (стр. 260) «...он зажмурил глаза на извозчике» (стр. 264) и т. д., и т. п.

Попытки Евдокимова изобразить революционеров неизменно кончаются неудачей. Так, как пишет Евдокимов

о них, писали в совершенно незапятнанные времена. На большевиках из этой книги толстым слоем лежит налет интеллигентщины и сантиментальности.

Из всего сказанного, конечно, не следует, что Евдокимов должен уделять свое внимание только объективному бытописанию, наоборот, пусть он работает и над другими жанрами, но пусть он не торопится их включать в собрание своих сочинений.

Между прочим, в *post scriptum* к автобиографии Евдокимов сообщает, что его «рассказы (прежде печатавшиеся в разных сборниках) подвергнуты исправлению и переработке» (стр. 31). Мы не занимались тщательным сравнением текстов, но утверждаем, что если автор и сделал какие-либо исправления, то крайне небрежно: многие стилистические ошибки, отмеченные у него в предыдущих сборниках, повторены и в этой книге.

Борис Анibal.

Элтон Синклер. — «Нефть». Ч. I. Изд. 2-е. ГИЗ. М.—Л. 1928 г. Стр. 315. Цена 1 р. 95 коп. (в папке).

Элтон Синклер. — «Нефть». Ч. II. ГИЗ. М.—Л. 1928 г. Стр. 539. Цена 2 р. 70 к. (в папке).

В ряду художественных изображений современной Америки «Нефть» Синклера займет хотя и не первое, но почтенное и устойчивое место. Оформленный как биография Бэнни Росса, «нефтяного принца», этот огромный роман является вместе с тем чрезвычайно широким социальным полотном.

Первая часть «Нефти» строилась, преобладающе, как производственный роман, где был, например, шаг за шагом показан весь процесс добывания нефти, начиная от бурения нефтяных скважин. В свою очередь, действие этой части романа было ограничено масштабом Парадиза, местечка, где производилась разработка нефти, а в этих пределах оно свелось, с одной стороны, к изображению жизни и труда рабочих, их взаимоотношений с капиталом, форм довоенного рабочего движения, с другой же — к изображению лагеря капиталистов-нефтепро-

мышленников, их методов тайной скупки нефтеносных участков, их энергичных подкупов администрации и т. д.

Такая — сравнительно с дальнейшим — замкнутость действия в довольно узких пределах объясняется тем, что первая часть, как и весь роман, дается «глазами» Бэнни: в первой части он еще мальчик и только начинает оглядываться и осознавать жизнь. Он любознателен; этим мотивом определяется описание процесса добывания нефти. У него есть друг, такой же подросток, рабочий-бунтарь Поль Аткинс; отсюда показ рабочих. И, наконец, у Бэнни есть всемогущий «папочка»; по этой линии Бэнни знакомится с тем, что такое капитал.

К концу первой части рамки несколько расширяются. Начинается забастовка. Отец Бэнни не враждебен к своим рабочим, но он не в силах пойти на уступки, ибо он, миллионер, оказывается также рабом капитала — федерации нефтепромышленников, объединения банков. Так намечается некая сила, лежащая за пределами Парадиза, уводящая мысль Бэнни к общим основам американского капитализма.

Совсем иначе строится вторая часть. Производственный роман перерождается в социальный. Теперь Бэнни подрос и не сидит больше в Парадизе. Он учится в буржуазном колледже и тут проходит науку любви, где наставницами его являются одноклассницы, дочери крупных коммерсантов и промышленников, организовавшие огарочное «общество зулусов». Изображение циничной Эвники Хойт, первой наставницы Бэнни в делах любовных, не скрывающей от матери своих отношений с Бэнни, — дослужило одним из поводов к запрещению «Нефти» бостонской цензурой, о чем Синклер рассказывает в вступительной статье, приложенной к второму изданию первой части романа.

Затем Бэнни поступает в университет; следует показ университетской жизни, при чем развернутая Синклером картина не уступает по своей содержательности «Лавке учености» Р. Геррика. Бэнни вступает в связь с

кино-звездой, — и становятся известны тягостные условия работы кино-артистки и ее пути к славе. И так далее. Однако, Бэнни здесь не только предлог для показа разных сторон жизни: образ этого «Красного нефтяного принца», ищущего социальной правды, нисколько не утрачивает рельефности своих очертаний.

Происходит Октябрьская революция, — и роман дает подробнейшую историю отношения к ней различных классов американского общества. Вышедший недавно у нас разоблачительный роман С. Г. Адамса «Разгул» повествует о крупнейшем политическом скандале в эпоху президентства Гардинга; ту же тему, но в несколько ином, более жестком освещении затрогивает Синклер. Впрочем, положительно невозможно перечислить все, что включает в себя этот роман, написанный с таким широким охватом

Мы не знаем, является ли вторая часть окончанием «Нефти». Если это конец, ему можно бы пожелать большей определенности. В предпоследней главе Бэнни хочет организовать «рабочий колледж», назначение которого — «создать социалистическую дисциплину и личную жизнь, направленную на служение делу рабочего движения». Проект Бэнни подвергается резким насмешкам со стороны его же единомышленников. Тем не менее Бэнни начинает осуществлять этот эксперимент.

Последняя же глава посвящена рассказу о смерти коммуниста Поля, гибнущего под ударами фашистов. По существу, она является гимном трудной и героической работе коммунистов, но она ничего не меняет в планах Бэнни, не заставляет его отказаться от своих меньшевистских мечтаний о бескровной победе пролетариата над капиталистами. Мысль Синклера, насколько можно догадываться, такова: в будущем Бэнни может быть, и придет к коммунизму, «в настоящее же время, в силу своего темперамента, он безусловно сочувствует больше социалистам». Такой конец заставляет ждать продолжения, где все колебания Бэнни получили бы, наконец, то или иное разрешение.

Нельзя не чувствовать уважения к этой книге, плоду двухгодичной работы Синклера, прекрасно освещающей многие стороны жизни современной Америки.

Ю. Данилин.

Донэльд Огдэн Стюарт. — «История человечества в изложении тети Полли». Перевод с англ. Евг. Ланна. Гос. изд. М.-Л. 1928. Стр. 152. Ц. 80 коп.

Необычное сочетание двух несхожих вещей — «истории человечества» и какой-то «тети Полли», — под пером американского писателя прозвучало вполне оригинально, хотя и не совсем убедительно.

В форме развернутого фельетона, местами драматизированного, а иногда переходящего в повесть, Д. Стюарт написал едкую, издевательскую, злободневно-политическую сатиру на буржуазную цивилизацию, в ее наиболее предельном, американско-банкирском обличье, а жену банкира, тетю Полли, он попытался превратить в типичский продукт и субъект этой цивилизации. Тетюшка Полли — агрессивная женщина. Она не только «поучает» детей, но и «организует» их общественные инстинкты в духе отъявленного шовинизма и лицемерия. Начнем с первого — с поучения, и приведем два образца из «истории человечества» в ее изложении:

1) «Вся цивилизация Египта и Месопотамии рухнула, так как боги у них были не настоящие»... 2) «Юлий Цезарь увидел, что Италия нуждается в диктаторе, и сам стал диктатором... Таким образом, вместо того, чтобы устроить республику, как в Соединенных Штатах, римляне установили монархию, что, конечно, очень плохо».

В этих случаях обычно говорят: комментарии излишни.

Любопытна не столько сама «история», сколько ее «философия»: в свете бизнесманской торжествующей идеологии вся история — лишь этап и канун американской «истинной» цивилизации. Не забудем также, что тетя Полли — верная дочь протестантской церкви, а это дает ей право третировать все предшествующие и существующие религии. Освещая таким фонарем всю

историю, автор, повидимому, пародирует популярные пособия по всеобщей истории, составленные в духе ортодоксального англиканского благочестия. Сатира получилась как-будто достаточно остра.

Проверим это первое впечатление от книги.

Возникает законный вопрос: насколько типична тетья Полли, и являются ли ее познания и метод преподавания характерными для заокеанских просветителей? Скажем прямо: если глупость — типический признак всех жен миллионеров, то и в этом невозможном случае выбор тети Полли, явно глупой женщины, — неудачен, именно в целях сатирических. Совершенно очевидно, что героиня книги — форменная дура, и рассказанная ею «история» вся уместается в ее слабоумии. Значит, сатиры нет, и негодование писателя повисло в воздухе. Если бы культура буржуазного юношества создавалась мозгами даже не одной, а многих тетей Полли, то всю американскую буржуазию можно было бы шапками закидать. Характерно, что все старания тети «нравственно» воспитать детей кончаются полным фиаско: дети то и дело выходят за рамки дозволенных вопросов и поступков.

Велико ли значение сатиры на класс капиталистов, если она поставлена в полную зависимость от очень мизерных умственных способностей одного человека?

В этом случае можно лишь говорить о сатире на глупую женщину (а не на глупость: вспомним классическую «Похвалу глупости», и все сразу становится ясным). Но не этого хотел автор.

Замысел у него обще-сатирический. Об этом говорит сама тема: история! Неужели писатель не мог подыскать более ценного, типического исполнителя своих намерений? Агитка, и та бы не рискнула поставить знак равенства между буржуазным американизмом и скудоумием, а получилось ведь именно это.

И еще Д. Стюарт допустил непозволительное упрощение. Постоянные слушатели тети Полли: ее родной сын (пайнйка-мальчик) и опекаемые ею племянницы и племянник из демократической семьи (вольнодумцы и непоседы), разделены с исключительной резкостью по признакам благородства и нахальства, ума и тупости. Сын тети Полли — воплощенная пошлость, жадность и исполнительность. Демократические же дети одарены критицизмом и понятливостью. Советский читатель уже отвык от подобного примитивного деления на мальчиков «в штанах» и «без штанов».

Значительно убедительнее написана вторая часть книги: жизнь детей в фашистских отрядах, их соревнования и творчество. Материал этот способен увлечь любителя хорошего фельетона.

Две эти части по замыслу автора должны быть приведены к одному корню: «история» как бы входит в «современность» и иллюстрируется примерами из жизни денежной аристократии и детских фашистских организаций.

Оригинальное намерение Д. Стюарта было бы выполнено целиком, если бы не ошибочный выбор «героини», обесценивший и обезвредивший сатиру.

Н. Замошкин.